Новый Журнал

№308

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восьмидесятый год издания

Кн. 308 **НЬЮ-ЙОРК** **2022**

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер (США), Ренэ Герра (Франция), Елена Дубровина (США), Мария Рубинс (Франция), Александра Смит (Великобритания).

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская
Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina, Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 308, сентябрь 2022
© 2022 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Белозёров – Трое. К новым берегам. Повесть 5
Александр Самарцев – Стихи 30
Александр Амчиславский – Стихи 37
Александр Габриэль – Время умолкших муз. Стихи 42
Виталий Амурский – Стихи 48
Марк Зильберштейн – Лирические отрывки. Стихи 53
Игорь Гельбах – Под горой Давида. Повесть 58
Борис Фабрикант – Стихи 97
Валерий Скобло – Стихи 102
Л. Терлицкий – Пуксозеро. Рассказ 107
Михаил Дынкин – Стихи 115
Евгений Никитин – Стихи 120
Евгения Изварина – Стихи 125
Елена Зейферт – Рим, Дневное стекло. Поэма 128
Исаак Розовский – Раритет. Повесть 135

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Роджер Смит – Несколько слов о проф. П. А. Сорокине 189
Переписка Александры Толстой и Питирима Сорокина
(*Публ. – Р. Смит*) 192
Ираида Легкая – Стихи. К 90-летию со дня рождения
(*Публ. – М. Адамович*) 197
Татьяна Фесенко – Антология «Содружество».
От составителя (1966). Вступительное слово
на вечере Ивана Елагина (1973) 201
Марина Адамович – Заштатная муза Ивана Елагина 217
Иван Елагин – Заштатная муза. Из домашнего альбома
(*Публ. – Елена Матвеева*) 222
Ольга Анстей – Стихи (*Публ. – Елена Матвеева*) 244
Иван Бунин – Письмо к Ольге Анстей (*Публ. – Е. Матвеева*) 246
Елена Матвеева – Письмо к отцу. Рыцарь духа. Эссе 248
Владимир Шаталов – Письмо к Ивану Елагину
(*Публ. – Елена Матвеева*) 251

СО СТРАНИЦ НЖ

Федор Степун – Родина, отечество и чужбина. Статья (1955) 254

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Ольга Матич – В. В. Шульгин: противоречия или парадоксальное мышление 270
А. Г. Ранская – Сибирские предки А. А. Блока 299
Мария Рубинс – О рецепции русскоязычной литературы в Израиле 311
Урия Шавит – И это культура? Статья и интервью с Александром Гольдштейном (*Перевод – М. Рубинс*) 315

ОБ АВТОРАХ 324

Поздравляем газету «Русская жизнь» с 100-летним юбилеем!

Созданная в Калифорнии век тому назад первой волной русской эмиграции, газета никогда не изменяла своему кредо: борьбе против коммунизма за свободную независимую Россию, – и всегда отстаивала лучшие традиции русской культуры.

История газеты – это история русской эмиграции в ее выдающихся именах и достижениях.

Мы подзравляем всех сотрудников и читателей РЖ с юбилеем! Мы искренне сожалеем, что в эти непростые времена газета прекращает свое существование в традиционном формате бумажного издания.

Мы гордимся, что русский XX век навсегда связан с именем газеты «Русская жизнь»!

«Новый Журнал»

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Белозёров

Трое. К новым берегам

Средь бела дня в городе на Днестре опять звучали выстрелы… Горожане, сбитые с толку пропагандой, свыклись и с этим выяснением первенства – между милицией ПМР и полицией Молдовы. В отличие от Тирасполя левобережного Бендеры занимали позиции умеренные в стратегиях Разрыва, травимых политтехнологами, и… пожинали плоды.

Головной же офис непризнанной Республики в тылу находился. И через годы заслуги как Центра атаки мозговой будет превозносить, упустив, что победу на острие меча добыл ему сосед правобережный. Однако бендерчане полагали: перебесятся лидеры в газетах и по телевидению, – словно и не пылали на прежде единой одной шестой веси – в Абхазии и Осетии Южной; словно армянские и азербайджанские кунаки по зачину мундиров не наставляли в пылу «калаши» друг на друга… тут только волю дай!

1

…22 июня по прошествии полувека от начала Войны большой, война малая междоусобная (коварная не менее) в Бендерах была в разгаре. В занятом конституционной армией микрорайоне «Ленинский» люд местный принимал тяготы восстановления целостности государственной… В подвал пятиэтажки жилой, расположенной бок о бок со штабом вояк (в отделении местном кинопроката), под дулами автоматов были водворены ввечеру двое мужчин с гематомами на лицах и женщина, почти юная, без признаков глумления. Тела их изнывали от усталости.

– Господи, *за что*?! Тридцать лет жилось вольно: школа с медалью, вуз, точил репортажи, *как полагается…* Ударишься и в мистику: в ответе, мол, за всё, за всё, *за всё!..*

– Пальцы твои без следов пороха… Еще несколько сот метров побудь для них машиной землеройной – дальше свобода!.. Еще чуть-чуть…

– Крови на нем нет, ты права, девочка, да взяли-то его с корочкой в кармане, хе-хе, корреспондента издания сепаратистского! Окопы для него – поклоны Богу: умолять, чтобы рытье не прекращалось! И мясо ладоней стереть до костей… А ты говоришь…

Голос выдает амбиции обладателя – он старше лет на десять… Всполохи дальние и ближние освещают помещение через оконце под потолком. Дворницкая. К стене привалившись, старший вбросил в пыль ноги в туфлях израненных. Объект же критики его едкой в джинсах изгвазданных – напротив, об руку с заступницей своей.

– …Расстреляют! – в беспросветности катал младой какую-то лепеху тонкими, как у пианиста, пальцами в ссадинах. – В окопах слышал: *четверых уж!* Сутки отпахали под обстрелом, – а всё равно, если не знаешь языка – значит наймит вражеский!..

– Отличник, вспомни десяток слов молдавских…

Спутница желала успокоить. Ощущалось, что не жена ему, но есть между ними притяжение. Высока и стройна, как с подиума; на лицо ж не совсем легитимна: косоглазие… Но вот голос – нежный, грудной…

– Оставьте, девушка, миссию гуманитарную: будем к смерти готовиться, хе-хе, зачем иллюзии питать?.. Ну что в ней, в жизни-то: дрожать и бежать, дрожать и бежать!.. По молодости боялся не успеть в деле любом, к примеру, жениться не на той; дети пошли – опять страхи: *как* они, *что,* кровинушки мои?.. Боялся: империализма, сионизма, распада Союза, и, наконец, — объединения Молдовы с Румынией!.. Искал сразиться – с судьбой. Три дня катавасии сей, верите, как гора с плеч: не боюсь!.. Стрельба в районе «Северный» меня застала – я ж шел на юг, на «Ленинский»: все – *оттуда*, я – *сюда!..* Близ Крепости у позиций ПМР казаки просили пулемет на крышу девятиэтажки подсобить. Помог! По периметру же части российской у автовокзала – ни выстрела тебе: хранит нейтралитет армия. А поодаль снаряды ссаживают деревья, как лопухи, обыватель кишками тротуары метет, провода виснут, асфальт дыбится… А мне хоть бы хны: не бегу! Ведь я порвал с *теми*, с кем не просто порвать… Да брось ты глину мять!

Трибун задумался. Он расточал себя на толпу уличную, на лица, дома не усидев. Оборотил как-то взор к глянцу витринному – и «возлюбил» себя, апологета порядка нового: готов был отражению дать пощечину! Ведал: не без его участия рьяного вспыхнет вот-вот в городе родном. И стало так: самоустраниться, взирать на горожан с иным блеском глаз своих испытующих. Уже не с войной заодно.

– А я только начинаю бояться! – младший швырнул лепеху в проем оконный, где гул крепчал. – И невдомек: *почто?..* Да, журналист, но учился-то я в Кишиневе... – он не закончил мысль. – Скорее б утро, и за лопату! «Шма Исраэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!..» – «Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь один!..»

Пролетело *нечто* по-над крышами кинопроката – штукатурки метель в дворницкой… То ли залп по центру города бунтарского, то

ли обратка в колеснице огненной. Всё сдвигалось в какофонию: и близкие мин шлепки, и дальние во чреве земли гаубиц насаждения… также и трели автоматные, и пулеметные, вдернутая харизма в них... Такой футбол!

– Помолился – и нет *жуткого*, так ведь? – оживилась девушка, усилив голос в канонады наплыв. – Сказал же товарищ: «Война – с плеч гора!..», – смерила раскосо старшего, одобряя. – На всё воля Божья, за чередой событий грозных взойдет и их *приятия легкость*… Роман Кундеры по радио «Свобода» слушала я в час начала войны…

Полемист заядлый и тут не удержался, сшибая всё и всех в бездны разбитные:

– И давно это у вас – увлечение *волнами?* – Но ответ его не интересовал, гнул свое. – Слушал некогда и я «Голос», будучи уверенным, что не застукают, хе-хе… а вот ныне со спецкором «Свободы» соседствую по площадке лестничной, – времечко-то?

– Вы знаете Хладнюка? – пуще забрала тоска младшего. – Он в газете нашей лил на мельницу сепаратизма. Но потом... Вот из-за перевертышей этих я в овнах жертвенных?

– Опять разволновался, – напарница, с вызовом к оппоненту: – Я бы просила не давить! Заразителен ведь негатив. Возлюбите себя – и вокруг всё изменится!

– Городишь чушь, милая! Если я извернусь, как йог, и лизну в обожании пятку свою, – приятеля твоего не расстреляют?! Или он из сепара обернется в конституционалиста?!

– За что вы меня так? Мы ж в упряжке одной. Я прикрывал вас, когда вы то и дело залегали. У меня, между прочим, мозоли кровили… и у нее, но мы продолжали грызть окоп… А вы всё не спускаете? Претерпевать в лапах наци – и самому изводить такого же бесправного! И перед расстрелом, сверкая очами, не упустите попрека курчавому, не правда ли?

– Заладили, мужчины: еврей – не еврей! Я – наполовину русская, на другую – молдаванка; полукровок они называют манкуртами!

– Да уж, куда забавнее на фоне этом лозунг их нынешний: «Русских – за Днестр! Евреев – в Днестр!..» – прыснул молодой. Он и не думал обижаться по большому счету.

Помолчали под раскат очередной.

– Меня Владимиром зовут, – сменил тему старший. – Не поверите: сороковник вот стукнул позавчера – под вой сирен Штаба ГО… Давайте уж знакомиться, весь день ведь мантулили бок о бок...

– Ефим, тридцать лет, корреспондент газеты «Новый путь». Бывший теперь уж кор.

– Дойна, двадцать пять, регент хора церковного.

– Вот и славно... По вопросу же главному: мне, русскому, обидно, что на сутки третьи за евреями автобусы пригнали из Кишинева! А горожане иные – что, мастью не вышли?

– Я отверг шанс сей эвакуации в пользу детей и стариков, – не сбавлял Ефим. – А *лозунг дня* про русских и евреев на Днестре… кому пришлось бы туже в этой ситуации, как думаете? – махнул рукой; тряхнул головой: – Кормить нас будут?

– Проголодался – значит, в порядке мóлодец, а я уж думала… – Дойна решала уравнение сложное. – Слушай, Ефим, а взял бы ты меня в жены, если б не уродство мое?

– В клинике одесской косоглазие правят в одночасье… Свадьба скорая, ха: а вдруг женат паря? – подкинул Владимир.

– Я холост. И, вероятно, женился бы на Дойне… – Ефим к Владимиру: – Утром мы попутчиками случайными на вояк этих напоролись. Они вскинули дула на нас, а я не смог откреститься от удостоверения чертова… Она ж бросилась под «калаши», кричала по-молдавски, чтобы убивали обоих, так как *муж* и *жена* мы!

– Ох, Ефим, не трави душу! – Дойна лицом в ладони. – Мной погнушались!.. Ничего нет хорошего в насилии, но если тебя отвергают *те*, кому позволено всё…

– Дура! Радуйся, что солдатня не попользовала. В книгах о войне девки сажей мазались, чтобы не глянуться фрицу. А ты – береза стройная... Ефим, угомони девчонку!

– Дойна, милая... – тень Ефима от всполоха взметнулась по стене. – Обещаю: если не расстреляют, заживем на лоне Красного и Средиземного... в Иерусалиме!

– Честно?! Ефимушка, я сейчас зарыдаю. От радости...

– Куда уж честней: ты ему жизнь спасла. Торжествуй!.. Вот только мужику русскому податься некуда. В Новом году в Иерусалиме, однако! – взялся за голову в показном...

– У нас любовь – вы не допускаете? – ушел в рефлексию Ефим: – Вот *оно* – перед казнью всё только и встало на места! А ведь я всегда думал о месте в жизни. Теперь подальше – от политики и от территории проклятой извергов и рабов!

– Манифесты лидерам-сепаратистам крапал: *виновен*! – Владимир цербером у врат.

– Познал, *как* Свобода дается! – отмахнулся Ефим; потом к Дойне: – Ты со мной?

– Куда она денется… Будто забыл: *в любой момент*! Крысам оставят на плитах этих!

– Впрямь! – хлопает Ефим себя по лбу. – В минуту любую… рас-с-стрел! Всё, что они могут!.. – обнимает Дойну. – А вот – хрена!.. –

тянет кукиш в окно. – Когда ты их умоляла, а они смеялись, я тогда и решил: будем вместе, если не убьют!.. А вы, – к Владимиру, – нарушаете приличие, и меня ваша категория весовая не остановит! Это я с виду хлюпкий…

– Успокойся, Ефим: Владимир шутит. Он просто такой... Вы такой ведь?

– Я не шучу. Если не дают еды пленникам, значит, завтра других на окопы.

– И что мы можем изменить?

– Готовить побег.

– Вот тогда точно – пиф-паф, – едва улыбнулся Ефим.

– Не смейте! – Дойна всплеснула руками. – Надо ждать!

– Ха. Умолить небеса на участке тщедушном? – Владимир торжествовал в отчаянии. – На евреев глянь, девочка: сотни лет ожидания в алию обратили!.. Надо бороться. – К Ефиму: – Помни: у них не диплом твой, а корка сотрудника, что по линии издания гнет!

Пауза. Канонада набирает обороты и опадает. Ливнем сыплется где-то стекло битое.

– Что-то мне лицо ваше знакомо, – поднял глаза на мучителя Ефим. – Быть может, они заинтересованы именно в *вашем* расстреле?

– Да, я один из лидеров Комитета рабочих, вернее, бывший… И с тобой, Ефим, мы коллеги, беря во внимание пару-тройку воззваний, подправленных мастеровито рукой твоей… Доложи это усачам с «калашами», уверь их, что в сеть угодила рыбеха!

Ефим выругался; Владимир продолжил:

– Я отвечал за организацию митингов. Мы и сколачивали Фронт антинационалистический; в помощь нам – газеты, телевидение-радио. А вот курировали нас – все *те же*, кто испокон верховодит. И наци сплошь – под контролем их... Заявить же открыто об этом я не решился, кишка тонка... А тут я – узник совести, и там – в Одессе, в Кишиневе или в Москве, – узник!

– Вы не пытались дать интервью «Свободе»? – спросил Ефим.

– Верно, я вот слушаю волны, и многие в ПМР их слушают, – воспрянула Дойна. – И Хладнюка знаю, он бывает в храме на службах воскресных... с батюшками общается...

– Замаливает грешки, сосед хренов! – сверкал глазами Владимир.

– Мы бессильны против охраны вооруженной! – вернулся Ефим в русло.

– Кое-что в наличии! – Владимир подобрал брючину, обнажил привязанный к ноге нож армейский. – Вот почему я залегал во рву и прятался за тебя.

– Ой, не нравится мне это! Ой, мужчины… – Дойна себя превзошла гортанно.

– Тише, Дойна!.. Дело говорит Владимир. Нужно бежать!

– Дождемся конвоира. Ефим отвлекает, а я подступлюсь сзади… и... прощай город!

– Я бегаю хорошо... – часто дышала Дойна. – В направлении полей, там и тропка... Я проведу. – И опомнилась враз: – Только не насмерть: человек не овца, чтоб резать!

– Вот и вечно у вас, барышня-христианка, *как бы*. А богам войны крови подавай! По богу и богомольцы! – Владимир пребывал в диком поле разума, знал это.

– Руки-ноги связать… – Ефим тянул ремень брючный свой, на прочность апробируя его. – Да и у вас – кожаный... – к Владимиру. – Резать не надо. Человек всё же.

– Э-эх!.. И я курицы не заколол, черт возьми, – по этой части жена... Но сейчас перегрызу кадык каждому. И вам приказываю: собраться в кулак!

– Отдайте нож! – срывалась Дойна. – Нужно покаяться. Они же – по праву. Мы – раскольники!.. Надо молиться. Безучастным Бог не останется. Нас – *трое*, а где трое *во имя Его*, там и Он!..

– Предложу им денег?.. – Ефим разошелся во имя спасения всеобщего. – По сотне за каждого – и дело в шляпе! Могу и по двести баксов…

– Как им отпустить тебя за деньгой?.. Или еврей хитрый гроши в трусы зашил?

– Еще вариант, – не сдавался Ефим: – Здесь недалеко квартира бабули покойной моей, там серебро столовое, кое-что из утвари… облигации... Если, конечно, дверь цела.

– Да уж дверь любую вышибают ныне в поисках диверсантов. *По праву,* хм... Спасение – нож! – Поигрывали рьяно блики на оружии холодном в руке Владимира.

– Ох, мужчины, не умножайте зло! Предлагаю солнце встретить с молитвой! Они придут – и увидят нас на коленях: мы молимся за свои и за их грехи...

Канонада за окном усилилась. Вгрызался ожесточенно металл в коробки домов, струны асфальтные рвал, шуршал маракасами по окраине многоэтажной... И после каждого разрыва металлофонического, сдвигающего сознание (с чьей стороны залп? на чьей вдребезги осколки?), – вопль! То жертва очередная сходила в восторг саднящий, душу испепеляющий... То – музыка войны... И это передавалось Вселенной!

Ефим бил кулаком о пол пыльный:

– Я *строил* жизнь, планируя, не позволяя прозябания… никаких игр тебе опасных – лыжи, горы, акваланги… Однокашников, угребающих с песней в армию, я презирал. Не моя зона смысловая! Ха-ха-ха! Ну-ка, дайте нож!!!

– Что ты собираешься делать? – всполошилась Дойна.

– Не чини ущерб телу своему, хе-хе! – играл сталью Владимир, – в этом Бог ваш!

Ефим уткнулся в колени, зарыдал. Под футболкой позвонки обозначились. Подросток в катакомбах на игре «Зарница» – заплутал! Дойна тронула осторожно его за плечо:

– Положись на меня.

Владимир, матюгнувшись, встал и устремился в угол, где среди метелок узрел ящик громоздкий, подтащил к окну его, опрокинул вверх дном и вскочил на него:

– Казаки прорвутся – будет у нас шанс. Не прорвутся – окопы на славу мы отрыли!

– У вас, Владимир, ассоциации странные, – произнес Ефим, всхлипывая.

– Дружище, знаю мысли твои: авось разведка проявит интерес к нам? – Владимир вернулся на место. – Меня ж спасение эдакое троицы нашей не устраивает!

– Я вас ненавижу. И всех, навязавших модель авантюрную на берегах Днестра, – без разницы: сволота, дичь. Не даете жить нам и себе поганите!.. Я вас узнал – как только взялись мы за кирку и лопату!

– И тексты мои правил перед версткой, косолапости фраз усмехаясь... Со мной нельзя быть незнакомым, я на виду!.. Я и есть медведь тот с карикатур голливудских, хе-хе...

– Убейте меня — и меньше слов!

– Что вы такое говорите, мужчины?!

– Убейте; не слушайте ее! Ну же...

Владимир вскочил-таки на призыв – и сходу примерился с ножом к горлу Ефима:

– Ну, пульс участился? Начинаешь *быть на острие*!.. Умилостивим Господа?..

Обернулся к Дойне, ухватив ее за волосы пышные; приставил ей нож:

– О, возьмем лучше девицу!.. Чик-чирик – и кровушка ручьем! – Склоняется к уху Дойны (та ни жива ни мертва): – Женишок твой кудрявый – рыхля, как и все!

Оттолкнул девчонку; сел под стену на место прежнее.

– Прошу простить слабость. Хотел явить: человекозверь, загнанный в угол, – опасен!.. Не горазды мы на прыжок: так и будем *уповать*.

– Однако Бога вы сейчас призвали, отрицая в Нем – Его же! Вы – на подступах!

– Прибереги песни для хора! Все соплеменники его, – указал на Ефима, – держат Бога за яйца. И Бог впряжен в арбу их сонмом ангелов и демонов… Чтобы объегорить *не избранного*, необходимо во время оное убедить себя в избранности собственной!..

– В этом и ключ! Мы *познали* Бога, а ваше *незнание* ведет к состоянию животного. Поэтому: «Евреев – в Днестр...» Искоренив нас, вы растянете экстаз самоуничтожения!

– Ты прав, черт! – чесал затылок Владимир. – Главное, что мы знаем о Боге, – это требование от нас же веры и смирения. А у евреев не сошлась на смирении вера!.. Да, не люблю я брата вашего; надумывал и со скамьи школьной, что вы – инопланетяне, – так как родители мои не имели ответа: почему русские, украинцы и прочие – стаей, а евреи – особняком: *нездешние*. Задачу блюдут? Но какую? А без понимания *миссии вашей* (и *мессии*) с места и не сдвинешься в осознании законов социальных!.. И в аппарате у нас шептались все в кулуарах – о всесилии еврейском…... Вот и молдаване, прозревая о перемене рычага, крапают лозунги эти смешные: кого там *за* Днестр, а кого – *в* Днестр…

– Мы в плену у националистов, а сами рубите с плеча.

– Надо молиться!.. – встряла Дойна. – И одолеем беду. Молитва, коей зверь лишен, *усечет* зла умножение! Ведь то, что Владимир якобы не признает Бога, а ты, Ефим, признаешь, – в этом споре *уже* Бог. Ибо сказано: «Где трое во имя Бога – там и Бог!..»

– Браво! Ждем чуда?! – ударил в ладоши Владимир. – Ну и невеста у тебя, Ефим: симпозиум в оковах завела, пред казнью!..

– А вы не можете не затащить в страх! Сгонять стада дрожащие на митинги, рисуя картины апокалипсические. И потерей свободы третировать рабов! Кредо?

– Стары, как мир, техники управления, да уж... – Владимир уваливался к стене.

– Всё образуется, мужчины: стихнет свистопляска ночная... всё образуется...

– Лучшее не обсуждается! Сама знаешь: пятерых расстреляли на участке; они и рыли могилу себе… А вот другим еду давали. Нам же – воду, как лошадям... Признак гиблый.

– Опять волну гоните?! – вздыхал Ефим, не теряя надежды.

– Ты верно усек: страх правит. Но, может, *страх Божий*? – Владимир в репертуаре.

– Так есть! – Дойна вскочила, огладила джинсы, воздела руки к потолку; сообразно моменту изрекла: – Всегда проще ужаснуть, чем

подвигнуть околично! Страх – не признак бесхребетности, но причина для Духа осознания. Промысел святой!.. Вы оба – *верите;* и вы, Владимир, как бы ни изобличали себя, угодны, – так как *горячи!*

– Она к тому же и артистка!.. А что запоешь, когда поставят нас на краю ямы, которую и выроем?.. Палачи – тоже горячи! Ведь горячи, горячи – палачи?.. Хе-хе!..

Ефим охватил голову – опять эти штучки несносные. И заговорил:

– Вот и сообразили – *на троих!* Смерть на троих! Удел мой: пред Лицом Творца – с антисемитом и христианкой. Откровение с петлей на шее! Кха-ха-ха! Ведут меня на эшафот, а я правлю на манжетах письмо к Тому, кого измыслили предки мои для сделок с гоями!.. И вот они, загогулины, Огненной Книги текст! – подносит к глазам ладони: – Буквицы неопалимые, чаяния и раздумья... вы служите мне оправданием на Весах! О, Господи, мою Книгу переведут на языки мира… Дух аж захватывает!

– Дорогой, что с тобой? – склоняется Дойна над Ефимом, в изреченное им не вникая.

– Не дождутся! – Ефим встал в рост перед антагонистом, отстраняя Дойну: – Социума звено избыточное, коим мнили нас на отшибе антисемиты мастей всех, еще сильно – в цепи человеков, в будущее устремленных!.. Владимир, а вы ведь подметили: за нами, евреями, не просто сила капитала, но и сила *иная!*.. Да, я буду поутру тянуть к ртам с щетками усов диктофон... Но именно они, исполнители, будут передергивать – и затворы, и смыслы, утверждая избранность *свою*, а не мою, дискурса зачинателя!

…Взрыв мощности невероятной потряс здание до основания – в апофеоз реплики Ефима. Трагедия личности (триединой) взметнулась в сферы к Создателю незримому Вселенной явленной, – и, *Ответ Небес*!!! – средства массовой информации передадут: «За минувшую ночь артиллерией гаубичной превращен в руины пятиэтажный дом». Но это не совсем так. Были сметены стены угловых квартир; на уровне подвальном также флуктуации конструкций несущих и ограждающих... всё скособочилось! Острога узники залегли; припечатало их, засыпало штукатуркой, кровь пустило из ушей, в июньскую скрежета зубовного ночь... И канонады гул уступил тишине оглашенной. Но никто ничего не мог произнести (по поводу стихий ознаменования), нужны еще и еще секунды, в вечность распяленные, чтобы артикулировать начать.

По остову двери железной брешь образовалась – с кирпичами шаткими, что зубья тебе гнилые. Клубы едкие заволокли подвал… Владимир, припав к решетке окна, вещал:

– Бегут! И оттуда – и туда… всё, короче, смешалось!.. Кхе-кхе, – горло дым дерет!.. Мать честная, у них танк горит!.. Знать, Ефим, взыскание к потомкам отменяется, позже с монологами!.. Ба, огонь перебросился на хранилища с кинолентой... мечутся тараканы!.. Много огня и дыма, друзья!.. Ефим, давай вдарим по двери с разбегу – и дело в шляпе!

...Выходили, озираясь. Под носом тех, кто мог угрожать расстрелом, но был занят иным: несколько квартир, как пирог в разрезе, явили сурово интерьеры многослойные. И тела мертвые у подъезда кровавились веско, включая волонтера военного... Ругань, стоны контуженных, раций стрекот... И мирные, и армейские составляли среду суматошную... Опрометью через двор под гвалт и шелест шпарящий мин – вперед, где гаражи и голубятни чернеющие, мусорные баки вывернутые, заборы, клумбы. Тропами, а то и по отмостке бетонной – к фасадам, сливаясь с ними... Нет-нет да и ссыпалось стекол крошево. По беглецам ли лупил снайпер, или обстрел всех окон?.. К бордюрам и цоколям, скуля и матерясь во всполохах огненных, *трое* – по Ефимову адресу...

Через школу и детсад, задворками магазинов разграбленных и изъеденного мин осколками ресторана «Космос»… И чуть на патруль не нарвались, курсирующий по периметру микрорайона. На черепаху заводную был похож бронетранспортер тот с триколором по борту. За остовом оплавленным павильона овощей укрылись от него... За столбом каждым мерещился кто-то с ружьем. Но шансом располагали беглецы. Путь до квартиры бабушки Ефима (под разрывами близкими и дальними) лет в сорок блужданий! Минуты вселенские, распяленные в вечность оголтело... *«Шма Исраэл!..»*

2

Хрущевка заветная. Во дворе – «козел» милицейский, в сопли копотные утертый по бортам шинами сгоревшими... Подъезд первый. По маршам лестничным сердцами громыхали они, пульсом надежды: надо отсидеться, страхами питаясь, – ведь нет новостей внятных! И вот уже площадка квартир этажа пятого – и номер «семнадцать» в ромбике на дерматине двери… Рука Ефима тянет ключ. И – стоп! Сквозь скважину – потоки сумеречные. Замок выбит; след рант на обивке! В люк чердачный по лесенке Ефим карабкается: приютить всех там или осмотреться желает? И – обратно, что пожарник на шесте... Бледен он, как луна светит лицом.

– Пулемет! – павлином сипит запоздало Ефим.

И в момент сей из-за двери шум – рация! Штык-ножом с мозга

на живую срез. *Там* движение, то есть *здесь* уже, в дверях распахнутых: всё полонится башмаков ором, оставивших след рант! И фонарь навстречу шпарит люминесцентно. Обложены они (и те, и эти) заставой перил, ощерились *зверьем на краю*, стресс последний постигая… Рация истерику небес усугубляет: скрежет зубовный! И армейцы блуждают взорами. Затрусил фонарь их – и упал, луч прокрутился. Глаз фары рефлектируют габаритно – в безумии друг на друга.

Разрешила напряг вселенский Дойна – по-молдавски:

– Мэй, домнуле... мы хотели проведать дом свой, но вам важнее... мы – *уходим*!

Владимир и Ефим кивали – в отсутствие апломба иллюзорного. Пользовались фонаря расфокусировкой: высыпавшие на площадку рассматривали. Трое их. В лицах мучение нездешнее. Призраки юные... Командир же расчета данного, базирующегося на окраине района занятого, отсутствует. Что и подтвердилось в ответе *на русском*:

– Простите! – голос субтильный. – Лейтенант в штабе, в связи с ситуацией. Как вернется, переберемся... Вещи ваши в сохранности. – Затем к своим: – Жосан и Рошка – на позицию!.. – и жест пригласительный к гостям после отмашки формальной бойцам...

Дойна уверенно вперед, за ней Ефим и Владимир. Сержант (форма советская) чему-то улыбается в себе, фонарь и рацию укрощая нервически. Даже по умолчанию читалось: верхолазы, ушмыгнувшие к пулемету, – села жители диковатые, а этот, на план вышедший, – горожанин, холеный и коммуникабельный. Пристроив фонарь на шкаф, начал он с ходу *историю*, стоя, озираясь на себя (как и все) и на стол круглый, на коем и хлеба ломти, и тушенка вскрытая; луковица вот еще каталась и зубья чесночные вразброс, словно патроны... Исключая виды паркета затертого с окурками и шелухой, всё было цивильно: сервант с тренькающей в рюмке от сотрясений гулких медалькой-шоколадкой, телевизор цветной, ваза с ландышами из пластика, фотография внука-школьника у семисвечника на комоде...

Итак, история радетеля прав конституционных:

– ...До дембеля месяц оставался. А нас в фургоны по тревоге – и сюда! Как овец в арбе свезли битком. И ничего в спешке не понять: учения?.. Чтобы служить дома, в Кишиневе, родители военкому двести долларов кинули; тот мог и «отмазать» вовсе – за «штуку»... и вот я при штабе бока околачивал с выездом на стрельбы раз в квартал. Хм, по расписке: тридцать патронов для «калаша» и сорок пять для пулемета... К битве иной тяготел я, – приткнул автомат к табуретке, сел на нее и всех пригласил жестом к дивану. – В училище искусств поступил, на руководителя коллектива фольклорного, танцевального. А меня сюда: восстанавливать целостность государства!.. В подчине-

нии моем двое, «морпехами» их окрестили, – на крыше в дозоре по периметру: докладывают. Наша точка – крайняя в линии, а «морпехи» знай себе – в дозор. Я и включаю-выключаю фон: говорю, что диверсантов не обнаружено, чтобы только *мои* успокоились. Они – внуки чабанов с холмов Молдовы Северной, «морпехами» прозвали их за то, что уверены, будто с Америкой воюем. Офицер на политучебе выразился некорректно: Америка-де руками России угрожает Молдове; а они и свели конец и начало... Упертые, спасу нет; лук и чеснок поглощают, стресс глушат, утверждаясь, что сепаратисты – пособники Америки. С детства их учили чабаны: Россия с добром к Молдавии, а со злом – турки и англичане... Офицеры махнули рукой – с Америкой так с Америкой! Хотя по уставу воин обязан знать, против кого бой… Я же вскипаю от осознания: руки дрожат, голова кружится, пот и озноб... Грех, грех – и для ваших, и для наших – убивать!.. Терпеть не могу оружие. А те, на чердаке, трутся у пулемета день и ночь, смазывают, перебирают. Автохтоны, говорил профессор в училище про сельских. И с тягой к машине смерти: баранов и индюков резали и с «американосами» поквитаются, с вами!.. Одни животные гнобят других; кровь льется рекой, как поет Мигг Джаггер... Тошнит. Не стрелял, а уже облевал крышу, когда позицию осматривал... Многие из наших полегли у исполкома, выучки – ноль. Офицеры – про потери те – молчок. А сколько смотали удочки?.. Стучатся в дома, просят одежду и вплавь – за Днестр, в Украину бегут. А «орешкам крепким», кто *за возрождение нации*, – им бы скальп снять кому из вас, сепаров!.. Злодеяниям по обе стороны несть числа. Хм!.. А ныне приказ: сдавшихся считать дезертирами. Всё, баста, выхода нет!

Стало ясно: перед ними срочник армейский, чуждый грабежам и расстрелам.

– Как зовут тебя? – на правах хозяина поинтересовался Ефим.

– По-молдавски – Николае... по-украински – Микола... Коля – по-русски!

– А по национальности? – наседал Владимир.

– Наполовину молдаванин, а на другую – хохол, – улыбнулся сержант. – Школу вот русскую окончил... в училище же выбрал группу молдавскую – из-за стипендии...

– А я окончила Консерваторию! И сразу – в хор церковный! Мы – коллеги! – Дойна смягчала напористость Владимира.

– Айда с нами! – краюху хлебную заглатывал Владимир, распоряжаясь здесь каждым и заглядывая по углам. – Выберемся из зоны боев, и – в Кишинев! Ой-ля-ля, Николя...

– Дезертиры о возвращении домой не мечтают. А мне еще учиться, семью строить...

– Неужели одно – *воевать?* – с тоской Дойна.

– Пять долларов… – Николай проныривал по гимнастерке, не слыша. – Бабушка на именины подарила. Возьмите! – тянул он Дойне купюру. – Не медлите, огонь крепчает.

Ефим сидел очарованный, блистая слезой. Владимир хмыкнул. Дойна одернула руку.

– Берите и *бегите*! – Николай ввернул хрустящую в ладонь девушки. И – промельк плутовской в лице: – Знаю: *вы в розыске*! Я перехватил ориентировку штабную: «Побег журналиста с пособниками, в их числе – женщина...» Садами уходите – к трассе на Каушаны. Беженцы тянутся туда... Вот-вот явится лейтенант.

Дойна обогнула круг света от фонаря, упрятала деньги в лифчик. Затем шагнула к служивому и, пригрозив прежде Владимиру, зашлась речитативом, словно с клироса:

– Николай ты наш Угодник. Прими иконку: «Святая Троица» – носила, тебе передаю. И пусть охранит сердце твое чистое, защитит от умысла злого и сглаза, и от пули спасет!

– А если наступление? – дожевывал Владимир. – Придется ведь и за цевье... хе-хе...

Не досказал. Взрыв силы непомерной расколол сознание, как арбуз, – и ужаса всполохи смачные, и восторга ляпы (раз живы, раз не убило!), и хохота брызги бесовские (послевкусие: не изведав, не понять!) – вылизывали изнутри черепа мозга мякоть. Впечатление – снаряд за дверью смял в гармошку марши лестничные!.. Но по-прежнему всё: и семисвечник на комоде, и фото... и ландыши в вазе... Лишь в ушах звон. И качка!

– В поле за домом снаряд угодил, – пояснил весело Николай. – Я привык!

Ефим бросился зигзагом, равновесие храня, к ящикам комода, к серванту, к тумбочке под телевизором: искал на ощупь, бормоча. Выхватил четки коралловые из шкатулки – в карман, бусы сердоликовые – на шею Дойне. А книги: Тора, Галаха, Шул хан Арух – как *их* с собой?.. Обнялись по очереди – с Колей, от коего не разило ни войной, ни отчуждением. Ринулись вниз, перепрыгивая ступени. Дилеммы «что делать?» не возникало – для тела о головах трех, свет в конце тоннеля узревших.

Ан черт *не желал* шутить. У выхода из подъезда Владимир (вожаком он) наскочил на офицера, у коего бант белый на груди, за плечом же – в обуздании небрежном «калаш». Но передернуть затвор, скомандовать зверю железному «Взять!» или им просто – «Руки!», как это принято (час комендантский да и беглецы на ориентировке!) – не удалось. Блюдя лидерство, Владимир бросился на

вояку, будучи ростом вровень, заглатывая спиртом потевшее вдоха-выдоха марево поршней нутряных его. И в стиле портняжьем (шито-крыто!), без стали посвиста широты, сковырнул, будто профи, что-то в такт себе под взопревшей его, молдаванина, гимнастеркой… *Вкусил*. Вибрировала током по лезвию вдоль канавок кровь человека, сделавшегося близким тревожно... и – иссяк импульс на острие с интонацией песенной Кодр (откуда и был он родом). Испытал Владимир новое – *о нем* и *в нем,* с жизни аккордом последним лейтенанта молдавского. Шли они в объятия годы, к сути этой несносной (наносной) – с задачей шли: один – улицами и умом линейный, другой – лесом витиевато-помпезным…

– Василаке – меня зовут! Я из Ниспорен!.. А ты *кто?*.. Не отпускай на землю...

Ничего больше не сказал – только то, что сказал, – с акцентом выдал убивцу наказ.

– Тс-с… – Но уши себя не слышали. Обмяк Василаке. Так и держал его на штыре точеном, пьяный кровью экс-предводитель движения рабочего. Не назвался ему, зная, что имя заберет он *туда*, за грань! Досаждало и то, что нет логики в последней воле жертвы – куда ж его, как ни на землю? – на порог, котами меченный, к мусоросборнику, а может, на диван?.. В газон его, непрошенного, человека бывшего, к отмостке фасадной, где тропы забулдыжные, стекло битое и фантики конфет…

Автомат взять не решились, и штык-нож – у трупа в груди. Вперед, вперед – и не оборачиваться: в столп заледенеешь... Закон попран, всё во Вселенной потрясено!.. И никто не сбивается с шагу... Позади микрорайон. С вершины горы Суворовской, что за полями-садами, взирали они во все глаза на хаоса действо. Пульсировал в ночи город, озарялся снарядов всполохами (наподобие электросварки те дуги взрывные, вскипающие бурно и опадающие скопом)... Почти бежали, чахнув *от памяти,* проселком... Темные окна домов одноэтажных... Ни прохожего, ни собаки. И никто не окликнул «Стоять!» Всё замерло вокруг и замерзло – в жару июньскую *стынь полярная*!

Дуб поваленный в куртине леса близ трассы Каушанской путь заградил. Они присели.

– Я имя свое скрыл от него... Я – трус и ничтожество!.. – дышал часто Владимир.

– Смерть эту мы разделим с тобой, – впервые перешел на «ты» Ефим.

И еще через час хода по кромке леса вдоль трассы, где не проехал ни один транспорт гражданский, лишь фургоны военные (от фар

их беглецы к деревьям припадали), троица повалилась в травы. До Каушан, судя по указателям дорожным, восемь километров еще…

Свежесть ночная расслабляла. Однако сна не было.

– А как ты вляпался в политику? – обратился Ефим к Владимиру. – Облегчи душу.

Луна освещала их бивуак у ручья призрачного, реальность сводя к трепыханию теней. *За чертой* многое теряет смысл. И обязательства письменные хранить тайны, в том числе.

– Я учился в Одесском политехе. На втором курсе дал согласие на сотрудничество так называемое. Эх!.. Но – к делу. Лет за семь до Перестройки произошел раздел округов военных и железнодорожных: Молдавские и Одесские – врозь. Раздел коснулся и структур Конторы горячо любимой. Фишку рубишь, Ефим, – *как* оно всё зачиналось, по границам разломов будущих и линиям огня?.. Тирасполь и Бендеры наводняются агентами, идеи в массы провожающие: «СВОБОДНЫЙ НАРОД НА СВОБОДНОЙ ЗЕМЛЕ!» Сравни: «ЗЕМЛЕ БЕЗ НАРОДА – НАРОД БЕЗ ЗЕМЛИ!», – цитируя воззвания из источников разных неопалимых, Владимир словно ухватил за гриву конька. – Лидера пэмээровского уровня любого возьми: все обучались в Одессе... Кишинев жертвовал Тирасполем и Бендерами, кои, по сути, и являют ПМР, и с прожектами возрождения духа национального не лез сюда. Ты – выученик Кишинева и если б не покидал его, то лил на мельницу под патронажем ребят тамошних. Еврей – с тебя и взятки гладки. Петух же войны клюнул – в Израиль лыжи навострил!

– Да и Вы к берегам иным намерились! – опять на «Вы» Ефим. – Но продолжайте!

Дойна бормотала молитву: «Господи, помилуй!..»

– Нас держали в рукавицах ежовых, и нам давали шанс... хм. Зарплату получал, числясь начальником цеха в «ящике» военном. За два года до войны мне, одному из спецов номинальных, поручили создать Комитет рабочий, кой прибрал бы после коммунистов вожжи идеологические. Отвели здание старинное, круче горкомовского, – не в плане комфорта, а по надежности погребов в случае осады. Рядом Дворец пионеров валится, нет средств на ремонт, а мы, власть грядущая, депеши шлем директорам заводов и с корпусом депутатским нога на ногу дискутируем о том, что дальше так жить нельзя: ох уж это «движение национальное Ионов» в Кишиневе! и паче – «Закон о языке» их! а дань с промышленности Левобережной как с вотчины?!.. «Эта земля никогда *им* не принадлежала!» – внушали мы. *«Никогда!..»* – блеют в ответ депутаты. «Провозглашаться, стало быть?» – «Так точно! А война-то будет?» – «Нет, не будет: извечная

заступница наша, Россия, не позволит!» – изрыгали мы довод и – в баню к девчонкам…

Взыскуя к луне полной, Владимир и еще принудил себя:

– А в Кишиневе воздвигают памятник у Музея исторического – Волчице, из сосков которой хлещут молоко имперское *Ромул и Рем…* А к Музею Бендерскому грузовик катит с тонной прутов стальных – для оснастки увлеченных Провозглашением; автоматы в подвалах Комитета рабочих тоже ждут часа!.. Как я сказал, разделение Молдавии на картах-схемах тайных произошло в начале 80-х. Но все они – это я о двух сторонах «патриотизма»: национализма и *пещерного*, и *интернационального,* – курировались Конторой. «Если без требуемого временем раздела одной шестой не обойтись, дабы модернизировать экономику и администрирование, то раздрай этот эпохальный надо *возглавить!..*» Вот и зарапортовались, деятели!.. – рвал Владимир сорочку на груди, глазами увлажненными сверкая: – А я *его* вижу!.. А я эти смыслы бытийственные – «Мы с тобой, сыночек, как ниточка с иголочкой: куда ты, туда и я!..» – перечеркнул... до сердца... Прости, Дойна, дичь с ножом у шеи твоей отчебучил... ох, кручина!.. Василаке... Василий по-русски...

– И у смерти есть достоинство, ее заслужить надо... Поплачь, Владимир!.. А ты, Ефим, спи! Нам надо примириться с *жертвой нашей!* – шептала Дойна мужу своему.

3

Каушаны были полонены беженцами с микрорайона «Ленинский». Жители же центра Бендер шли по мосту отвоеванному – за Днестр, на Восток, в незатронутый войной Тирасполь, далее с вокзала – курсом на Украину, Белоруссию, Россию...

Каушаны, к югу от Бендер расположенные и не вошедшие в анклав, в века средние преобладали, будучи столицей административной Бессарабии. А форпостом военным на окоеме Империи османов служила крепость Бендерская. Кишинев же тогдашний – деревушка-приют гайдуков близ Кодр заповедных.

...Нечесаные, в саже, брели они по выбеленным солнцем улицам городка. Но многие здесь такие: на пятачке раздачи пайка у Примэрии; полицейские в касках полевых и глазом не ведут на прибывающих из Бендер «хипарей» (беженцев-бешенцев) со взорами ошпаренными... Трагедию вселенскую несет Владимир, понурив голову, вослед Дойне и Ефиму: с замашками лидера у него как отрезало... На улочке близ колодца с распятием скульптурным у Дойны живет сродственница, можно перекантоваться, пока не оттает разум от бытия тяжести ледяной. Дальнейшее – в руках Господних!..

– Я спасла его! Он женится на мне и – *в Израиль!* Новый год будем в Граде Святом встречать! – выпалила Дойна, теребя бусы на груди и тыча – то ли во Владимира, то ли в Ефима, когда хозяйка сердобольная (со многими в Бендерах она дружна – с батюшками, певчими и просто прихожанами) оттягивала калитки засов.

Тридцатитрехлетняя Домника была женщиной пышной и славной во всех отношениях. Муж ее – тоже молдаванин – подрядился бригадиром на строительство дома частного под Одессой. Дочь-пятиклассницу и сына-дошкольника по случаю страстотерпцев явки отправила к бабке. (Дойну она звала от начала войны, пока связь телефонная не оборвалась.) И закружилась гостеприимица, как юла. И место для душа в огороде указала, и с одежкой не поскупилась (не беда, что с плеча чужого), и для вещей грязных бак определила, и индюка знатного из стаи в сарай резать поволокла... Дойна помогала ей, об ужасах, что испытали, вещая на ходу... Про убийство офицера молдавского умолчала.

Омывшись, мужчины нашли себя в погребе, покуда в кухне летней скворчало на плите.

– Русские – *за* Днестр! Евреи – *в* Днестр!.. – притуляясь к бочке винной, Владимир протягивал стакан запотевший Ефиму. – Поток полноводный – наш. Утонем *вместе*?

...Ефим страховал напарника вверх по ступеням крутым на веранду, виноградом увитую, – к изобильному по-молдавски столу. Гость с расслабухи и зашелся пред хозяйкой в комплиментарностях – и не только по поводу возможностей кулинарных. Сбавил обороты, узнав, что Домника ухаживаний не приемлет, – «лишь от мужа, что от Бога!» – «От Бога? – переспросил вольно Владимир, – но он – мужчина?» – «Бог, – отвечала хозяйка, – ни *кто* и ни *что*, – а *всё*!..» Дойна улыбалась, зная школу...

И вот всем открылось по случаю о его семье. Жена с детьми уехала... в Израиль! Туда, не ослышались. Детей двое, в том же возрасте, что у Домники. Упомянув о них, Владимир ударился в слезу: один, как перст, в царстве-государстве самопровозглашенном!

– Еврейка?! – Ефим поперхнулся замой наваристой. – И вы скрывали?!

– Ты же помнишь, Ефим, фольклор городской наш: «Кинь взгляд в Бендерах, хошь-не хошь, а в еврея попадешь!..» – И я втюрился во времена оны… чего уж тут!..

– Вот откуда это ваше «пристрастие» к вопросу иудейскому?

– Контора, молодой человек, *она*... – пьянел Владимир, – *она* крестила на Слово и Дело, и лоботомию вершила, а не суженная моя, науськивающая обрезаться ниже, хе-хе!..

– Жена требовала обрезания? – чуть не рукоплескала Домника, ликуя, что беженцам помогла. – Евреи – народ избранный! – дивилась она тайной заветной, румянясь. – Иисус Христос был евреем! И вы могли бы… приобщиться…

– *Гиюр*! – чеканил знанием Владимир. – Чтобы стать *человеком* – да… К особи мужеской подходит могель, заостряет у себя ногти и – рвет счастливцу плоть крайнюю...

– Где черпаете знания допотопные? – смеялся вполне искренне Ефим.

– А если могель не выпьет кровь ту, вылетит из синагоги в два счета! – Владимир ни в какую не давал опровергнуть.

После сиесты компания собралась в гостиной. Ждали по телевизору новостей, в коих талдычилось о разрушениях застройки жилой в артобстрелы, хотя по правде ни один дом многоквартирный в микрорайонах полностью сметен «Градом» армий враждующих не был, лишь строения сектора частного. В ночь сию Кишинев предпринял авианалет на мост через Днестр. Мост не пострадал; на месте же подворий ближайших – воронки дымящиеся… Домника утверждалась, сколько горя хлебнули и ее постояльцы. Извлекла из укладки двадцать долларов, наказав Дойне отправляться поутру за майками и шортами – для конспирации. Ведь в виде «опаленном» (стирай-не стирай, гладь-не гладь) можно и *накликать:* волонтеры военные, ожидающие переброски в зону боев, готовы в плане репетиции накостылять «сепарам», горнила избежавшим. Примеры есть. Одна беженка опознала на грузовике скарб свой: холодильник, два кресла, шкаф, а в нем: пароварки, четыре престера для утюжки (возила их в Польшу на продажу). Накатала жалобу в полицию. Виновник вернул барахло – оказался он офицером армии конституционной. Дама уже арендовала гараж, куда сложила пожитки, только престера не досчиталась. В гараже том и обосновалась войну переждать. И вот «в кусты» приспичило ей. Там ее и нашли – с трусами спущенными и престером, к лицу припечатанным.

По телевизору преподнесли *нечто*. По инициативе Кремля стороны договариваться в Москве начали. Владимир аж стакан накрыл ладонью, чтобы яростью не заразить:

– Комиссия трехсторонняя – повод признать на деле ПМР! – почти взревел он.

Женщины притихли; Ефим и Владимир углубились.

– Десятки лет возгораться конфликту и тлеть. В этом ряду: Ирландия, Страна Басков...

– А был ли путь кроме независимости? – не уступал Ефим. – «Закон о языке», побитие депутатов Левобережья и многое, о чем Конторе вашей знать не дано?..

– Думаешь, в Тирасполе засели апологеты Свободы-Равенства, а в Кишиневе – румынская клика кровавая? Не было б директив из Кремля – мышь не пикнула б!

– Как с настроем сим вращались на орбитах? – подвигал Ефим.

– Мы ратовали против национализма. Но исподволь *ввернули* сверху нам вектор – на разрыв берегов. Через неприязнь эту взаимную и взята Бессарабия на поводок...

– Тенденции в политике... М-да! – Ефим подначил профессионально.

– По живому режут тело народное! – аж подпрыгнул Владимир и ударил по столу кулаком. – Режут, не задумываясь о последствиях!!!

– Вы ж сказали: *желают влиять* на Украину и Румынию! А Молдову, исторический хлам, – за борт! – жестом успокаивал Ефим и женщин заодно.

– Э-ге-ге!.. Еврей хитрый! — пригрозил пальцем Владимир. – В Конторе мозги прочистили мне, детективов чтения круче... А рассуждать с евреем *про евреев* – конфетка!

– Увольте, мы же интеллигентные люди. Про Контору *лучше*.

– Чего тут? – чесал затылок агент в подпитии. – Разве то, что по их причине я и с женой развелся? «Не к лицу гегемону жить с еврейкой! – заявили. – Старые времена канули...» И мужа нового подыскали ей, не заподозришь в фактов подтасовке – как в кино… А я хотел, чтобы приняла она безболезненно. Я человек субтильный.

– И буйным прикидывались от безысходности на поле личном?

– Может быть, может быть... – Владимир расклеился окончательно после мытарств. – В отношении ж семьи передела многоходовка была у них. Готовили из меня Огурца!

– А это еще что такое? – перешел Ефим на доверительность тембром пониженным (даже женщины, смутившись, ушли в свое, пересев подальше).

– Вели меня... *в президенты!* Нынешний оказался в нужное время и в месте нужном. А я – дублер перед стартом космическим... Просто харизма у того и *взгляд*!

– Да уж, чернокнижник с бровями косматыми и бороденкой крашеной…

– Кураторы бдят: низам нравится... А ведь *урод* народ тот – раз клюет на *кормщика*, что посадит корабль на мель!.. Мясо пушечное! Я – и народ мой!!!

И – в слезы. Пришлось стопорить интервью. Владимиру необходимо в бессознательное до утра, а вино потеряло силу. «Василаке!.. – взывал Владимир, разрывая душу и размазывая по щекам потоки соленые. – Василаке!!!»

– Кто такой Василаке? – спросила Домника.

– Сослуживец погибший, – ответила Дойна по-молдавски.

Домника принесла из погреба напиток фирменный. Засосал Владимир полстакана граппы в девяносто градусов – и в момент обратился в сома, на брег выброшенного: глазами стекленел и рот раскрывал немо... Уложили в постель его. Уснул. Не праведника сном, а грешного грехом смертным. И сон был страшнее, чем явь, что сна страшнее...

Снился ему визит в Контору кишиневскую, где и не был он никогда, так как директивы получал из Одесской. Перевертыш! Ноги, как на подушке воздушной, – к Центральному Парку, к памятнику Господарю всея Молдовы, к месту сбора комбатантов, взыскующих яростно к штабам о предательстве… За Парком – Дом с колоннадой, о коем ведают функционеры столичные… Здесь всё вибрирует уплотнением целевым; даже муха летит в холле по параболе замедленно-строгой... У дежурного на телефоне испросит аудиенции с Седым, такой есть всюду. «*Кто* ищет встречи?» – Ответ: «Кто шествовал по пятам в коридорах власти сепаратистской и подсекал на дистанции. *Лицом к лицу лица не разобрать!..*» Приемная – с зал вокзальный… Поэт национальный тоже в сон явился: никакой тебе вальяжности богемной: погоны майора горят у борзописца. А сколько хулы изрыгнул он на чучело Феликса у Арки Триумфальной, думал во сне Владимир. И зеркальцу карманному Поэт вслух: «Я уж десяток седьмой разменял! И еще кланяться?..» – гроза манкуртов артикулировал по-русски!.. Предстала взору и Голова говорящая телевизионная из ПМР, и ей у бюста Дзержинского перетаптывать время. Нагородила она в эфир *за Разрыв* – не одному поколению разгребать охаянное огульно «молдовское»... Прочие возникали – в форме и в штатском, животы подбирали и спины прогибали, как в жизни... Владимира черед. Он и взвился.

– Ну и дела?! Явился, Третий, проваливший работу на участке… ишь, *криз экзистенциальный* у него?! – шагал по кабинету Седой. Лет шестьдесят ему, плотный, лицо без отечности, пиджак твидовый... – В оперетте отдыхаем иль на подмостки социума преобразований вознесены?!.. – ярился громогласно он. – Если с Первым и Вторым *что-нибудь* – время такое, война на дворе, – а вы *где*? Брешь в цепи?

– Хочу Правду.

– Вы знаете, сколько надо. И для вашей же пользы. – Унял спесь. Сел. «Он, конечно, ничтожество, приговоренный товарищами из Одессы, – думал чин, – но *свой*, черт возьми, требующий обхождения и перед казнью.» – Хм… Просьбы личного плана есть?

– Отзовите с фронта сержанта Николая, хореограф он... И – Правду, *ее* и приму!

– Сократ на голову нашу! – бровью Седой как мим. Отыскал в столе ключ, сойти предложил в «Покой для операторов коммутирующих» – в подвал, то бишь...

...Потолок в кафеле сияет, перегородка стеклянная делит куб: по одну сторону кресло дыбится, что тебе стул электрический, по другую – аппаратная. Владимир на «эшафот» влез; Седой ремнями приковал сновидцу руки и ноги, а сам удалился к пульту за стекло... Ради этого и жил – ради минут трех, что Правда потоком бурливым откроет шлюз в вечность. «Третий» инициирован на принятие Истины, в отличие от Первого и Второго, ибо сказано: много званных, да мало избранных!.. *Три минуты, три минуты – это много или мало, чтобы жизнь за три минуты пролетела-пробежала*?..

Свет стал ярче. По нервам воспаленным проехался и смычок усилителя вещательного:

– За ритуал сей каждый голову сложит! – огласил Седой сверху и отовсюду. – Узнаешь, что знаем *мы*! Базовый в жизни стимул – Знание тайное! Мы им располагаем.

– Весь внимание! – из глаз Владимира – слеза страстная: в капле – надежд океан.

– Чтоб схлестнуться со Злом Мировым, нами Принцип разработан. Запад думает, что мы восстанавливаем Империю, – ан, деконструируем ее!.. Мы сами всё прогнившее под агентов вражьих стопой опрокинем! Возьмем землю великую, пусть и разоренную в прах!.. Ну, это как в песне известной поется: мир прежний разрушим до основания, а затем – наш, Новый Мир, построим!.. Ха-ха-ха!..

– Хочу Истину! – заклинал Владимир.

– Молдова – противоречий клуб; в него и Румынию беремся вовлечь – для Москвы ублажения! Но Москва сама и становится событий заложницей!..

– Истину!..

– Поразмысли: ради чего междуречье Прута и Днестра с центром административным в Кишиневе назвали Молдовой, правильнее б – Бессарабией, как при царе Горохе?..

– Истину!..

– Молдова историческая со столицей в Яссах растворена в Румынии, с коей стараниями нашими не подписан о границах договор. Чтобы Молдове воспрянуть, надо «Проект Румыния» – слить. В чем ты, Третий, и вызревал до поры, запуская с одесситами «Проект ПМР»... Под прикрытием создавался анклав сей на Днестре, где тебе дóлжно было двинуть войска на Кишинев, – чтобы зверь румынский

заглотнул… Бухарест ринется на выручку к своим в Кишинев. Пиит в приемной – из когорты той *ура-унионистов*! И это на руку нам. Входим в состав государства вражьего, точим его вместе с венграми, что мечтают о Крае Секуйском суверенном... Явим Молдову – со столицей в Яссах, а Валахию – в Бухаресте... мухи отдельно, ну и котлеты.

– У меня голова... как в канонаду!..

– ...Но преткновения камень – олигархи. Одобряют дробление в границах корпораций, уж поделивших народы в иерархию с учетом возможностей кошельков их слаботочных!..

– У меня кровь из ушей каплет... звук вырубите!..

– ...Только страны-отщепенцы способны вырваться из Конфигурации, явить *нечто* в противовес Плоскости всеобщей мертвящей!.. Абхазия, Карабах, ПМР – цветочки пока!

– Вы включили вибрации?! Раскалывается мозг!!!

– Столбить тебе, парниша, в Непроявленном отныне!.. В Проявленном всё занято *иными*!.. Сказал же оглохший от Истины Бетховен: «Жизнь есть трагедия, ура!..»

– *...За что* я убил человека?!

– *Кровь сковывает жертву и палача, тормозит становление свобод гражданских. В этом наш Принцип новый, забытый старый... ГУЛаг навсегда, ГУЛаг – Forever!*

– Нет. Ничего не слышу!.. Но *знаю:* Истина! Истина наша родная, Системная!!!

...Владимир умер. Как умирают во сне. Слышал и видел куратора верховного своего, протокол о гибели агента провального составляющего. И было это для Владимира сокровенностью – как и Седому знающий откроет то, без чего ни один апологет тайный не уйдет. То, *во имя чего* голова им на плечах носится – а если надо, на Алтарь слагается, – этот смысл должен быть раскрыт! Быть может, в поездку ближайшую в Москву (с вводом сил миротворческих в ПМР) будет Седой встречаться на Лубянке-Ходынке-Поле Ясеневом с кардиналом Серым и Седым всея Руси: чтобы испить Истину порядка нового!

И тут в поту холодном Владимир угодил в сон другой. На простынях смятых койки панцирной он; в глаза бьет солнце люминесцентное… Ни души в палате узкой и длинной. Кто он? Агент спецслужб в больнице психиатрической? Узник инквизиции? Иммигрант политический, на жизнь приговоренный?.. Дверь отворилась; входят красавица Дойна (левый глаз ее не кривит) и Ефим. Дойна тянет корзину с фруктами:

– Дары края морей трех: Средиземного, Мертвого и Красного!

И Ефим силится выказать участливое:

– Вы перенесли стресс. Нужна реабилитация... И – как в гимне звучит: «Будем мы снова народом свободным на Родине нашей...»

Владимир щурился блажено в ответ и, *не слыша себя*, шептал: «...я выдюжил!..» – и в сон другой канул, ступая босо по полю, взрытому снарядами, – в объятия Василаке...

4

Через евреев, бдящих в Каушанах когортой со времен Екатерининских, Ефим разузнал подробности репатриации экстренной в Израиль. Улыбался догадке внезапной, глядя-вслушиваясь в трав и цветов переливы до горизонта: вот он, прямой, как стрела, путь в Землю Обетованную! Отовсюду вдруг воссияли холмы призрачные, походящие на Сион... в знойной степи Буджакской – за огородом Домники...

– Как ты на них вышел? – вопрошал Владимир с подушек. На лбу у него белела повязка уксусная, а на тумбочке – бутыль с рассолом от хозяйки, что на кухне хлопотала.

– Рыбак рыбака, так сказать... – не вдавался Ефим в подробности. – А вот полиции тутошней до нас дела нет! Виват нам всем, виват!

– Мы и *там* им потребны лишь на окопы. Война для галочки, штабы диффузные всё решили давно. Главное, чтобы никто не уклонился!.. Как ты насчет конспирологии сей?

– Работа – лучшая поэзия. Солженицын в этом нас убедил – в «Иване Денисовиче»...

– М-да, Ефим! – откинул Владимир со лба компресс со сравнением книжным. – Хотел спросить тебя, да недосуг: *что* делал, *где* был, раз попался в лапы вояк?

– Шел на квартиру бабушки, – светился Ефим. На день третий освобождения он проникся мессианством.

– Для чего? – допытывался Владимир.

– Четки... вот, – Ефим и впрямь теребил в руке четки коралловые.

– Брось лапшу вешать!

– Должен был исполнить обет семейный. – Не сбивался в оправдания Ефим.

– Монета периода Хасмонеев, небось?.. Аль семисвечник на комоде – из золота?

– Менора – из бронзы. Есть и другие реликвии у нас. Прапрадед завещал, прадед взял клятву с деда, дед – с меня: в Земле Обетованной камень от Стены Плача обратно возложить. – Ефим раскрыл сверток из кармана.

– Камешки какие-то, истертые почти... – Владимир морщился, разглядывая.

– Да, ценят евреи *известняк:* не только изумруды и алмазы. – Был прост Ефим.

– Что ж получается: старцы с бородами до колен и в камилавках перед тобой стоят, ждут исполнения? У тебя ж диплом универа, – ерничал Владимир.

– Не *стоят,* а *сидят* – на реках, как в Псалме поется, – и плачут, вспоминая Сион... Так и в ха-Тикве, – полнил Ефим паузу щекотливую: «Пока не угаснет в сердце огонь нашей души еврейской мятежной, будем к Востоку идти мы, взор устремив на Сион...»

– Ага, вывод: ты меня, презревшего амбиции и долг, падшего до убийства, будешь агитировать в Израиль, апеллируя к детям: они, мол, *там*?!

– Верно.

– Думаешь, если я с Конторой не в ладах, то никому и не нужен по определению: ни конституционалистам, ни сепаратистам?.. Я – носитель Знания тайного...

– Тем паче, выбор ясен, – снисходительно Ефим.

– ...Но у меня нет документов. О каком выезде речь?

– На то мы и беженцы. Зарегистрируемся в Кишиневе – в Обществе еврейский культуры, оно же и Посольство: бумаги от евреев Каушанских кое-что значат там!

– Как же я, русский до мозга костей и не из последних, – в эту вашу страну картавую отправлюсь?! Я же не просто вороном белым буду – а стану значительнее антисемитом!

– Ой ты гой еси!.. И среди евреев не редки споры межконфессиональные…

– ...Предложение заманчиво в целом, мой друг, хотя детали…

– Я готов поручиться, что жена ваша, дочь и сын – *уже* в Израиле!

– Зачем тебе это?

– Хочу помочь. Или считаете, что еврей и пальцем не шевельнет ради *другого*? Начните с листа чистого – как подобает *человеку!* И на прародине человечества! Уж поверьте, оттуда мы и выведем всех их на воду чистую, диффузных ваших!

Этих слов оказалось достаточно, чтобы троица, чудом спасшаяся из плена, засобиралась, – уверившись, что полоса темная минула и впереди сплошь судьбы обходительность...

А сколько тех, кому не дано поблажки? Кто изнанку телес своих являет под завалом бомбардированным, а если и остался в живых, то не знает, кого винить в стратегиях оглашенных: патриотов или либералов, Молдову, Россию или Америку пресловутую?.. Те, кому повезло, хоть и претерпели – труд рабский в окопе звенящем, отсутствие

еды и воды, иго страха смерти, те будут благодарны воле случая – за возможность узреть свет в конце туннеля... Вечная память погибшим... И Вечная слава живым, кто осмелился мыслить – и призвать к ответу зачинщиков Террора и пособников его! Это нужно мертвым, это нужно живым. Иначе все мы (и поколения грядущие) в потоке бесконечном соглашательства в скотов превратимся!

Бендеры

Александр Самарцев

ПОДЪЕМ

Полине

Утра сырые грабли множатся за кормой
пеной шурша – ослабли зубья его кривой
солоноватой душной линии мятежей
распотрошив игрушкой небом перезалей
толщу прозрачной влаги близким обманным дном
сплюснуло сверху сзади узел стихий кругом
схлёбано помаленьку горлышком (пусть не тем)
мачеху няньку нэньку равви кому повем
жадно свежо трепещем фоткой из групповых
твой локоток с предплечьем чуть приглушая вспых
оба колена занял те на каких распят
стоя зажмурясь нами можно ль туда-назад
всходом на переломе воздухом по воде
остановиться кроме здесь и сейчас нигде
Благословим зависших ангелов и зевак
праздничных и в затишьях сослепу и за так
бельма помех соринок мертвую их петлю
резкость ч/б старинных плавится как «люблю»
этой расплав-травою утра сдержав подъем
я навсегда удвою там и начнусь вдвоем

ВЕТЕР ПЕРВЫХ КАСАНИЙ

Кинозал былинный луч пылит ползком
«Солнечной долины» лед под «снегурком»
винтятся узоры – линия чиста
близко ли промзоны лет через полста
не поднимут лязга уплотнив спецхран
а труба вальяжна и ударник рьян
Новый год каникул меж сугробов бал
робостью накликал обнял как пропал
сглаженную блюзом дрожь луча в пыли
а с экрана узнан – плечи распрями
пусть и не дворцовый всё равно паркет
блеском и основой кружит этот бред

Под него спаялись – испещренный лед
кровь (легка на зависть) зал – насквозь и вброд
очередь в буфете к выходу гурьбой
и касаний ветер первых сам не свой
умопомраченья дар или трофей
(разница врачебна – волшебства бы ей)
Без ажиотажа тронутый аккорд
якобы из джаза тот вираж вернет
гром литавр окошко белое и свист
школьно и киношно – всё чем глаз мой чист
всё что стрёмно вроде грезилось ногам
сердца на исходе так и не предам

ОСЕННИЙ СПУСК

Грусть конечно мудра и она воспарит
мы зубрили недаром ее алфавит
мутный ливневый снег бульк внутри батарей
темень смены второй завитушки над ней
потолочных лепнин гололедиц каток
от зубов нескончаемым эхом отскок
сочный говор училки в наплечном платке
проводов замыкание накоротке
отутюжило палую россыпь листвы
очертанья души наконец-то ясны
вверх по жестким пескам уползли катера
кто помог или сами – такая игра
на приколе прощания дав мастер-класс –
я размою и этот урок про запас
Отскрипев переправа тайм-аут берёт
из продленного сна включен автопилот
тварь ты или дрожащая память душой
возвращенка убавила ход холостой
у меня может вместо души только взвесь
примагниченных бурь – встреть откуда невесть
охрой серой свинцом переполнится вдох
сквозь былое «потом» скользкий спуск не заглох
расставания вымрут – где спрятаться им
мудрым колким вслепую спиной и родным

НА ПРОРАН И ОБРАТНО

П.

Понимать не обязательно
умирать наверно тоже
неопознанная ссадина
расползается по коже
рябь речная цвет по-лисьему
затаившийся обманный
ожиданьем отзовись ему
дизельные барабаны
буйного междубережия
сходен торкнутых подошвам
и еще запаса вешнего
вверх карабкаться за прошлым
дует где у леса озера
а в открытом поле стихло
нас учли коза тревожная
листики – блаженством вихря
день в зените – из последних ли? –
перистого невозврата
меж беспамятством и сплетнями
ты юнее чем когда-то
нерастраченней мгновеннее
отшвартован рейс как надо
дрожь причин для преломления
на судьбинный город взгляда
всё искажено разбаловано
послевкусием удачи:
у соседок нижней палубы
лишь волнушки но тем паче
к этой вылазке не хвастаясь
островом дано прибиться
и неуловимо властная
наша россыпью грибница
взрыхлена теченьем тронута
а из воздуха древесна
вот ведь только что укромная
цвет меняющая среза

* * *

П.

Мы перешли не без труда
утоптанное солнце льда
минуя островок обмана
мол он и есть та сторона
что сплющивает времена
отодвигаясь неустанно
Подспуден и неслышим взлом
реки растет но мы вдвоем
без лыж какие навострятся
рукой в руке или след в след
цепочка нас кого здесь нет
как два сродненных иностранца
То фоткаясь то внеогляд
расправим полусон-обряд
передвижную середину
и у турбазы снегоход
клок вьюги рыкнув к нам прибьет
черняво-белой масти псину
из «Фауста» вольняшка-зверь
прикормлен ли – поди проверь
поделишься – сбежится свора
но слаще голода в груди
обман обратного пути
отстал бедняга вечер скоро
но может нет и кроме нас
распотрошивших раз на раз
гуляк безвозрастного рода
ни человечка ни лыжни
почти пугающе нужны
зиме гротескной как свобода
как сумерек застывший стяг
опущен стелется врастяг
стежок – и сполох совпаденья
у капюшонов с глубиной
реки пружинисто взрывной
до вздоха до самозабвенья

ИЗ ДОМА И ДОМОЙ

П.

Колокола депо трамвайное
всё хорошо всё ничего
себя не слыша разговариваем
от фар газующих черно
царапает крупинка вьюжная
гирлянд качаются мосты
все хорошо всё незаслуженно
впервые – Господи прости!
Мигая на зеленом циферки
поторопили переход
а паспортов сугробы вытесни
их морок сбоку пусть растет
налипший оглушенный городом
где искрами трамвайный звон
опутал новогодья колокол
скалькированный камертон
он вездесущ а мы как вкопанные
смешливому сближенью губ
доверясь мы замрем в апокрифе
не шелохнись – тебя прочтут

* * *

...и срам кромешный после тридцати
А. Межиров

Поэзию срам не имет
(заранее патриот)
и что ностальгию клинит
беспамятство подберет
Приставлены к горлу войны
(точнее эта одна)
голгофы ее конвойны
из оборотней добра

Как прорванная плотина
вместит океан клейма
ответственность коллективна –

в присяжных она сама
Но я всё о первой школе
течении нас двоих
ковровым триумфом воли
разливен укромный миф

на терцию выше тоном
видения где летел
о времени разоренном
которое новодел
Поэзия – слишком кожа
и слишком где от нее
остаток сухой размножа
уклончиво бытие

А я всё густым потоком
про зримую над слепой
вину вопреки погодам
за искорку в зимний зной
Работает мать-утюжка
бессменно по площадям
«Держитесь!» – мольба тщедушна
Поэзия – это к нам

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ

На смену Февралю загон из белых лент
тектонику пророчь пусть нет ее и нет
пусть самоценный всплеск размажут на миру
и этот мой надрыв и прочую муру

Среди цветов и штанг жги с холода экран
«Кто здесь такая власть?!» – «Мы!» – не холоп не пан
а мы кто мы в себе – взыватель Алексей
предновогодний ноль добрался до костей

По-доброму хохмим и всё-таки разлом
еще ни жив ни мертв – иных не наскребем
скорей скорей к теплу отмокших панихид
к поминкам царь-страны чья воля не родит

И УТРОМ И НОЧЬЮ

Мой шаг убыстрён мимо дома с овальным углом
деревья срубили (с заменами как-то не густо)
Закрой диссертацию папа – там я за окном
твой сын уклонист от науки в простое искусство
за рифмой следить напрягая слегка поводок
(в долгу не останутся воры элитного виски) –
от яблони яблочка стук заземленья далек
дичка самосевом взошедшего по-альпинистски
Ты был бы строитель но трение-смазку избрал
так вместо словес мой Андрей образа поновляет
отпасть от ближайшей традиции – наш идеал
(в роду одноразов бурлит переносный фундамент)
Итог без гарантий почета корон и обойм
а ныне пробежка с дуплетом дежурств по охране
ёк-ёк – убедительно знаю что к окнам на кой
живому тебе подойти – это знание ранит
как всякой заботы вопрос как Самарской излом
навек ледоколом ее клинит корпус белея
вот-вот да и выгляни – сын убыстрился кругом
чудесно боясь опоздать под безжалостным «где я?»

* * *

И будут зелень с белизной
манить в простор июньский свой
и этот отсвет на стене
невесть каким вернется мне
беззвучье птичье не задув
и двое выживут из двух
как лампа и как монитор
стеклопакета приотвор
как с зеркалом стола пейзаж
зеленой лавою размажь
несправедлив я – и не жаль
иконна всякая деталь
чуть вбок или наоборот
вне сердца этот хоровод
оттеночный обратный свет
две створки суеты сует
текучей точно я и мы
друг дружкой приотворены

Киев

Александр Амчиславский

* * *

И мне, оглохшему, по этой тишине
внезапной, медленной, как за́литое поле,
шагать, не слыша собственного воя,
когда уже никто не говорит во мне.
Здесь город был, и белка в колесе
трудилась для детей, в любви изнемогая,
шумел базар от церковки до гая
и разливался жар, и живы были все,
а дальше как во сне, как в фильмах о войне –
рассвет, враги сожгли родную хату,
и роль фашиста русскому солдату
так удалась, что ночью снится мне.

СОЛДАТСКАЯ ПРОЩАЛЬНАЯ

Во сне а будто бы в бреду
среди других в одном ряду
штурмую чертову гряду
а там за нею
гляжу – ни войска ни знамён
и каждый в каждого влюблен
там бурундук и тот умен
любить умея.
Там всё иначе снится мне –
смеется женщина в окне
и пепел кружится в огне
волос тяжелых
пусть автомат в песке в земле
плевать совсем не стыдно мне
я к той, которая во сне
всё шел и шел бы.
А сон летит и я за ним
среди холмов среди низин
закат горит неугасим
сжигает спины
летящим из последних снов
кто был готов и не готов
и свет идет поверх голов
невыносимый.

ОДЕССКАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ

Я не был здесь, казалось, век,
я всё забыл, как мне казалось,
платанов разогретый фетр,
когда с листвой соприкасалась
твоя рука, глаза в глаза,
ничто в дому не закрывалось,
и занавеска раздувалась,
как боевые паруса.
Бульвар, и дальше по камням
через Кирпичный, сквозь посадки,
а там уже и пятки гладки,
пускай весь город в спину нам.
Ступенька, и потом, потом –
куда не важно, лишь бы к морю,
где тот же воздух в голубом
зовет к себе и, волнам вторя,
дурачится, толкает лбом
всё ту же лодочку под парус,
как будто тычется в ладонь
единственной, той самой, той,
которой больше не осталось.
И мачта гнулась, ветер выл,
летела лодочка по ветру, –
ты помнишь? – вот и я забыл
всё остальное. Даже это.

* * *

Над равниной в полнакала
желтым лампочка мигала,
топкий воздух, мошки вплавь –
то ли сказка, то ли явь,
то ли между тем и этим
странный вырост в землю врос,
то ли дырка на планете
в белом венчике из роз,
и неясным силуэтом
кто-то плакал там и пел,
кто-то красил нежным цветом
куцей памяти пробел.

Каждый был до смерти занят,
как игрушка заводи́м,
от плаката «Ленин с нами»
тёк неяблоневый дым,
черной молнии подобный
реял гордый сам собой,
и ударник, пахший воблой,
шел в забой и шёл в запой,
трудовая жилка билась
не по росту велика –
жизнь моя, иль ты приснилась
от звонка и до звонка,
показалась еле-еле,
будто мимо пронеслась,
мы б тебя под водку съели,
если б ты кому далась,
только память, злая слабость,
ледяной водой с утра –
ведь могла б ты быть, могла быть
легче птичьего крыла –
не пришлось, и гулкой ранью
первый раз не на завод
отработанный ударник
в землю медленно идёт.

* * *

По кладбищенскому снежку
да к единственному дружку
всё бреду только пар со щёк
в воскресенье куда ж еще.
Снега вышло что им что нам
ногу ставишь по головам
а вокруг незнакомый вид
будто новенький пуховик
всех накрыл аж под горизонт
и не хочешь а входишь в сон
где-то здесь и дружок мой спит
жалко не у кого спросить.
Значит шапку молчком сниму
никого будить ни к чему.

* * *

Ах как мы прекрасны покуда растем
по венам разносим густой чернозем
взрослеем и в поисках бродим
забытых кладбищенских родин
нет-нет мы конечно не думаем так
иначе зачем же отцовский верстак
с недетской серьезностью ладим
и ручки блестящие гладим
строгаем и пилим и стружка летит
растущий заснуть не дает аппетит
он крышу как ветром срывает
и корни как шашкой срубает
а выйдем наружу – всё то да не то
гостями утюжим чужое плато
где вольно гуляют садами
тельцы золотые стадами
и столько соблазнов ах бедный верстак
везде тонкокожие фрукты висят
а мы утешительным краем
на цыпочках прочь удираем
от всех отовсюду вот так однова
туда где с руки молодые слова
берут прикасаясь губами
считая нас верно богами.

* * *

А воздух желанный, от кофе остывшего неотличим,
проходит по горлу, смиряет, стекает по веткам,
по линиям жизни оставленным, голым, ничьим,
ненужным как строчки, которых без авторства нет, но
просил ведь об этом, загадывал, только бы так –
по слову ломо́тному чашка в руке холодела
и воздух один-одинешенек здесь обитал
на равных с тобою, такой же, и нощно и денно,
ни шаткий ни валкий, с утра застилал из окна
пустой горизонт, хоть наслаивай лед на сетчатку,
а люди – что люди! – молчат ли, поют ли, бренчат ли –
летят как с моста, и теряются их имена.

* * *

Не видя не слыша не сильно рискуя собой
один выхожу на дорогу сети столбовой
играет боками веселая мышка в руке
со мной и пространством обоими на проводке
куда ни потащит я следом была не была
я больше ничей ни креста ни мирского узла
свободен бедовая мышка толкает ладонь
идет желваками скуластая память в огонь
живой безымянный ни страха ни злых языков
ни ветра ни дыма ни воска ни старых стихов
плывет развеселое пламя и смотрит в меня
искрой обдавая родная моя полынья
глядит не мигая сличает зрачок именной
гадает когда наигравшись уйду глубиной
чернеет крылом воронёным ночной монитор
на добрую встречу пространство заводит мотор.

Торонто

Александр Габриэль

Время умолкших муз

МАШИНА ВРЕМЕНИ

И длилось детство, чистое, как горница,
хоть были там бессонница, бескормица,
обломки недостроенных мостов...
Но время, как буденновская конница,
ворвавшаяся с гиканьем в Ростов –

оно не назначает вам свидания,
оно взрывает сваи мироздания,
взметая ввысь улегшуюся пыль,
и возвращает счастье и страдания –
весь старый стиль, годящийся в утиль,

весь этот быт с приёмниками громкими,
дискуссии с соседями неробкими,
познавшими печаль своих утрат,
и дворик меж хрущевскими «коробками»,
темневший, как Малевича квадрат.

В уэллсовском безумном ускорении
летит куда-то вдаль машина времени
и честно возвращает мне мое
фрагментами случайными и древними
страны, где на веревке меж деревьями
постиранное сушится белье.

В ОДИН ДЕНЬ

Как краток день, лишившийся расцветок,
которыми дни августа грешат!
Переплетясь, в окошке пара веток
осенний дождик пьет на брудершафт.
Дыханье дня неспешно, монотонно,
и грусть, не по-осеннему светла,
приходит в дом из тонкого картона,
из памяти и хрупкого стекла.

Здесь время зябнет в приглушённом свете,
и, воздух насыщая на лету,
бесцветная пыльца десятилетий
слегка снижает зренья остроту.
Извечная ноябрьская затея –
заставить думать о добре и зле...
Листок свалился с неба и, желтея,
свернулся в трубку мира на земле.
Никто не снял полет его отважный
на видео. Привычно, да и лень...
И, согласись: не страшно, что однажды
и мы умрем.
В один и тот же день.

БРАТЬЯ

Когда в стране отрублен интернет,
и за плакат, в котором слово «Нет!» –
удар по почкам и билет на нары,
когда запас ракет важней всего,
а теледиктор, резвый и нестарый,
готов дрочить на комплекс ПВО,

и каждый день, с какой ни встань ноги,
кругом враги, кругом одни враги,
что норовят отнять и покуситься,
когда важней прогресса марш-броски,
когда страна березового ситца
на белый свет ощерила клыки,

когда от страха даже ветер стих,
а триллион нейронов мозговых
готов привычно жрать бурду всё ту же,
когда в стране – блатной закон двора,
и разрезает и жару, и стужу
безумный, исступленный крик: «Ура!»,

когда такой огонь да волчья прыть,
и «Всех порвем!», и «Можем повторить!»,
что дым идет от мартовских проталин,
победа – в двух шагах. Она близка!..

И во дворе сидит, согнувшись, Каин,
кровь Авеля смывая со штыка.

КОММУНАЛКА НАЧАЛА 50-х

Как трудно в коммуналке быть поэтом!
Извечная проблема с туалетом.
Беда, когда несчастно естество.
Над лампочкой у входа мошки – роем...
Иван Кузьмич страдает геморроем
и гайморитом, черт поймет его.

В дырявой майке, хмурый, одноглазый;
мат щерится почти из каждой фразы,
сводясь лишь к одному: «Попробуй тронь!»
Ивана Кузьмича никто не любит.
Он в комнатном своем унылом кубе
смолит «Казбек», насилует гармонь.

А, говорят, он был другого нрава,
когда была жива супруга Клава,
он в Ялту ездил с ней и в Геленджик...
Умел быть обаятельным, чертяка!..
Теперь трезвонят про него двояко:
мол, был в плену. Сомнительный мужик.

Из мебели в его каморке – койка,
стол, старый табурет и мухобойка...
И, как в любой из многих прочих нор,
на стеночке, крошащейся и хрупкой, –
великий человек, дымящий трубкой,
заправленной «Герцеговиной Флор».

ТАБУРЕТОЧКА

О, время, когда ты, взрослевший помесячно,
пытливо оттачивал зренье и слух!
И клетка грудная обширнее лестничной
была от восторга, спиравшего дух.
Цвели за оконцем объекты ботаники,
на солнышке грелся домашний причал...
На кухоньке крохотной жарились драники,
скворцы голосили, и воздух шкворчал.
Всё рядом: подсвечник со ржавою ножкою,
сосед-старикан, энергичный, как тролль...

И спал под подушкой и красной обложкою
сам Матиуш Первый, великий король.
Обои, от тягот и времени выгорев,
седой потолок подпирали плечом...
И звал меня Ким за компанию с Игорем,
стуча по асфальту футбольным мячом.
И я, каждой детской вибрируя клеточкой,
во двор вылетал, от горшка два вершка,
и вечно ногой задевал табуреточку,
с которой читал для гостей Маршака.

В ПОДВАЛЕ

Сухой прохладой тянет из степи.
Поспи, сынок. Хотя б чуток поспи.
Мы в тесноте, как зэки на этапе.
В подвальном корабле задраен люк.
И темнота. И страшен каждый звук.
Глотни, сынок, водички пару капель.

Никто не ждет веселый фейерверк.
Был фильм для взрослых, «Не смотрите вверх» –
боюсь, что это правда. Лгут поэты.
Не слышно здесь угроз про «мир в труху»,
и безразлично, что там наверху, –
кровавый Бог? Крылатые ракеты? –

одна упала к югу метрах в ста,
как будто клякса на простор листа –
земля дрожала и трещали стены...
Сынок, нам нужно выжить. В этом суть.
Хотя, конечно, мудрено заснуть,
когда всесильный страх вползает в вены.

И мир, который стал для нас чужим,
так странно, ненормально недвижим,
как детская игрушка без завода...
Там два часа осталось до зари,
и звезды зреют, словно волдыри
на обожженной коже небосвода.

ОТТИСК

Я сплю. И сны мои – отстой,
скрап, переполнивший мартен.
Как будто я курю кальян...
Дым – в воздух сонный:
Лев Николаевич Толстой
в лаптях от фирмы «Лабутен»
на самой Ясной из Полян
стрижет газоны.

Я врос душой в забытый век,
который день не пью, не ем,
забыл попсу, забыл «Du Hast» –
не греют душу.
Как всякий лишний человек,
включаю радио FM –
там Достоевского подкаст.
Не грех послушать.

Застрявший между знаков «STOP»
с печалями наедине,
я ждал от жизни перемен,
от скетчей – драмы.
Но, веря в личный стетоскоп,
задумчиво пропишут мне
Булгаков с Чеховым рентген
с кардиограммой.

Когда-нибудь наверняка
в грядущем, на исходе дня
найдется Ариадны нить
среди вещдоков.
Ну, а пока-пока-пока
звонит мобильник, и меня
на хутор бабочек ловить
зовет Набоков.

Сон был. И он остался сном,
в нем нет ни следствий, ни причин.
Как прежде, свет граничит с тьмой.
Ни звезд, ни терний...

И я всего лишь об одном
прошу: останься различим,
постфайзеровский оттиск мой
на постмодерне.

* * *

Есть Бог или нету? Поди-ка измерь
по мерке нестрогой.
Но ломится демон в закрытую дверь
воздушной тревогой.
Верховный, рехнувшись, сменяет штурвал
на голос орудий.
Пытаются спрятаться в темный подвал
от нелюдей люди.
И тянется черная страшная нить
тоски негасимой...
Ты смог, Мариуполь, в мозгу заменить
Сонгми с Хиросимой.
Разбиты, обрушены в мусор и чад
бетонные плиты.
А музы... Конечно же, музы молчат,
поскольку убиты.
Могли напевать бы свои до-ре-ми
покоя во имя...
Но – нет. Замолчали. Остались с людьми.
И умерли с ними.

Бостон

Виталий Амурский

ОТЩЕПЕНЦЫ

Памяти русских интеллигентов, высланных из Советской России осенью 1922 года на «философских пароходах» «Oberbürgermeister Haken» и «Preussen».

«Обербургомистр Хакен».
Туч свинцовых парад.
Тает в сентябрьском мраке
Пятящийся Петроград.

Адмиралтейство, стрелы
Кранов в портовом дыму
Пьют глаза нерастрелянных,
Выпущенных из ГПУ.

Пейте, Бердяев, Карсавин,
Лосский... – о, сколько ж вас!
К родине прикасающихся
Светом печальных глаз.

Палуба чуть подрагивает,
Ветер лупит в упор
Схожий с обрывком радуги
Веймарский триколор.

Волны Балтии пенятся
И в неизвестность бегут...
Мужества вам, отщепенцы,
Там, на другом берегу.

Там, где уже ни допросов,
Ни конвоиров нет –
Мужества вам, философы
Страшных российских лет.

* * *

Купола в позотоле
Облаками висят,
Только воздух Болотной
В стольном граде иссяк.

Но хоть трезвый, хоть пьяный,
Под вороний галдеж,
Всё ж следов Емельяна
Не ищи – не найдёшь.

Только снег, как бывало,
На морозце хрустит.
Его, к счастью, немало
Всё же есть на Руси.

А еще, его кроме,
Мне мерцают вдали, –
Всплески зорь цвета крови,
Храмы, что на крови.

Полосатые будки –
Черно-белый удел –
Всё, что видел, как будто,
И всё, что проглядел.

ПАМЯТИ «МЕМОРИАЛА»

Гулага не было, и о Лубянке – вздор,
И палачей, конечно, не бывало.
Так решено, а, следовательно, спор
Историки продули генералам.

А я-то думал: «Мы – Мемориал»,
Хотя и не историк, а всего лишь
Тот, кто о жертвах память не терял,
Считая – живы все, о ком ты помнишь.

Издалека, но не со стороны
Болит душа за то, что так речиста
Вновь стала ложь, а смысла в русском «мы»
Не стало больше в словаре чекистском.

* * *

Не в трансляциях из Останкино
И не в Грозном незванным гостем,
Но сквозь светлую книгу Приставкина[1]
Я смотрел на Чечню в девяностые.

Мог тогда за нее печалиться
И за русских, на смерть туда брошенных,
А сегодня не получается, –
Знать, не пишет никто уже больше так.

Нет, пожалуй, не в этом дело.
Просто нынче всё изменилось:
То, что было – либо сгорело,
Либо скрылось на тропах змеиных.

Впрочем, память тревожить незачем,
Новь кадыровская – иная.
Без Приставкина и без Некрича[2]
Можно жить, о прошлом не зная.

Депортированных же почтившие
Приумолкли – знать, так надежнее.
Ах, Кавказ, Кавказ – юг почти что,
Только ночи будто таежные.

---

1. Речь идет о книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»
2. Имеется в виду труд А. Некрича «Наказанные народы»

ИЗ ЦИКЛА «ПОД ЗНАКОМ Z»

* * *

Не от водки – от смерти косея,
Мирный Киев вслепую бомбя,
Что же ты натворила, Расея,
В эти черные дни февраля.

Нет, теперь не забыть украинцам
Вой сирен, грохот залпов и страх,

Что впечатался в детские лица
В городах близ Днепра и Днестра.

В лица взрослых, бедой оглушенных,
Растерявшихся, как ребятня,
Вдруг увидевших старую школу
В обезумевшей пляске огня.

Что же ты натворила, Расея,
Породив этот дьявольский пляс,
И всё общее наше доселе
Так безжалостно выбросив в грязь!

Февраль, 2022

* * *

Какая ж, право, темнота
Над родиной густая,
Всё та ж она или не та, –
Что с нею стало?

Так много жуткого я в ней
Не знал в минувшем,
Как в черном вихре этих дней –
В сплошном бездушии.

Оно, конечно, не у всех,
Не все уснули,
Однако скольких душит смех,
Сейчас преступный!

Но вот желание понять
Во мне засело, –
Легко ль своих детей обнять,
Убив соседа?

* * *

Вода из родного колодца, конечно, вкуснее
И слаще в России для русских отеческий дым,
Но разве возможно душою быть связанным с нею,
Теперь не берёзовым духом влекущей – пугая чумным.

Без боли сегодня нормально ль считать себя русским,
Когда подтвердилась, увы, очевидная связь
Преступной войны с прокремлевской постылою гнусью,
Втоптавшей мораль и достоинство родины в грязь.

Как тень, как пятно это всё сохранится надолго.
Не знаю о точке предела творимого зла,
Но отроду будучи русским, горжусь, что сыновьему долгу
Я не изменил, когда подлостью подлость назвал.

Париж

Марк Зильберштейн

Лирические отрывки

Не возвратится более в дом свой,
и место его не будет более знать его.
Книга Иова

I

Ветреный день улетает в корзину,
очередной черновик,
палимпсест грядущего дня,
который еще не прожит.
Переходя от отца к сыну,
традиция претерпевает сдвиг
(отец ежедневно читал газету
и выходил на пробежку).
Но где обступавшая нас в первых действиях
многочисленная родня?..
Нас уже итожат.

II

Бабушка говорила: «Он тянет резину».
Тетя, жившая на 8-й Советской,
нашла подходящее: «кишкомот».
В те незапамятные времена,
еще не запятнанные рефлексией,
мы жили, все вчетвером, на Васильевском,
в одной комнате,
где имелись: черный комод,
продавленный низкий диван под портретом
серьезного мальчика, приходившегося мне
братом,
хромоногая этажерка и красный шкаф,
по совместительству служивший буфетом,
а жизнь напоминала собой дрезину:
она шла строго по рельсам
и, казалось, приводилась в движение
исключительно мускульной силой людей.
Главное, почему-то подразумевалось,
что всё еще можно отыграть назад:

извиниться перед отцом,
перед учителем,
переписать сочинение,
научиться играть в футбол,
построить общество на справедливых началах.
Времени было навалом;
мы отправлялись в будущее пешком.

III

...Бабушка была круглолицей, розовощекой
и белокожей.
По определению брата, нос у бабули был
«сапожком».
Она была светлоглазой и... непохожей:
граждане в очередях искали ее сочувствия,
а то и крыли евреев люто.
«Мы тут стоим за треской, а *они* хотят рыбу».
Бабушка возмущалась: «Я – еврейка и тоже
стою за треской!»
Твердости ее принципов позавидовал бы
Лютер.
Недопустимые по надрыву
семейные сцены, где она всегда оказывалась
потерпевшей стороной,
происходили тогда вдалеке, на Фонтанке.

IV

Климат в городе был морской.
Вернее, вредный
(город был холодный и продувной,
нездоровый).
Сырость приходила из прачечной,
помещавшейся тут же, в подвале:
стирали сами жильцы, наполняли чаны,
подливали,
и пар поступал прямо наверх –
ко мне в легкие...

Эта сырость плавно перетекала в серость
будней и неба, хронически обложенного облаками
и неделями не менявшего цвета.

Плотно натянутый тент облаков
(кто же мог знать, что транзитных!),
накрывший серый гранитный город
померкшей славы и непомерной беды, –
вот образ давних дней, ненастных –
ненасытных:
уже затопленных, но алчущих воды...

Говорить о городе
приходится в неопределенно-прошедшем
времени,
ибо определенно можно утверждать
лишь то, что описываемое время прошло.
Но что же прошло на самом деле?
Едва ли это поддается определению.
А память – услужливый ластик...

V

Тот серый обгрызенный ластик,
уже потрудившийся в детстве,
стирая подробности «бедствий»,
сегодня, не льстя и не ластясь,
вытаскивает: за хлястик –
пальтишко, беретку с помпоном,
Смоленскую церковь со звоном
и полчеловека с тележкой,
шары на железной кровати
и всё, что нам шили на вате
еще молодые мамаши,
проведшие юность в Стройбате
(они приходили с работы,
измучены ею и слежкой,
и, сняв тяжеленные боты,
перешивали гамаши,
рейтузы и телогрейки),
воротники из цигейки,
в трамваях сиденья-скамейки,
свинцовую жидкость в канале,
в которую окунали
подмоченные отраженья
великолепные зданья,
утратившие положенье.

VI

...Мать, случалось, тоже стирала в прачечной...
Дед Наум, а по паспорту (это не спрячешь) – Ной
(умер от рака еще в тридцатом),
по профессии, как и другой дед, портной,
был небольшого роста, усатым,
красивым и смуглым брюнетом,
которому очень шла военная форма.
Когда разразилась Первая мировая,
его отправили на фронт санитаром,
и, вероятно, недаром:
ибо предание сохранило,
как, многократно намыливая и смывая
(и значит – совсем не жалея мыла),
строгий Наум Ильич
тщательно и подолгу
мыл руки под струей воды
в старом сером доме с остатками витражей
на лестницах,
рустикой,
великолепным лифтом
и медными дверными ручками,
построенном английской компанией
на набережной Фонтанки.

VII

...Щеки у бабушки были округлы.
Она носила русское имя Ольга.
Ее отличали известный апломб
и особые отношения с буквой «л» –
она грассировала!
Меня, отродясь не имевшего пломб,
занимали ее розовые челюсти,
отдыхавшие по ночам в чашке с водой.

Эта маленькая семья,
в которой совсем не осталось мужчин,
была не понаслышке знакома с бедой.

В этом доме был двор-колодец,
куда не заглядывало солнце

и где в любое время года темнело
в пять часов дня.
Потолки в квартирах были заоблачно высоки;
по возвращении от бабушки
в пятиэтажку на Га́ванской
казалось, что наш потолок нахлобучен
на брови…

Мы стояли посреди двора-колодца
перед тем, как нырнуть в подворотню
и выйти на набережную,
обернувшись к бабушкиным окнам,
а тетя или кузина махали нам на прощанье.

2012–2013, Холон

Игорь Гельбах

Под горой Давида

1

Восток начинался с зимней привокзальной площади, где было светло и прохладно. С площади видны возвышавшиеся над Тбилиси голубые отроги Триалетского хребта. Всё вокруг было окрашено в желто-серые тона. Начертания букв грузинского алфавита на вывесках напоминали гнутые ветви лозы.

Поражало всё: пыль, которую нес ветер, курдиянки в многоцветных юбках и кофтах, подметавшие площадь, гул, гам и клекот голосов, смесь звуков автомобильных сигналов, музыки из репродукторов и трамвайного скрежета и танцы разлетевшихся троллейбусных штанг.

Восток ощущался не только в том, как выглядели отдельные мужчины и женщины, с их поражающей порой скульптурной значительностью форм, утонченностью или даже чеканностью черт, но и в том, как читалась толпа. Турция и Иран были неподалеку.

Здесь же на привокзальной площади, среди озабоченно снующих людей танцевала расплывшаяся, нелепо раскрашенная женщина в красном платье и накинутом на него черном пальто. Никто не обращал внимания ни на нее, ни на то, что она пыталась петь, соревнуясь с музыкой из репродуктора. Другой городской достопримечательностью показался мне безумный отставной военный в застиранном зеленом мундире, брюках галифе и начищенных сапогах, бесцельно бродивший в тот день по вокзальной площади. Оказавшись на перекрестке, он останавливался и восклицал...

– Асци хмали!.. Джугашвили!.. Сакартвело!.. Сирцхвили!

– Сабли наголо!.. Джугашвили !.. Грузия!.. Позор!

Восклицания обращены были к окружавшим его людям. Ударения в грузинском языке выражены не особенно отчетливо и приходятся на первый слог. Выделяя и чуть растягивая интервал звучания первых гласных для того, чтобы привлечь внимание публики, отставник следовал вековечной традиции, мгновенно превращающей рядового человека во взывающего к слушателям персонажа развертывающейся перед ними драмы...

Было это в середине 60-х годов.

2

Поначалу жил я у знакомых на улице Серебряной, на Майдане, на правом берегу реки. По утрам улицы тонули в голубоватой дымке, смешанной из отблесков солнечного света, голубизны неба и светлого пара над серными банями неподалеку от многобалконных домов, теснящихся вдоль узких улочек, окружающих мечеть. Над районом серных источников и бань нависают башни крепости Нарикала, под стенами которой вырос город.

Отблески света летели со всех сторон и с разных высот, свет отражали узкие оконца храмов, окна домов, брызги фонтанов и даже куски стекла, замурованного в верхний край каменных или кирпичных заборов.

Днем дымка исчезала, и неяркое солнце поднималось в небо, но день быстро уходил, и во второй его половине всё вокруг поначалу голубело, а затем очертания домов, деревьев и темные профили строений постепенно погружались в синюю мглу, а в глубоком небе загорались яркие звезды. Становилось холодно, в домах вспыхивал электрический свет, запирались ставни, задергивались шторы, и дым из печей и каминов поднимался в синие, холодные небеса. На улицах просыпались фонари, прохожие исчезали, свет выхватывал из тьмы фрагменты строений, кое-где могла залаять собака, и начинали подмерзать лужи...

То был мир маленьких, кривых, а порою горбатых, улочек, застроенных одно- и двухэтажными домами с балконами, верандами по внутреннему периметру дворов и чугунными винтовыми лестницами, соединявшими этажи. Над городскими крышами возвышались темные конусы и вытянутые вверх барабаны церквей с узкими, вырезанными в камне оконцами. Улочки с мастерскими ремесленников, парикмахерскими и магазинами, где паркетные полы посыпали опилками, вели к тенистым, внезапно открывавшимся маленьким площадям.

Поначалу оказался я у потемневших от времени стен Анчисхатской церкви, а вслед за тем отыскал дорогу к сложенному из светлого камня Сионскому собору. Здесь же неподалеку находилась и синагога. В ней собирались грузинские евреи, попавшие в Грузию из Вавилонии.

За поворотом видны были мост, река, Метехский собор на скалистом ее берегу и памятник основателю города, Вахтангу Горгасалу, охотившемуся когда-то неподалеку от серных источников.

Из первой же беседы с хозяевами дома, где я остановился, узнал я о «Картлис Цховреба» («Житие Картли»), сборнике древнегрузинских летописей, сложившемся к XII веку.

Тенистые улицы, пересекаясь, разыгрывали сложную шахматную партию человеческих передвижений между домами, подвальчиками и магазинами, помещениями архивов и домоуправлений. Это был микрокосмос, жизнь которого подчинялась своим неповторимым, сформированным историей законам.

Вокруг звучали гортанные восклицания, вызывавшие в памяти виолончельные и скрипичные пассажи, смешанные с птичьим гулом, шумом реки и клаксонами автомобилей.

При встрече пешеходы с достоинством обменивались приветствиями,

– Гамарджоба, батоно...

– Гагимарджос... – что буквально означает: – С победой, господин...

– Воистину с победой...

За полторы тысячи лет завоеватели семь раз сжигали Тбилиси. В последний раз Тбилиси был разорен шахом Ага-Магометом в 1795 году. Большинство жителей города были убиты. Персы разрушили лучшие здания города, а около 22 тысяч человек, главным образом женщин и детей, угнали в рабство.

3

Оказалось, что «человек» по-грузински – «адамиани», то есть произошедший от Адама, а крупного, рослого мужчину могли назвать «голиати», то есть Голиафом.

На Сабурталинском рынке пожилая женщина в черной вдовьей одежде спрашивала у дородного молодого человека, покупавшего у нее клетку с канарейками,

– Ра митхари ? Кристиани ара хар?

– О чем ты говоришь?

– Христианин ты или нет?

Высвечивались, однако, не только элементы библейского и новозаветного сознания, – однажды в Хевсуретии я попал на праздник «Атеногеноба», то есть рождения Афины.

Некоторые вопросы обсуждению не подлежали.

– Какой же ты грузин, если не знаешь, почем вино? – спросили однажды у покупателя в одном из винных подвалов на Майдане.

Своеобразие грузинской риторики во многом связано было с вином и традициями застолья. О хорошем красном вине могли сказать.

– Джанши мидис, – что означает: в кровь идет....

Известный в то время грузинский писатель сказал однажды, обращаясь к жене, которая обсуждала с ним вопрос о покупке чайного сервиза на двадцать четыре персоны:

– Не дай Бог, Манана, чтобы наступило такое время, когда в грузинский дом придут двадцать четыре гостя и их будут поить чаем...

А иногда можно было услышать и такое:

– Пей, дорогой, пей... Сегодня ты пируешь с друзьями, но кто знает, перед чьими очами предстанешь завтра?

Или:

–Что еще этому человеку нужно? У него ведь есть всё, кроме смерти...

4

Начинаясь у реки, Майдан постепенно переходил в Сололаки, богатый, застроенный старыми особняками и защищенный одноименной горой район. Уходящая в гору дорога вела в сторону дачных мест, где множество семей проводили жаркое, душное лето.

Между Майданом и Сололаки лежала площадь со зданием горсовета и дежурным памятником, а за нею начинался проспект Руставели.

Гуляющих привлекали на Руставели тени платанов, именуемых в Грузии чинарами, подвальчик с аджарскими хачапури и водами Лагидзе, рестораны с зимними залами и летними садиками, кинотеатры, Театр Руставели и выстроенное в псевдомавританском стиле здание Оперы.

Общественная жизнь на другой стороне реки тяготела к проспекту Плеханова. Узкий, тенистый «Плеханов» тянулся от стадиона через площадь, названную именем театрального режиссера Котэ Марджанишвили, до небольшой, почти прямоугольной Воронцовской площади, где между двух зданий лежал узенький переулок Платона, достопримечательностью которого был общественный туалет. Отчего переулок был назван именем Платона, никто не знал.

На проспектах, да и по всему остальному городу, состоявшему из множества убанов (ближних районов) существовало немало мест, именуемых «биржами». Завсегдатаев «бирж» именовали «биржевиками». На «биржах» собирались с тем, чтобы встретиться с приятелями, переговорить о делах, пошутить, пересказать друг другу городские новости, договориться о походе в подвальчик или просто позубоскалить по поводу прохожих. «Биржа» могла располагаться у памятника, у фонтана, в саду и на площади – там, где можно было отъединиться от потока жизни, продолжая наблюдать его со стороны. Так сам ландшафт привносил в жизнь города определенный элемент театральности.

5

Постепенно узнавал я и мир тбилисских хинкальных, шашлычных, пивных и прочих «шалманов». Самой знаменитой в ту пору хинкальной была так называемая Лео-хинкальная на улице, всё еще неофициально именуемой Вельяминовской. Находилась хинкальная в полуподвале за углом от здания горсовета. Заходил я туда обычно во второй половине дня, возвращаясь домой из университета, где учился на физическом факультете.

Сам Лео был седой, крепкого сложения человек среднего роста, не худой, но и не полный, с ясно очерченными чертами загорелого лица, с золотым зубом и зеленовато-серыми глазами. На плечи его всегда был наброшен белый халат, а на крупную голову надвинут белый колпак, что делало его похожим на врача. Он был очень спокоен и внимателен, разговаривая со множеством мужчин одновременно. Посетители заведения теснились у стойки и круглых столиков со снедью и вином. Соль была насыпана в граненые стаканы, а молотый черный перец содержался в бутылках с продырявленными пробками.

Женщины в Лео-хинкальную не ходили.

В достаточно темном помещении под сводчатым потолком было шумно. Люди теснились не только у столиков, но и у пустых пивных бочек, стоявших у стен. Помимо хинкали, у Лео можно было заказать и кябабы, они подавались с плоским грузинским хлебом, посыпанные зеленью, тонко нарезанным синим луком и сомахом. Можно было отведать и шашлык, и купаты – жареные колбаски с подливкой из гранатного сока. Пили в подвале пиво, коньяк и вино. Причем, если за столиком стояли, скажем, три человека, на столе должно было стоять никак не меньше трех бутылок вина, так объяснил мне один из моих университетских сокурсников, Зураб, которого я как-то встретил в подвальчике у Лео.

Взгляд Лео выдавал человека бывалого, он был из тех, кого порой описывают как «тертый калач», что на тбилисском жаргоне звучало как «дзвели бичи». Таких людей, пользовавшихся всеобщим уважением, зачастую приглашали не только «провести стол», то есть руководить застольем, но и разобраться в спорных вопросах и вынести решение, которое принималось окружающими как окончательное. Хороший тамада ценился на вес золота и был, в сущности, режиссером разворачивающегося за столом спектакля, роли в котором, как и во всей окружающей жизни, были четко распределены.

Уважение к предкам тесно связано было с родовой и феодальной памятью.

– Он княжеского рода, а вот эти никогда князьями не были, говорят только, что были, – вот обычная реплика того периода.

Тосты за родителей и предков поднимались непременно.

Существовало и понятие «важкацоба», родственное тому, что в странах испанского языка именуется «machismo». Широко употреблялся и следующий риторический оборот:

– Важкаци каци арахар? (Ты мужчина или нет?)

То было наследие старых, феодальных времен, времен войн с захватчиками, интриг, мучеников и героев – с некоей новейшей добавкой того, что следовало бы назвать «блатной философией».

Как бы то ни было, люди бывалые пользовались уважением и, как это и полагалось на Кавказе, часто выходили в город с оружием, обычно с пистолетом.

Один из моих знакомых каждый день переписывал заявление в милицию с просьбой принять найденное на улице оружие, клал его в тот же карман пиджака, что и пистолет, и уж тогда только выходил в город. Так он пытался предупредить неприятную возможность попасть в облаву.

Известны были цены на разные типы оружия и боеприпасов. Поговаривали, что при желании можно раздобыть и пулемет. Оружия в городе оставалось довольно много после беспорядков 56-го года. Начались беспорядки после расстрела демонстрации студентов, вышедших на проспект Руставели с требованием восстановить доброе имя Сталина.

6

Как-то ночью, проходя по проспекту Руставели, я наткнулся на довольно большую группу людей, окруживших двоих молодых мужчин, выяснявших отношения. Один из них спрашивал у другого с определенной нотой изумления в голосе:

– Нет, нет, ты мне скажи, кто ты такой? Меня здесь все знают, все люди в убане, на этой улице, я здесь свой, а ты кто такой? Чей ты сын? Откуда ты родом? Кто твои люди?

7

Однажды в Лео-хинкальной подошел ко мне аккуратно постриженный, чуть полноватый, со смеющимися исподлобья зелено-серыми глазами, свежевыбритый молодой мужчина и представился. Звали его Зураб Махарадзе. Он предложил мне присоединиться к компании его товарищей. Зураб прекрасно говорил по-русски, завязался разговор – оказалось, что учимся мы на одном потоке и посещаем одни и те же лекции.

Зураб начинал свои студенческие годы в Ленинграде. Дом в Тбилиси, куда он вернулся, располагался на красивой, тенистой улице в Сололаках, носившей имя его деда, революционера Филиппа Махарадзе. Вскоре я побывал у него дома.

После «советизации» Грузии в 1921 году, Филипп стал главой государства и жил на втором этаже огромного старинного дома с колоннами на просторной веранде, с покрытым мрамором полом и вечнозелеными растениями в кадках. Большие комнаты с высокими потолками и темным паркетом были обставлены старой мебелью. Ее было немного, и ничто не нарушало атмосферу покоя в квартире, поделенной между семьями двух его дочерей и родственников.

Остался от Филиппа и кабинет со старинными фотографиями на стенах, прекрасное собрание книг, письменный стол и старые, удобные кресла.

Имя Филиппа, как это я обнаружил позднее, часто упоминалось в связи с обстоятельствами убийства Ильи Чавчавадзе, писателя и общественного деятеля, заслужившего титул «Отца нации».

В 1907 году он был убит по дороге в свой загородный дом. Следствие пришло к заключению, что убийство организовано социал-демократами, опасавшимися дальнейшего роста влияния Ильи.

8

Однажды Зураб рассказал мне о том, что Тута, одна из обитательниц огромной квартиры, до сих пор помнит Керенского и восхищается им.

– О да, – сказала Тута в ответ на вопрос Зураба, – как же его не помнить, – он был чудо как строен, энергичен, а как хорошо он говорил....

В эпоху Керенского Тута была стройной молодой женщиной и работала в Центральном Тифлисском банке, ограбленном за несколько лет до того «Камо» Тер-Петросяном по заданию партии большевиков. При ограблении погибло несколько человек. То был один из «эксов», организованных революционером «Кобой», позднее известным под именем Сталина. «Коба» – имя разбойника, героя поэмы Александра Казбеги «Отцеубийца».

Арестованного по обвинению в проведении «экса» «Камо» посадили в тюрьму, располагавшуюся в Метехском замке. В тюрьме он жрал собственное дерьмо с тем, чтобы подтвердить версию о своей невменяемости. Происхождение же клички «Камо» объясняется плохим знанием русского языка, говорить на котором считалось хорошим тоном меж революционерами-интернационалистами. Однажды

в ответ на сообщение о том, что один из его «товарищей» арестован, Тер-Петросян переспросил: «Камо арестовали? Камо?»

Участвовал Камо и в «советизации» Грузии, но позднее стал неудобен новому руководству из-за хвастовства, связанного с его участием в «эксах», и погиб в результате дорожного происшествия.

Камо любил разъезжать по городу на велосипеде и занимался этим до тех пор, пока его не сбил один из нескольких имевшихся в городе в ту пору грузовиков ЧК.

Вскоре после рождения Зураба его отца арестовали и расстреляли по приказу Берии, чья резиденция располагалась на соседней улице, и Филипп Махарадзе направился к Берии с тем, чтобы узнать, можно ли его дочери, жене «врага народа», вернуться жить к родителям.

Берия не возражал, сказав при этом:

– Ну что вы, Филипп Иесеевич, пусть живет с вами, мы ведь против вашей дочери пока ничего не имеем...

Вскоре вновь назначенный водитель «Мерседеса», постоянно дежурившего у дома, где жил Филипп, попытался направить автомобиль под откос во время очередной поездки.

В тот день Екатерина Филипповна с сыном на коленях размещалась на заднем сидении автомобиля, а сам Филипп сидел рядом с водителем. Именно это обстоятельство и спасло их. Увидев, что делает водитель, Филипп оттолкнул его и перехватил управление автомобилем. Вернувшись на дорогу, он остановил автомобиль и вытащил шофера на дорогу.

– Ты что, негодяй, делаешь? – вскричал Филипп. – Признавайся, мерзавец, а то застрелю....

Услышав от перепуганного водителя признание в том, что действовал он согласно полученному приказу, Филипп прогнал его, сказав:

– Отправляйся к своему хозяину, – тут он указал рукой в направлении дома на соседней улице, – и скажи ему, чтобы впредь таких дураков он ко мне не посылал...

Обо всем этом Зураб рассказал мне за бокалом вина...

Имя Сталина поминалось в доме довольно часто, причем для описания его использовались слова приятельницы Екатерины Филипповны – «урод в оспе». Описание это, казалось, дополняло известные слова о «поваре, который готовит острые блюда».

Люди образованные, с духовными запросами и мыслящие, а таких немало было в Тбилиси в ту пору, Сталина презирали и почитали «глехом», что означает «смерд».

Впрочем, то, что принималось за истину в одном доме, легко могло быть оспорено в другом.

Однажды вечером в самом начале декабря приехали мы с Зурабом на празднование дня рождения нашего однокурсника Сосо Манджавидзе.

Собрались мы в Дидубе, на Батумской улице, неподалеку от стадиона «Динамо». Часам к одиннадцати ясно стало, что вино подходит к концу, а винные магазины уже закрыты. Тамадой же выбран был сосед нашего товарища, довольно взрослый уже мужчина, поглядывавший на нас, студентов, со снисхождением.

– Ну хорошо, ребята, – сказал он, – машину подгоните, поедем к одному старику, это неподалеку, он нам даст вино...

На улице было темно, падали первые снежинки. Машина нашлась быстро, и минут через пять мы уже стояли в темном тбилисском дворе, а тамада наш стучал в дверь застекленной веранды первого этажа.

– Вина хар? Кто там? – слова донеслись из темной глубины. Голос принадлежал, скорее всего, мужчине в годах.

– Мэ вар, Иракли. Это я, Ираклий, – ответил наш тамада.

– Вин Иракли хар? Какой Ираклий? – спросил старик.

– Дидубели Иракли вар... Дидубийский Ираклий, – со значением произнес тамада и оглянулся на нас, всем своим видом давая понять, что вот теперь-то старик поднимется и сделает для него всё, что возможно.

– Шэн мамадзагли, шэн виришвили хар, ак ар дагинахо мэти! Ах ты, собачий сын, ах ты сын ишака, чтобы я тебя здесь больше не видел! – донеслось из-за двери.

Когда же мы вышли на улицу, к машине, тамада наш сказал примирительным тоном:

– Ну, погорячился старик, что делать, бывает...

– Вот тут-то его и надо было отбуцкать, – сказал мне позднее Зураб.

Говорил он, конечно же, о нашем тамаде.

9

Муж Екатерины Филипповны, Давид Лукич, был адвокат и немного хитрец. Однажды он посмотрел на нас, а мы только что вошли, и спросил,

– Ну как там, у Лео, пиво свежее? А хинкали? Рамдени хинкали шечамет? По сколько хинкали съели? По десять, по двадцать? – а

затем добавил: – По-моему, еще и коньяк пили, а? Ну что, встретили кого-то, да?

– Встретили, – ответил Зураб, – большого человека встретили... Надо было выпить... Иначе матанализ не сдадим.

– О чем, ты, Зурико, говоришь? – спросила Екатерина Филипповна, – неужели и преподаватели из университета ходят в этот шалман?

– Вообще-то не ходят, – ответил Зураб и, глазом не моргнув, продолжил: – Но это особый случай, этот преподаватель – брат Лео. Он, видишь ли, завел такой порядок, что если хочешь получить у него хорошую оценку, должен прийти к Лео... А пьет он как сапожник... Жаль, что у нас с собой зачеток не было...

Естественно, то была чистой воды импровизация, никто и никогда не сдавал экзамены по математике подобным образом.

К курсам, связанным с «коммунизмом», относился Зураб юмористически-снисходительно. Однажды на экзаменах он сравнил «бродивший по Европе призрак коммунизма» с лермонтовским Демоном – летавшим, как известно, «над грешною землей».

Вообще же был у Зураба совершенно свой, определенный, и, я бы сказал, плутовской взгляд на мир как на вечную комедию, разыгрываемую жуликами и проходимцами. Кое-кому из них он даже симпатизировал. Да и сам Зураб любил розыгрыши и, уклончиво отвечая на самые простые вопросы, любил создавать атмосферу некоторой неопределенности. Однажды, когда мы собрались уйти после пары часов занятий, Екатерина Филипповна спросила:

– Куда вы, мальчики, идете?

– Пить идем, – ответил Зураб.

Когда мы вышли на улицу, я сказал ему:

– Зура, мы же за конспектом идем... Почему ты не сказал правду?

– А зачем? Это нам совсем не нужно... Главное, чтобы никогда не было точной информации о том, что мы делаем, – добродушно улыбнувшись, пояснил Зураб.

10

В 60-х годах в Тбилиси жило немногим более полумиллиона человек, и жизнь их протекала в ясно очерченном историческом контексте. Обсуждался он каждый день и почти везде – в домах, парикмахерских, на пирушках, в гостиных, в рабочих кабинетах и даже в саду университета. Вопросы о том, как жить дальше, пусть еще и не до конца проясненные, висели в воздухе.

Иногда прогуливался по городу в национальной одежде, с кин-

жалом на боку и кречетом на плече старый писатель Константинэ Гамсахурдиа, чей сын в начале 90-х годов стал первым президентом Грузии.

Родился Константинэ в дворянской семье в Западной Грузии, в 1891 году, а в 1919-м окончил Берлинский университет, затем путешествовал по Италии, Греции, Турции, жил в Париже и после возвращения в Тбилиси в 20-е годы написал ряд исторических романов и стал академиком. В свое время ему пришлось написать роман, прославлявший Сталина, но уже в начале 60-х Константинэ отказался говорить по-русски, когда его пригласил к себе второй секретарь местного ЦК, пост этот обычно занимали московские назначенцы.

Все знали, что еще в 30-х годах Берия, тогдашний руководитель компартии Грузии, сказал о Константинэ:

– Что бы он ни делал, я его всё равно не арестую, так и передайте ему.

Берия тоже был грузин, и чувство черного юмора было ему отнюдь не чуждо.

Гамсахурдии дозволялось многое, но отвратительные черты его характера были широко известны. Шептались и о его доносах на коллег-литераторов. Сикофантство, разумеется, поощрялось властями и, в то же время, публично осуждалось самими сикофантами, лжецами и лицемерами.

Другой известный в 60-х писатель на вопрос, отчего он стал членом коммунистической партии, ответил, что сделал это для того, чтобы в партии этой воров и негодяев стало хотя бы на одного меньше.

Весь ЦК в ту пору отчаянно брал взятки. Кое-кто просто назначал цену за решение тех или иных вопросов, кому-то деньги или драгоценности просто проигрывались в карты или в нарды, пользовавшиеся в Тбилиси необычайной популярностью, сравнимой разве с популярностью футбола...

Один из моих знакомых, крупный и вальяжный Автандил, известный в городе как «Большой Покерист», геофизик по профессии и тренер по подводному плаванию по призванию, утверждал, что из-за безденежья ему время от времени приходится продавать книги из отцовской библиотеки.

Однажды я встретил его в хинкальной, и он сказал мне, вытирая губы салфеткой:

– Пришлось продать еще один том Спинозы. Бедный отец! А ведь я из княжеского рода, – добавил он и продолжал: – Я не прошу, чтобы они изменили политическую систему, но пусть они хотя бы отдадут мне наши земли...

Иногда в разговорах возникали имена деятелей грузинской культуры и политики, всё еще проживавших в эмиграции во Франции. Вспоминали и погибших в годы террора писателей, художников и деятелей театра...

11

Портреты Сталина, который воссоздал и возглавил огромную империю, поработив и свою собственную родину, были повсюду – на ветровых стеклах грузовиков, в почтовых отделениях, столовых и даже в будках сапожников и чистильщиков сапог и туфель. То, что Сталин был грузин, а «всё действительное разумно», если следовать Гегелю, до определенной степени примиряло сознание обывателей с реальностью жизни в империи.

Сталина уважали за то, что он был хозяин огромной страны, малой частью которой была Грузия. Он победил своих врагов, возглавил великую страну и стал победителем в мировой войне, разгромив Германию. В этой борьбе он пожертвовал жизнью своего сына и покорил пол-Европы. Китай стал союзником России. И всё это сделал человек, говоривший с сильным грузинским акцентом.

– Да, он был жесток, – говорили люди, – а иначе ничего не добьешься, ведь кругом были враги и предатели; кроме того, Россия была отсталой страной. А он создал атомную бомбу и заставил всех в мире бояться и уважать Россию.

Суждения эти напоминали заимствованную из летописи оценку деятельности средневекового суверена. Когда же речь заходила о так называемых «ошибках» Сталина, вспоминали обычно сентенцию из знаменитой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», написанной в XII веке: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека...» При этом кто-нибудь обычно добавлял:

– Мы – маленькая страна, кто нас в мире знает? Только о двух грузинах и слышали, о Руставели и о Сталине...

Иронический подтекст таких ситуаций состоял в том, что сам Сталин в анкете всесоюзной переписи объявил себя «русским (грузином по происхождению)», и факт этот был широко известен.

– Ничего не поделаешь, – говорили некоторые, – он должен был так сказать... А иначе как такой страной управлять...

– Но в душе он был грузин, – добавляли другие, и национальный вопрос, первоначально обозначенный как вопрос о сохранении языка, культурных ценностей и национального наследия, возвращался в центр сцены, ибо ощущение малости родины, которую надо беречь, присуще грузинам.

12

«Каждый новый познанный язык открывает в тебе нового человека», – говорил Сулхан-Саба Орбелиани, лексикограф, писатель, путешественник и дипломат, представлявший Грузию при французском дворе в начале восемнадцатого века.

В Тбилиси я перевелся из московского вуза и стал студентом второго курса русского отделения физического факультета. По окончании второго курса в ходе летней сессии я должен был, по счастью, сдать среди прочих и экзамен по основам грузинского языка. Студенты русского отделения изучали основы грузинского языка в течение первых двух лет обучения в университете.

Букварь, по которому я обучался, начинался с букв «а» и «и». Из них складывалась первая фраза: «Аи иа» – «Вот фиалка» – букетики фиалок продавали у ограды сада, разбитого вокруг первого, занимаемого гуманитарными факультетами, корпуса университета. Продавали их старики в черных войлочных шапочках, привозившие цветы из окрестностей Тбилиси.

Фиалки сменялись другими цветами вместе со сменой времен года. Фиалки, небольшие букеты из бутонов роз, гвоздики или одинокие розы покупали студентки или их поклонники.

В университетской раздевалке всегда стояли две очереди, мужская и женская.

Осенью, вскоре после того, как экзамен был сдан, я направился вместе с сокурсницей, помогавшей мне, во Мцхета, древнюю столицу Картли. Вахтанг Горгасал, основавший Тбилиси во второй половине V века, был одним из картлийских царей.

Поначалу мы побывали в Джвари. Старая церковь с крещальней, вырубленной в камне полтора тысячелетия назад на месте древнего языческого капища, стоит на вершине голой горы. Там, на вершине, в 326 году воздвигла свой крест (джвари) св. Нина.

С площадки у храма видно, как сливаются воды двух рек, Арагви и Мтквари (Кура).

За рекой лежал город Мцхета с его тополями, женским монастырем Самтавро, домами под красными черепичными крышами и громадой Светицховели – храма, выстроенного в начале одиннадцатого века. На фронтоне собора – изображение отсеченной десницы мастера Константина Арсакидзе, воздвигшего собор.

Позже услышал я фразу, приписываемую одному из карталинских феодалов:

– Что стоит услуга, уже оказанная?

В тот день вино в подвальчике показалось мне чуть кислым, но продавец, посмотрев на меня, покачал головой и сказал:

– Мухранское, батоно, мухранское вино всегда такой вкус имеет...

Еще через пару часов мы оказались на окраине Мцхета, в Армази, на площадке, где велись раскопки древнейшего поселения. Площадка заканчивалась у скальной стены, на которой видны были нанесенные черной краской кресты. Тогда я не знал, что кресты эти отмечали маршрут для тренировавшихся на этой стене скалолазов, и, сказав Тате, что скоро вернусь, стал взбираться вверх по, как мне показалось, вполне проходимой тропинке. Опыта скалолазания у меня не было никакого, но я знал, что нельзя опираться на все четыре точки, – или рука или нога, правая ли, левая, – должна быть свободна. Помимо этого я обнаружил, что подошвы моих мокасин скользят.

На середине пути я посмотрел через плечо вниз. Рядом с Татой стояли мужчина с юношей. Мужчина был в ковбойке и сванской шапочке.

Сверху фигуры людей казались совсем небольшими. Вернуться было невозможно, надо было продолжать лезть наверх. Пару раз я терял одну из опор, камни падали вниз. Один раз я успел ухватиться свободной рукой за выступ скалы, во втором случае мне помог налетевший порыв ветра, он мягко прижал меня к скале.

Вскоре я выбрался наверх, махнул рукой Тате и быстро отыскал тропинку, спускавшуюся на полянку по склону примыкавшего к скальной стене холма. Мужчина, стоявший рядом с Татой, сказал, что мне надо пойти в церковь и поставить свечку.

– Тебя Бог спас, – добавил он.

Мухрани расположено неподалеку от Мцхета и в свое время было владением грузинского царского рода Багратиони. На фамильном гербе Багратион-Мухранели изображен хитон Христа, привезенный в Грузию из Палестины...

Со времен поездок по окрестностям Тбилиси, посещения крепостей, церквей и монастырей, расположенных в горах, остались у меня воспоминания о пейзажах, строениях и фресках, воистину прекрасных. Да и сами названия тех мест под синими небесами с белыми пятнами облаков, звучали необыкновенно: Карели, Бетаниа (Вифания), Атени, (Афины), Кинцвиси, Барисахо, Гелати, Тимотесубани...

Фреску с прижизненным изображением царицы Тамар впервые увидел я в монастыре в Бетаниа (грузинская транскрипция Вифании), в окрестностях Тбилиси.

«Она правильного сложения, – писал ее современник, – с тем-

ными глазами и розовой окраской белых щек. У нее застенчивый взгляд, манера царственно вольно метать взоры вокруг себя, приятный язык, веселая и чуждая всякой развязности, услаждающая слух речь и чуждый всякой порочности разговор.»

На время царствования царицы Тамар (1160–1213) приходится «золотой век» Грузии. Воспевший царицу Тамар ее современник, поэт Шота Руставели, закончил свои дни в грузинском монастыре в Иерусалиме.

Вот детали одной из поездок: закопченная стрела, вонзившаяся когда-то в изображение ангела на фреске в Кинцвиси; свет, проходящий через узкие, вырезанные в камне оконца; утопающие в траве надгробные плиты, и люди, пирующие в тени столетних деревьев...

13

«Грузины... не любят слушать поучения и наставления, но с удовольствием читают и слушают поэзию», – писал путешественник-европеец в XVII веке.

Оглянись на мир бездумный – суетой ты соблазнен:
Кто вчера владел престолом, нынче предан и казнен,
Покорителя Вселенной жизни срок уже сочтен.
О, душа, уйди от мира – чем тебя прельщает он?
(*Перевод И. Гуровой*)

Эти строки взяты из стихотворения «Жалобы на мир». Автор «Жалобы», царь Теймураз I, был первым лириком своей эпохи. Историк литературы пишет о том, что с мотивами тоски и скорби в поэзии Теймураза сочетаются мотивы чувственной любви, приводя в пример поэму «Спор вина и уст». В ней царь пламенно воспевает любовные наслаждения и женскую красоту. «Сладость персидского языка породила во мне вожделение к стихотворчеству», – признавался поэт.

Жизнь Теймураза прошла в войнах с персидским шахом Аббасом I, именем которого в Грузии до сих пор пугают детей. Мать Теймураза I, царица Кетеван, умерла мученической смертью в персидском плену в 1624 году. Впоследствии она была причислена Грузинской Церковью к лику святых. В плену замучены были сестра, дочь и двое сыновей Теймураза. На поле битвы погиб и его последний сын Давид. Внука своего царь направил в Москву, куда ездил и сам в надежде на то, что Русское царство защитит единоверную Грузию от персов. Но помощь не пришла, царь вернулся в Грузию, постригся в монахи, был схвачен, заключен в темницу за отказ перейти в мусульманскую веру и умер в персидском плену.

Живая, неистребимая память о подвигах, предательстве, интригах и мучениях соседствует в сознании грузин с осознанным упоением радостями мимолетной жизни – любовью, вином и традиционным застольем с его элементами свободного, или, точнее, поэтически оформленного философствования...

А вот еще одна, хорошо известная в Грузии, поэтическая сентенция: «Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор...» Принадлежат эти слова поэту, воспевшему царицу Тамар.

14

Осенью небо над Тбилиси становилось прозрачным и голубым, листва приобретала оттенки охры, хны и шафрана, и Мтацминда («Святая гора») или, как ее иначе называли «Гора Давида», облачалась в старый восточный халат.

На полпути к вершине горы белела церковь Св. Давида, у стен которой располагается Пантеон. Тут же, в гроте при церкви, могила погибшего в Персии поэта и дипломата А. С. Грибоедова с надгробным памятником, воздвигнутым его женой Ниной Чавчавадзе. С вершины горы видны были мосты над строптивой желто-серой рекой, крестословица мощенных камнем улиц, соборы и сады города.

Происхождение второго, более древнего названия горы связано с именем проповедника, поселившегося в пещере на склоне горы в VI веке. В свои поздние годы преподобный Давид удалился в Гареджийские горы, расположенные к юго-востоку от Тбилиси, где и основал обитель.

Предание о его паломничестве в Иерусалим рассказывает о том, что, добравшись до окрестностей города на исходе зимнего дня, Давид заночевал в придорожной корчме и, проснувшись еще до восхода солнца, вместе со спутниками взошел на вершину горы Сион. Издалека сквозь туман донеслись до него звуки пробуждающегося ото сна Иерусалима.

Медленно взошло бледное солнце и наметило очертания холмов, крепостных стен, кипарисов, каменных прямоугольных башен, строений и мощеных улиц. Постепенно видны стали появившиеся на улицах конные повозки, паломники на ослах и пешеходы. Завершив молитву, Давид долго смотрел на лежавший под горой город, а затем сказал:

– И того довольно мне, что я, грешный, удостоился видеть эти святые места издалека...

После чего, подняв с земли три камня, он направился обратно, в каменистую и пустынную, изобилующую змеями Гареджу...

15

Осенью в городе пили красное вино и закусывали сваренными в чанах или поджаренными на мангалах каштанами.

В деревнях, в кухне каждого крестьянского дома горел огонь в сложенном из камней или кирпича камине, ну а в Тбилиси камины в ту пору встречались в старых домах в Сололаки, на Вере, в противоположном конце проспекта Руставели, и за рекой, на Плехановском проспекте и ближних к нему улицах.

Ночи были свежие, а в октябре в небесах вспыхивали и исчезали падающие звезды.

Один из моих сокурсников, Котэ Алшибая, жил на проспекте Руставели по соседству с издательством «Мерани». Однажды он повел меня на крышу шестиэтажного дома, где установил телескоп. В тот вечер я впервые увидел горы и кратеры на Луне.

Лучшие студенческие годы я провел в доме на улице, названной именем Давида Агмашенебели (Давида Строителя).

Он был возведен на престол Имеретинского царства в храме Баграта в Кутаиси. За девять столетий до наших дней царь Давид разбил войско турок-сельджуков, освободил Тбилиси и сделал город столицей объединенной Грузии. Похоронен Давид в южных вратах Гелатского монастыря, в окрестностях Кутаиси. По надгробию его проходят все посетители монастыря. Надпись на каменной плите гласит: «Здесь покой мой навеки, ибо возжелал я его».

16

Осенью и весной поднимался я в гору с площади Руставели по широкой, застроенной старыми тбилисскими домами, мощенной булыжником Мцхетской улице.

Затем сворачивал я на кривую каменистую улочку в тени акаций, шел по ней в гору, поднимался по каменным ступеням лестницы, что вела к так называемой «русской церкви», и, дойдя почти до самого верха, сворачивал влево, на тропинку к одиноко стоящему на склоне Мтацминды дому.

Двухэтажный дом из красного кирпича с большой застекленной верандой на первом этаже стоял неподалеку от церкви, и жили в нем две грузинские семьи, связанные между собой родственными узами. Владелец второго этажа, Прокопи, работал прорабом и носил сванскую шапочку. Жена его, Русудан, работала в школе, где преподавала русский язык. У них было двое сыновей, тогда совсем еще юные отроки.

Я побывал на втором этаже однажды, когда был приглашен отпраздновать событие, за которое в тот день поднимали ханци (роги)

с вином во всех домах Грузии. В тот день тбилисское «Динамо» стало чемпионом страны по футболу, выиграв финальный матч в Ташкенте.

Все обитатели дома и несколько соседей сидели за столом, а снаружи то и дело доносились звуки выстрелов, да иногда взлетали в небо шутихи. В доме было прохладно, печку еще не успели разжечь, стол ломился от угощений, а зеленоватое кахетинское томилось в глиняных кувшинах.

Мальчикам я, должно быть, казался человеком довольно странным. Говорил я по-грузински довольно медленно да еще и с акцентом.

– Эс каци русетидан чамовида да сцавлобс картул энас. Он приехал из России и учит грузинский язык, – объяснила Русудан детям.

Снимал я просторную, чисто выбеленную комнату с огромным плоским столом, стоявшим у стены. Свет падал на стол из окна, выходившего на веранду. Стояла в комнате и тахта с наброшенными на тканый ковер продолговатыми, обтянутыми грубой шерстью подушками, и пара стульев. С веранды открывался вид на черепичные крыши Тбилиси, исчезавшие в фиолетовой дымке на горизонте.

Во дворе рос миндаль, расцветавший первым в городе.

17

Хозяйкой нижнего этажа была пожилая дама по имени Леонила Константиновна Шавишвили. Она работала в университете, секретаршей на факультете философии.

Леонила Константиновна была вдова, детей у нее не было и жила она вместе со своей несколько перезрелой племянницей, которая позднее все-таки вышла замуж, вследствие чего мне и пришлось подыскать новую квартиру. Но до того, как это произошло, я прожил в доме на склоне Мтацминды несколько лет.

Иногда после лекций заходил я в небольшую библиотеку при кафедре философии, ключи от которой находились у Леонилы Константиновны. Были в библиотеке и книги, изданные под грифом «Для научных библиотек».

Ходил я и в Публичку, расположенную неподалеку от Музея искусств, на узкой улице, параллельной проспекту Руставели. В библиотеке было два больших читальных зала. Зал технической и научной литературы мне не нравился, он был построен позднее основного здания и выдержан в конструктивистском духе.

Я предпочитал просторный старинный зал на втором этаже библиотеки с золотистыми и шафрановыми проблесками орнаментальных росписей на стенах, огромными дубовыми столами и обширны-

ми прямоугольными окнами в массивных переплетах из темного дерева.

Из книг, прочитанных в этом зале, мне запомнилась книга размышлений о театре, написанная Жаном-Луи Барро, исполнителем роли мима в фильме «Дети райка». Рассуждая о природе театра во вступлении к книге, Барро вспоминает о кошках, которым присущ инстинкт игры... На спектаклях с его участием я побывал в Москве незадолго до отъезда в Тбилиси.

Помню день, когда толпы на проспекте Руставели ожидали проезда кавалькады с Фиделем Кастро. Устроители встречи поставили в первые ряды красивых юношей и девушек. Читальный зал был наполовину пуст, ничто не отвлекало меня от чтения.

Как и всякая большая библиотека, Публичка была еще и своеобразным клубом, где можно было встретиться с самыми разными людьми, – в Публичку приходило немало любителей литературы, истории и музыки. Но не только книги, сведениями о наличии которых мы делились друг с другом, но и просматривание каталожных ящиков с прямоугольниками библиотечных карточек, содержавших сведения о книгах, – всё приносило немало интересного, и не всегда было ясно, что, в сущности, важнее – чтение книг или общение с «домочадцами литературы».

Знакомства завязывались легко, люди часто проглядывали книги, ожидая прихода знакомых. Кое-кто любил собираться в курилке. Другие собирались в буфете или выходили на галерею, нависшую над зелеными кронами деревьев на тенистой, мощенной булыжником улицей, уходившей вниз, к Колхозной площади.

18

Со вторым корпусом университета, где размещались лаборатории и учебные помещения физического факультета, соседствовали корпуса правительственной больницы в Ваке.

Однажды, в перерыве между лекциями Зураб указал мне на одно из окон на четвертом этаже соседнего здания, которое все называли Лечкомиссией. Из этого окна, объяснил он, в марте 1959 года выбросился шестидесятишестилетний поэт Галактион Табидзе. Рассказывая о поэте, Зураб называл его Галактион.

В Грузии принято называть людей по имени, независимо от их общественного положения. Используются в обращении и такие слова, как «батоно» или «калбатоно», «господин» и «госпожа», или же «уважаемый» и «уважаемая», «пативцемуло» или «дзвирпасо»... Обращение «товарищ» (амханаги) в Грузии не прижилось, хотя и использовалось в контексте официальных сообщений.

– Галактион пил, много пил, – объяснил мне Зураб, глядя на здание больницы, – а из окна выбросился, когда от него потребовали подписать письмо...

– Какое письмо? – спросил я.

– О «Докторе Живаго» письмо, – пояснил Зураб, – насчет публикации в Италии...

Галактиона признали великим лирическим поэтом еще в молодости, в начале 20-х годов. Родился он в семье учителя, а учился в тбилисской духовной семинарии. В середине тридцатых годов он ездил в Париж на конгресс в защиту культуры.

Его двоюродный брат, поэт Тициан Табидзе, был расстрелян.

Жену Галактиона, Ольгу Окуджава, дважды арестовывали и отправляли в лагеря. Письма от нее перестали приходить в начале 40-х годов.

Вот как звучит первая строфа из стихотворения Галактиона Табидзе, вызывающая почти физическое ощущение присутствия ветра, несущихся по ветру листьев, гнущихся долу деревьев и неуходящего вопроса «Где же ты? Где же ты? Где же ты?» –

Кари крис... кари крис... кари крис...
Потлеби микриан кар да кар...
Хета ригс, хета джарс ркалад хрис...
Сада хар, сада хар, сада хар...

Время от времени поэта подвергали критике и разносам. Позднее он был награжден всеми возможными регалиями и наградами. Пить Галактион начал задолго до смерти. Скорее всего, то была избранная им самим форма самозащиты...

Его знали во всех ресторанах и хинкальных города... Порой он производил впечатление ушедшего в себя человека. Крупный мужчина, всегда в темном, покрытом пятнами, костюме и в шляпе, с окладистой, седеющей бородой, в черных, стоптанных туфлях, с ноткой вечной пьяной печали в глазах – он был неотъемлимой частью городского пейзажа... Его голос, однако, был звучен и полон энергии...

«Мэ да хамэ», «Я и ночь», – одно из самых известных его стихотворений, сплетающее в одно целое поэта и ночь, а его посвященная храму в Никорцминда «Немая ода» объединяет строение, камень и голос поэта…

Никорцминда – одна из самых красивых грузинских церквей. Воздвигнута она между 1010 и 1014 годами в горном краю, именуемом Рача, в верховьях реки Риони, на северо-востоке Грузии, у подножья Главного Кавказского хребта.

Церковный купол лежит на барабане с двенадцатью окнами, вписанными в вырезанные в камне арки. Барабан церкви покоится на шести парусах. Камни фасадов крестообразной церкви гладко отесаны. На фасадах – вырезанные в камне орнаменты и многофигурные композиции Преображения, Судного дня, Воздвижения Креста, фигуры святых и фантастических животных. Обширное внутреннее пространство церкви было расписано в 16-17 вв.

Фонограммы, запечатлевшие голос читающего свои стихи Галактиона, завораживают, подобно глубокому колодцу или водовороту, из которого нельзя выбраться. Говорят, однако, что успешные переводы его поэзии – задача для гениев будущих поколений.

Вот история, свидетельствующая об отношении самого Галактиона к вопросу о возможностях перевода...

Однажды, еще в молодости, грузинский писатель Нодар Думбадзе зашел в букинистический магазин на Вере, взял с полки томик Лермонтова в переводе на грузинский язык и погрузился в чтение...

– Как вдруг, – вспоминал он спустя много лет, – надвигается на меня какая-то бородатая тень... Поднимаю глаза, а передо мною сам великий Галактион и, как обычно, под высоким градусом.

– Бичо (паренек), – говорит Галактион, глядя на книжку, – Лермонтова по-русски читать надо, а на грузинском, генацвале, читай меня... а так – только время теряешь...

19

Я был студентом четвертого курса, когда один из профессоров философии, худой и высокий старик с седою стриженой головой аскета, в очках с сильными линзами, за которыми видны были увеличенные зрачки, прочел у нас, на физическом факультете, несколько лекций, посвященных наследию Канта. Основательное знакомство с «Критикой чистого разума», полагал он, совершенно необходимо будущим ученым.

Чтение этого цикла организовал наш декан, заведующий кафедрой теоретической физики профессор Мамасахлисов, ученик известного ленинградского физика-теоретика М. П. Бронштейна и его соавтор по работам о теории строения ядерной материи. После того, как М. П. Бронштейн был арестован летом 1937 года, Ваган Иванович решил не возвращаться в Ленинград и начал преподавать в своей alma mater.

В годы работы под руководством М. П. Бронштейна он провел некоторое время в Берлине и в Гёттингене. Он любил классическую

музыку и как-то посетовал на то, что нечасто встречает своих студентов и аспирантов на концертах в Консерватории.

По его распоряжению доска с формулами, написанными рукой одного из создателей современной физики Нильса Бора во время прочитанной им в Большой физической аудитории лекции, была покрыта прозрачной пластиковой панелью и висела на стене в помещении кафедры истории физики.

Послушать лекции о наследии Канта приходили и сотрудники других факультетов. Отец одного из них, знакомого мне по посещениям библиотеки при кафедре философии, изучал сей предмет в Германии, и у сына сохранилась его зачетка с подписями Гуссерля и Хайдеггера.

Зачетки в Тбилиси называли «матрикул».

Владелец матрикула с подписями немецких философов выбросился в лестничный пролет, когда в 1937 году за ним приехал автомобиль с конвоирами.

То обстоятельство, что Константинэ Гамсахурдиа завершил свое образование в Берлинском университете, упомянуто было не случайно. Изо всех стран Запада особо почиталась в Грузии Германия, с ее университетами, наукой, философскими системами, литературой и музыкой.

Окружение сына Константинэ, Звиада Гамсахурдиа, увлечено было в те годы теософией, особой популярностью пользовались имена мадам Блаватской, Георгия Гурджиева и Рудольфа Штайнера.

Тут сказывалась склонность к погружению в глубины духа по ступеням схоластики, унаследованной от средневековья. Последнее продолжало жить совсем рядом, в тени и на обочине, соседствуя с пришедшим из истории здравым смыслом.

20

Однажды осенью ехал я в такси в Институт физики. Услышав, куда я направляюсь, водитель заинтересовался моим мнением о недавно запущенном в Индии ядерном реакторе. Я полагал, что ничего особенного из этого не следует, но шофер не согласился со мной.

– Если они этим занялись, обязательно бомбу строить будут, – сказал он.

– Но зачем? Индия ведь миролюбивая страна, – возразил я.

– А соседи, – заметил он, – от соседей тоже многое зависит...

Ехали мы из Ваке в Сабуртало, где располагались Институт физики и ипподром, по дороге, пробитой в невысоком горном хребте.

Позднее я узнал, что лет за десять до этого здесь в ходе дорожных работ обнаружено было одно из мест массовых расстрелов и захоронений. Как видно, во второй половине 30-х годов власти не ожидали, что город так вырастет.

Сабуртало же означает «поле для игры в мяч». Старинная игра в мяч на лошадях называется «цхенбурти».

21

Зимой я поднимался к себе на гору по улице Папанина. Подъем был короче, круче и шел я обычно по правой, солнечной стороне улицы.

В самом ее начале, там, где она пересекалась с проспектом Руставели, на освещенных зимним солнцем серых каменных ступенях сидели старики курды с седыми, закрученными усами и перебирали янтарные четки. Их жены с синими вытатуированными пятнышками на лбу (знак замужней курдянки) и серьгами в ушах подметали улицу. Одеты они были в кофты, плиссированные передники и длинные, с запыленными подолами, желтые, оранжевые и зеленоватые юбки из бархата.

Иногда налетал ветер, пыль заволакивала всё вокруг, сигналы проезжающих автомобилей становились длиннее и настойчивей, и женщины начинали кричать друг на друга, сверкая золотыми зубами.

Зимы в Тбилиси были холодные, и поначалу, до того как в дом провели паровое отопление, у меня в комнате стояла печка-буржуйка. Хозяйка и ее племянница каждый вечер укладывали на печку кирпичи, с тем, чтобы кирпичи позднее разогревали их постели. Печка быстро остывала, и я забирался под одеяло в свитере.

Дважды в год к Леониле Константиновне приезжал ее племянник Нури из кахетинского села Макванети. Он учился на заочном отделении Сельскохозяйственного института и приезжал в Тбилиси сдавать экзамены. Нури собирался стать агрономом и привозил Леониле Константиновне из своей деревни вино, сыр, фасоль, кукурузную муку и тыквы...

Леонила Константиновна не раз говорила Нури, что ему пора жениться, но с женитьбой Нури не спешил, он хотел сначала завершить свое образование. Нури пощипывал свой ус и внимательно слушал тетку, которую, очевидно, любил, уважал и побаивался.

Леонила Константиновна считала, что это не более чем отговорка, приводя всё новые и новые доводы в пользу обзаведения семьей... Она говорила о доме, очаге, семье и детях, о том, что в деревнях

скоро некому будет работать оттого, что молодые люди больше не хотят жить в деревнях, а стараются попасть в город всеми правдами и неправдами, напоминала Нури о том, как мало грузин на свете....

Леонила Константиновна всегда ходила в черном, не снимая траура по умершему мужу. Ее седые волосы всегда были тщательно расчесаны и уложены, а светлоголубые глаза могли неожиданно заискриться, – она часто обнаруживала комизм ситуаций, в которых оказывались то ее племянница, то Нури, постоянно спрашивавшие у нее совета, и, объясняя им, что и как надо делать, она то и дело подтрунивала над ними.

Говоря попросту, она была классическая «мамида» – тетка.

К Зурабу, который иногда появлялся у меня на горе, Леонила Константиновна относилась хорошо, когда-то его дед помог одному из ее родственников. Она с пониманием отнеслась к тому, что однажды мне пришлось угощать Зураба, явившегося ко мне с товарищем, вином из Макванети, картошкой, испеченной на огне газовой печки, и другими припасами из ее подвала.

Случилось это весной, и над городом бушевал ветер, именуемый Суб-Саркис – в честь армянского святого. Ветер налетал на город как только начинался гижи-марти (сумашедший март), но затем март подходил к концу, наступал апрель, Суб-Саркис исчезал и сменялся сладостным ветерком, во дворе расцветал миндаль, и в небе над городом появлялась легкая дымка.

22

При том, что традиции застолья поддерживались изо всех сил, жили многие семьи достаточно скромно.

Однажды, незадолго до конца учебного года, направились мы в гости к нашему лектору по научному атеизму и этике. Повод для визита был просто замечательный. Узнал о недавнем новоселье Зураб. С собой привезли мы вино и свежий грузинский хлеб.

Лектор был довольно молодой еще, худощавый человек среднего роста с грустными темными глазами, зачесывавший прядь волос через всю лысину, штатный сотрудник ЦК партии.

Новая квартира, куда он въехал с семьей, находилась в районе Сабуртало. Открыв нам дверь, он обреченно улыбнулся и повел нас на кухню. Жена его поставила на стол «хвели» (грузинский сыр), тарелку с зеленым маринованным перцем и удалилась.

На хороший пурмарили (хлеб-соль), как говорили в те годы в Тбилиси, всё это явно не тянуло, но похоже было, что хозяйка опустошила холодильник.

То был новый, бурно застраивавшийся домами типовой застрой-

ки район города. Качество сдаваемых жильцам квартир было крайне невысоким, и оттого квартиры следовало ремонтировать, что стоило больших денег и частично могло объяснить застывшую в глазах хозяина грусть.

Примерно через год после окончания университета ко мне на работу, в Институт кибернетики, позвонил наш бывший преподаватель научного атеизма и этики, и я отправился вместе с ним в одну из школ на Майдане.

– Скорее всего, школьники захотят поговорить о науке, – пояснил он.

Поначалу школьники задавали вопросы о звездах и планетах, а затем поднялся один по фамилии Якобашвили и спросил меня, означают ли последние достижения науки, что Бога нет?

Якобашвили означает «сын Иакова», мальчик был грузинский еврей.

Я понимал, какого ответа ожидает мой бывший преподаватель, но сказал мальчику, что наука вопросом о существовании Бога не занимается. Расстались мы с нашим лектором хорошо, но больше он мне не звонил.

23

Однажды Зураб привел меня в дом своей подруги, где, по его словам, часто собирались музыканты и актеры. Хозяйка дома, Галя, красивая женщина с темными глазами и блистательным чувством юмора, была музыковед и слегка подтрунивала над Зурабом, представлявшим себя рыцарем без страха и упрека. Ее подруга Дали, очаровательная рыжая женщина с ослепительно белой кожей, работала вместе с Галей в музыкальной редакции Грузинского радио.

Жила Галя на Земмеля, на втором этаже дома, расположенного на узкой улочке, уходившей в гору за памятником Руставели. В гостиной у нее стоял рояль, и в доме часто звучала музыка. Она любила джаз и часто слушала записи пианиста Питера Неро, в особенности одну из его мелодий, ироничную и легкую, как шелест листвы.

Годы аспирантуры Галя провела в Москве, затем вернулась в Тбилиси, и, возможно из-за этого, относилась ко мне с симпатией. Я был новичком в этом городе и многого тогда не понимал.

Со временем я стал заходить к Гале довольно часто. Зураб же перестал бывать у нее по каким-то им обоим понятным – или непонятным – причинам.

У Гали встретил я однажды высокого, черноволосого, сутулого и на редкость пластичного молодого человека с темными, карими глазами и тонкими, хорошо очерченными губами, твердо очерченным

подбородком и чеканным профилем итальянского кондотьера. Это был театральный режиссер Давид Цискаришвили. Именно для него я начал писать пьесы десятилетие с лишним спустя.

Дато, так звали его друзья и знакомые, эффектно продемонстрировал несколько танцевальных па, обсуждая при этом с Дали музыку для будущего спектакля, которую следовало подобрать из известных музыкальных номеров.

Как-то раз я встретил его в театре на представлении «Скупого» Мольера с Жаном Виларом в главной роли. Вместе с ним на спектакль пришла его мать, высокая и стройная женщина средних лет с тонкими, прекрасно вылепленными чертами лица и живыми карими глазами. Позднее я узнал, что по профессии она врач-психиатр. Однажды она рассказала, что провела детство в Швейцарии. По утрам ее будил звон колокольчиков. Колокольчики висели на шеях у коз, уходивших из городка на пастбища.

Отец Дато был хирург-легочник. Дед Дато со стороны отца учился в Сорбонне. Происходил он из семьи, занимавшейся разведением овец в Тушетии.

В то время Дато мечтал поставить спектакль по «Войне с саламандрами» Карела Чапека.

– Это должен быть спектакль о фашизме, – говорил он, – фашизм с его парадами, ритуалами, факельными шествиями и огромными толпами, выбрасывавшими руки и кричавшими «Хайль, Гитлер!», весьма театрален, сударь...

24

Через некоторое время после встречи на представлении «Скупого» Дато появился у меня на горе Давида. В то время он думал о том, чтобы вызвать на дуэль какого-то глубоко антипатичного ему человека, и зашел ко мне обсудить дуэльные правила. Дато знал, что я когда-то занимался фехтованием, а он подыскивал себе толковых секундантов.

Мы пили чай и обсуждали, следует ли ему драться на саблях или пистолетах. Помнится, мы пришли к выводу, что организовать дуэль по всем правилам будет совсем непросто. Попутно я понял, что Дато – человек театра по самой сути своей, и оттого театр никак не ограничивался для него подмостками; сама жизнь с ее ритуалами, лицедейством, интригами и таинственными, порой непредсказуемыми поворотами сюжетов, была для него большой сценой.

Лет через десять с небольшим, когда Дато работал в Сухуми, он однажды, за день до начала нового театрального сезона, попросил меня помочь ему сократить текст пьесы.

– Завтра я должен прочесть ее труппе в новой редакции, – сказал он, – текст пьесы на русском у меня есть. Прочти пьесу, пожалуйста, и помоги мне... Ее надо сократить вдвое и довести текст ну хотя бы до сотни страниц.

– Но что же ты делал всё лето? – спросил я.

– Но послушай, я ведь грузин, – улыбнулся он.

25

Однажды в начале осени я зашел к Гале в середине дня. Оказалось, что Галина и Дали направлялись на киностудию, где проходил закрытый просмотр фильма Феллини «Восемь с половиной». К тому времени я уже был наслышан об этом фильме и знал, что в прокат он не попадет. У подруг были пригласительные билеты, и они предложили мне поехать вместе с ними. Пропуска были именные, но вдруг что-нибудь получится? Мы поехали на студию «Грузия-Фильм», занимавшую ряд зданий в конце Плехановского проспекта.

Подходы к студии охраняла конная милиция, пропустившая нас к проходной. Галя и Дали пошли вперед, я последовал за ними и постарался не глядеть на контролера в проходной, проверявшего билеты, и он пропустил меня.

Войдя в зал, я устроился у стенки, свет погас, зал затих, и фильм начался. К концу фильма я был ошеломлен. Не найдя Галю и Дали в толпе у ворот киностудии, я направился на Земмель. Когда я, наконец, добрался до Гали, дверь мне открыл Зураб. Галя стояла поодаль, она была бледна. Зураб был пьян, в руке у него был пистолет.

Я вошел. Последовала глупейшая сцена. Мы стояли в коридоре, и он потребовал, чтобы я поднял руки вверх.

– Я пришел сюда убить вас обоих, – сказал он, – вы меня предали, вы стали любовниками, – повторял он.

Галя попросила меня подтвердить то, что она уже сказала Зурабу.

– Скажи этому сумасшедшему, твоему другу, – сказала она, – что никакие мы не любовники, а просто друзья.

Зураб требовал, чтобы мы признались ему в подлинном характере наших отношений.

Я поднял руки и сказал, что готов обсудить все интересующие его вопросы, но Галя должна оставить нас вдвоем. Мне пришлось повторить свои аргументы несколько раз. Он подозревал меня в том, что я предал нашу дружбу, но причем здесь Галя?

В конце концов, он согласился на то, чтобы Галя ушла.

Странным было то, что, разговаривая с ним, я продолжал вспоминать фильм, вернее, фильм не оставлял меня, сцены накатывали вновь, и я спокойно объяснял Зурабу, что если он сделает какую-нибудь глупость, то, в конце концов, пожалеет. Про себя я думал, помнится, о том, что худо будет, если он попадет мне в голову, тело почему-то представлялось мне более естественной целью для пули.

Примерно через час он, по-видимому, понял всю абсурдность ситуации и, скорее всего, желая доказать насколько серьезно он воспринимает всё происходящее, выстрелил в потолок. Потом он выскочил на балкон, и в этот момент в дверях появились знакомые Гали, которые тоже побывали на просмотре и приехали в дом с вином и закуской. Вскоре Зураб ушел.

На следующий день он подошел ко мне в университете с извинениями, заявив, что был чудовищно пьян. В это легко было поверить. Зураб любил участвовать в разнообразных пирушках, сводившихся в итоге к соревнованию в том, кто больше выпьет вина.

Он настоял на том, чтобы мы зашли в ресторан «Самайа», расположенный в небольшом саду, разбитом на спуске к реке. Столики располагались не только внутри одноэтажного здания с арочными окнами, где днем царила полутьма, но стояли и под деревьями у фонтана, который бил из чаши, окруженной тремя гипсовыми фигурами женщин в национальных грузинских костюмах.

Поглядев на гипсовые фигуры, он сказал,

– Оружие провоцирует, давай выпьем и забудем эту историю.

26

Официанта, который подошел к нашему столику, звали Коба. Как и многие другие тбилисские официанты, он отличался даром ясновидения. Что бы вы ему ни заказывали, счет всегда указывал именно ту сумму, которую вы собирались потратить. С такими официантами было просто. Им говорили:

– Коба, дорогой, вот хотим посидеть. Ну, вина принеси, закуску, шашлык, сам понимаешь...

У хорошо знакомого официанта можно было и денег одолжить при необходимости. Он знал, что человек непременно вернется и к тому же отблагодарит его.

В «Самайю» я обычно приходил по утрам в зимнюю пору. Приходил я туда перед лекциями с тем, чтобы поесть хаши – заправленный молоком суп, сваренный из говяжьей требухи, голени и копыт. В хаши следовало добавить соль и чесночную настойку.

Подавался на стол и нарезанный на куски горячий грузинский хлеб. Его выпекали всю ночь в «торнях», в специальных печах «тонэ», близких по типу к индийским «тандури».

Под хаши пили водку или чачу. Те, кто не пил спиртного, запивали густой, горячий суп с мясом, хрящами и потрохами лимонадом. То была еда для людей, занимавшихся физическим трудом, и бедных студентов вроде меня. Собирались «на хаши» и дружеские компании, приходили и люди, пившие до этого «всю ночь», как говорили в то время. Хаши чудесно протрезвлял. К восьми-девяти часам утра поток посетителей обычно иссякал, и рестораны оставались практически пустыми до полудня.

27

Через дорогу от «Самайи», на другой стороне мощенного булыжником спуска к мосту через реку располагался подвальчик «Казбеги» (Казбек). Первый этаж соседнего строения занимала парикмахерская, где часто велись дискуссии на животрепещущие темы, в подвальчике же обсуждались вопросы фундаментальные.

Как-то раз зашли мы в «Казбеги» с приятелем, студентом факультета журналистики. Разговор зашел о поэте, который в 24 года написал обращенное к Небу стихотворение «Синий цвет».

Биография Николоза Бараташвили сложена из блоков, знакомых по биографиям других великих романтических поэтов XIX века. Родился он в семье, принадлежавшей к знатному, но обедневшему княжескому роду. Его отец служил чиновником при Ермолове и Паскевиче. Это был вспыльчивый человек, который вел довольно беспечную жизнь. Его неоплаченные долги омрачали жизнь семьи. Мать поэта – женщина редкой доброты и благородства, старшая и любимая сестра известного поэта Григола Орбелиани. Именно она стала первой учительницей сына.

Ему было двенадцать лет в 1829 году, когда Пушкин, направлявшийся в Арзрум, написал следующие строчки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Однажды в юности Николоз оступился на мраморной лестнице и упал. С тех пор стройный, нервный и впечатлительный юноша прихрамывал.

Еще в гимназические годы он познакомился с сосланными на Кавказ декабристами и участниками польского восстания 1831 года. Общался он и с членами тайного общества, поставившего своей целью освобождение Грузии.

По окончании гимназического курса Николоз намеревался поступить на военную службу или в Петербургский университет. Но родители воспротивились его намерению поступить на военную службу и не смогли послать его учиться, так как были на грани разорения. Ему пришлось поступить на службу. Литературе он посвящал свободные от службы часы.

Любовь его жизни – Екатерина Чавчавадзе, первая красавица Грузии, предпочла бедному юноше владетельного князя Мингрелии.

Он, по его словам, «одинок в этом обширном и многолюдном мире» и ищет уединения то на Мтацминде, то на берегах Мтквари, то на кладбище за Московской заставой. В одном из написанных на русском языке писем он говорит «о непостижимости цели нашего существования, о безграничности желаний человеческих и суете всего подлунного, наполняющего душу ужасной пустотой».

Холостяцкие пирушки сменяли периоды полной замкнутости... Он умер в возрасте 27 лет от малярии в Гяндже, где работал в Экспедиции суда и расправы. Похоронили его во дворе крепостной церкви. Ни одно из его 36 лирических стихотворений не было опубликовано при жизни. Лишь несколько стихотворений были опубликованы через семь лет после его смерти.

Слава первого поэта Грузии нашла его имя позднее. В конце XIX века прах поэта перенесли в Тбилиси, и Илья Чавчавадзе произнес над его могилой свое знаменитое слово.

Проходит еще сорок лет, и во второй половине 30-х годов Борис Пастернак переводит его стихотворение «Синий цвет».

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал...

Мой приятель зачитывает начальные строки оригинала:

Циса пэрс, лурджса пэрс,
пирвелад кмнилса пэрс
да ар амквекниурс,
сикрмитан вэтрподи.

– «Синий цвет» Пастернака – это не перевод, а оригинальное стихотворение русского поэта, вдохновленное грузинским оригиналом, – говорит приятель и чуть позже добавляет:

– Сталину можно поставить в заслугу то, что он сохранил Пастернака для поэзии.

Скорее всего, Саша намекал на охранную грамоту, сформулированную с присущей вождю краткостью.

– Оставьте вы этого небожителя в покое, – это замечание, брошенное вождем одному из своих подручных, звучало как приказ.

От того разговора с Сашей осталась у меня в памяти двухцветная метка – «синий грузин».

Само слово «грузин» всегда казалось мне темно-зеленым. Прикосновение синевы пришло то ли от «Синего цвета», то ли от пушкинской «Грузии печальной», то ли от их смешения...

Приятель же мой после окончания университета попытался сделать карьеру партийного журналиста, уехал в Сухуми, работал в газете, затем стал пресс-секретарем правительства Абхазии и погиб во время грузино-абхазской войны начала 90-х годов.

В те годы жизнь, как оказалось, потребовала не читки, но «полной гибели всерьез».

28

Через пару недель после разговора о стихотворении Бараташвили, я снова оказался в «Казбеги». Выпив бокал «Тибаани» и закусив сыром, я прислушался к разговору за соседним столиком. Там сидела та же компания, что и неделю назад. Мужчины за столом пили вино, закусывали и продолжали обсуждать личность и заслуги Сталина.

Так у меня на глазах жизнь превращалась в театральное представление с элементами гротеска...

В студенческие годы я любил ходить в театр, было у меня несколько знакомых и среди студентов Театрального института, их я порой встречал в кафе «Кофе» всё на том же проспекте Руставели. Там всегда было шумно и накурено, а одна из официанток стала впоследствии известна всей стране в качестве ясновидящей и целительницы под именем Джуны Давиташвили.

Тбилисские же театры жили и развивались в своем, совершенно ином по сравнению с театрами метрополии пространстве, да и отношение к театру среди тех, с кем мне довелось общаться, отличалось от знакомого мне по Москве.

Чеховская драма с ее полутонами никогда не пользовалась успе-

хом в Грузии, русская классика представлена была на подмостках «Ревизором» и «Смертью Тарелкина», а европейская драматургия – пьесами Брехта, Эдуардо де Филиппо и «Дон Жуаном» Мольера. Не привлекал внимания деятелей театра и «Гамлет», с его *the time is out of joint*. Наше время вывихнуто, утверждал Гамлет. Но в театрах Грузии не ставили спектакли ни о Гамлете, этом наследнике-диссиденте при дворе, ни о могильщиках, ни даже о бедном Йорике. Бедный принц, бедные могильщики и бедный Йорик. Рефлексия, или, вернее, рефлектирующие герои никогда не были в большой чести на грузинской сцене. Запросам театров и посещавшей их публики в гораздо большей степени отвечали «Ричард III», «Отелло», «Ромео и Джульетта» и «Венецианский купец».

Эвклидовы, четко очерченные пространства античных трагедий, где направляемые Роком события неизбежно приводили к катарсису, неизменно влекли молодых людей к театру и Театральному институту всё на том же проспекте Руставели.

Присутствовавшая в общественном сознании потребность в очищении укрепляла и веру в то, что именно связь с землей Грузии, сохранение и почитание ее памятников, исторического, религиозного и культурного наследия сохранит в людях способность сопротивления злу.

Некоторые из тех, с кем я был знаком, нашли себя позднее в служении Церкви. Переходы подобного рода признавались естественными, ибо Церковь почиталась носительницей и охранителем исторических чаяний нации.

Но и не только люди театра, уходили в религию и люди, занимавшиеся самыми различными отраслями знания, – от математики до истории...

Однажды, через четверь века после первого посещения храма в Бетани, я снова попал туда вместе с Котэ Думбадзе. В те годы Котэ работал в институте философии и занимался переводами грузинской поэзии на русский язык. В Бетани встретили мы молодого, ушедшего из мира послушника и разговорились с ним. От него услышали мы рассуждения об аскетизме Платона, ставившего знак равенства между телом и гробом...

На обратном пути мы попали в грозу. Ее сменил проливной дождь, заставший нас на дороге. За ущельем, в Коджори, вспыхивали и гасли молнии. На оставшийся позади храм в Бетани опустились облака. Стоя у обочины дороги в ожидании попутки, мы вспомнили о послушнике.

Позднее, уже за чаем, Котэ сказал:

– Для того, чтобы ощутить связь между смертью и воскрешением, вовсе не обязательно ездить в Иерусалим... Переживание мира как чуда присутствует в Грузии в самом воздухе, которым дышат люди...

29

Незадолго до окончания второго семестра, в самом начале лета, я встретил Дато на Земмеле (площадь Руставели). Так называли площадь в память о немецком провизоре, основавшем аптеку на одном из углов площади.

В те времена совсем недалеко от аптеки, за углом, жила старая, известная своими пейзажами и видами Тбилиси художница Елена Ахвледиани, а у аптеки порой ожидал своих приятелей-собутыльников известный художник-авангардист Авто Варази.

Оказалось, что Дато живет неподалеку, достаточно было спуститься к реке, перейти мост, и, сойдя с моста, сразу же повернуть налево.

В тот же день я оказался у него дома, на левом берегу реки, в нескольких кварталах от Плехановского проспекта. Он провел меня в огромную полупустую комнату с длинным столом и резным деревянным буфетом. На полу лежал старый персидский ковер. В доме, казалось, никого не было.

Высокие окна смотрели на здание за чугунной оградой через дорогу. На здании красовалась мраморная доска с позолоченной надписью о том, что Николай II побывал в этом здании в таком-то году. Когда-то, в начале века, в доме, куда я попал, на обоих этажах его жило немало людей.

Завязался разговор о прошлом. Вскоре Дато подвел меня к старинным фотографиям в овальных рамках на стене против окон и рассказал мне о двух запечатленных на них мужчинах. Один из них был полковник Георгий Константинович Букураули, великий покоритель женских сердец и интеллигент. Величественный гигант в аксельбантах со светившимися ровным голубым светом глазами, пышными седыми усами и идеально обритым черепом, он был женат на Варваре, родной сестре Георгия Цискаришвили, отца Давида. Полковник всегда брился опасной бритвой и правил ее на своем темном и широком кожаном ремне. В семнадцатом году, вскоре после Октябрьского переворота, он уселся в поезд и направился из Петербурга домой, в Грузию. Весь этот путь он проделал, не снимая мундира, эполет и воинских регалий.

На второй фотографии был запечатлен брат бабушки Давида, протоиерей Иосиф Феофанович Чиджавадзе, мужчина лет пятидесяти в светлом архалуке, с бородой, усами и поседевшей густой шеве-

люрой над темными с искринкой глазами. Священник и меломан, знаток оперного искусства и пианист, он незадолго до начала Первой мировой войны был направлен грузинским духовенством в Петербург с важной, неофициальной миссией – добиться возвращения Грузинской Православной Церкви статуса автокефальной, утерянного в 1811 году.

Протоиерей вез в Петербург деньги, которые собирался вручить Григорию Распутину, и в отдельном вагоне за ним следовал груз, доставленный к поезду на трех огромных подводах. Напитки были представлены несметным количеством бутылок лучшего грузинского вина, большими стеклянными флягами с чистейшей виноградной чачей, настоенной на меду, французским коньяком и португальским хересом. Съестные припасы состояли из отборной телятины, бараньих туш, поросят, индюшек, кур, форели и арагвинской рыбки цоцхали на льду, грецких орехов, зелени, перцев, солений, приправ и подлив из ткемали и алычи, соусов из помидоров и гранатов, «тклапи», кислой пастилы, произведенной из виноградного сока, кукурузной муки, фасоли, овощей и фруктов, включавших виноград, груши, знаменитые горийские яблоки, инжир и хурму, а также и лесной орех – фундук, и наконец, подаваемых на десерт сладких «чурчхел» с начинкой из ядрышек фундука. Далее следовали сундуки с подарками, включавшими драгоценную парчу и личное оружие, а также грузинские одеяния.

Две недели пировал священник с Распутиным и когда, наконец, перепил его, старец согласился взять деньги и добиться того, чтобы Грузинская Церковь вновь стала независимой.

Распутин был убит 30 декабря 1916 года. Автокефалия Грузинской Церкви была восстановлена в марте 1917 года, вскоре после отречения царя.

После Октябрьского переворота и подписания Брестского мира Грузия провозгласила себя независимой демократической республикой, и к власти в ней пришли меньшевики…

Вскоре нам захотелось есть, и Дато отправился на кухню. Через несколько минут он вернулся в залу с эффектно шипевшей на тяжелой чугунной сковороде яичницей-глазуньей.

То, что еда, не говоря уже о пире, может быть источником драматического напряжения, Дато знал с детства. Родился он, как и я, в годы войны, и однажды, трехлетним тогда, голодным ребенком, попросил у матери мчади (лепешку из кукурузной муки), указав на желтеющую в небе Луну.

Детство его связано было с расположенным в горах Пасанаури,

где жила его названная сестра и вторая мама. В свое время, рано осиротев, Тамара стала воспитанницей его матери, а позднее няней Дато...

– Брат моей бабушки со стороны мамы Дмитрий Феофанович Чиджавадзе, – рассказал мне Дато однажды, – был не только инженер-дорожник, но к тому же и довольно крупный подрядчик. Он проложил большой участок Военно-Грузинской дороги севернее и южнее Пасанаури. И оттого проводил там немало времени, даже, можно сказать, и жил там... Так завязались теснейшие связи нашего семейства с целым рядом местных семей.

30

В доме, где вырос Давид, проживали когда-то его бабушка Нина Феофановна Чиджавадзе, ее второй муж, Константин Гагуа, и ее дочери, совсем еще юные создания Елена и Нина. Со временем Нина превратилась в Нину Захарьевну, мать Дато. Жили в доме и две бабушкины старшие сестры. Одну из них звали Леля, она была старая дева. Вторая, Варвара, была женой генерала. Жила генеральша с мужем и сыном. Ее муж, по словам Дато, был самой тихой и незаметной фигурой в этой семье, несмотря на то, что вплоть до революции служил начальником ижевского оружейного завода. Ученый-артиллерист, он был великолепным инженером и конструктором-оружейником. В доме находилась и одна из лучших в Европе коллекций стрелкового оружия и боеприпасов.

В соседнем, давно снесенном доме около моста жил со своей семьей – женой, сыном и дочерью, – Вано, брат Нины Феофановны. Был он инженер, работал в американской компании и владел одним из нескольких в ту пору частных автомобилей в Тбилиси. Страстный охотник и человек отнюдь не бедный, он имел отличную, европейского уровня коллекцию охотничьего оружия.

Отец Нины Феофановны был священником, священником стал и ее брат, – таким образом произошла она из совершенно церковной семьи, но, полюбив, она, как выразился Дато, «совершила в общем-то нечто по тем временам практически невозможное и оформила расторжение брака с отцом своих дочерей в Священном Синоде в Петербурге». Затем Нина Феофановна вышла замуж за ученого-филолога Константина Гагуа, который тоже был сыном священника и членом партии социал-федералистов.

– Его брат Ражден Гагуа был адвокат с бородкой «буланже» и, – как добавил Давид, – стало быть, меньшевик... Вообще же, братья Гагуа, выпускники Казанского Университета, были люди интеллигентные и образованные, честнейшие, ужасно порядочные и т. д.

Вместе с тем, были они, ну, как бы это получше сказать, людьми, скорее всего, комнатными. Не было в них ни на гран какой бы то ни было лихости или рыцарства (тут я имею в виду только внешнее проявление рыцарства), словом, кого-либо отбуцкать – это не про них...

31

Вот пересказанное Давидом семейное предание о событиях весны 1921 года.

В ночь на 25-е февраля 1921 года Красная армия под руководством Кирова и Орджоникидзе входит в город Тбилиси.

На нашей улице, в двух, принадлежащих нашей семье домах, паника и растерянность. Женщины бегают из дома в дом и стараются придумать что-то для того, чтобы спастись. Как-никак, нашествие варваров, какого Тбилиси не помнит со времен нашествия Ага Магомет Хана. Единственная из дам, сохранившая присутствие духа и не поддавшаяся панике, была моя бабушка Нина.

В первую очередь связками собирают из обоих домов оружие, заворачивают в какие-то простыни и на мост, а дальше – в Куру. Таких рейсов было немало... Девочек посадили в чуланы и вымазали им лица сажей, чтобы ворвавшиеся варвары их не изнасиловали.

Ночь еще не кончилась.

По нашей улице, со стороны моста и в сторону вокзала движется толпа каких-то беженцев, пытающихся удрать от большевиков. Какие-то растерянные люди, кто-то с узелком, кто-то с чемоданом, а один даже был такой, что нес печную трубу с углом, как русское «Г». Схватил, что попало и прет в сторону вокзала.

Бабушка это всё видела и рассказала мне, а я, в свою очередь, использовал всё это в поставленном в Ахалцихе в 1967 году спектакле для эпизода со схожей ситуацией.

Вернемся, однако, к рассказу о событиях 1921 года....

Итак, ночь еще не окончилась, а по улице, со стороны моста и в сторону вокзала движется толпа каких-то беженцев, пытающихся удрать от большевиков. И вот в это время у нас в парадном раздается звонок, и бабушка идет открывать дверь...

В дверях стоит брат ее мужа, меньшевик Ражден, с неизменной бородкой «буланже». Одет тепло, воротник пальто поднят. На левом плече две винтовки.

Хочу напомнить, что за час до этого из дома было вынесено такое количество винтовок такого качества, что можно было бы вооружить до зубов вполне приличный отряд. Не следует забывать и о том, что ни Ражден, ни его брат Коция отродясь оружия в руках не держали. Далее Ражден обращается к моей бабушке.

– Нина, я пришел за братом. Где Коция? Зови его. Грузия в опасности, наш долг...

(Бабушка зовет мужа, и тот выходит в переднюю).

– Коция, одевайся, я принес ружье и для тебя. Надо идти в сторону вокзала. Правительство переехало в Батуми. Мы присоединимся к ополчению. Нина, загляни, пожалуйста, ружье заряжено?

И бабушка пытается доходчиво объяснить Раждену и мужу, что смотреть надо не со ствола, а с казенной части, открыв предварительно затвор. После чего братья Гагуа молча уходят в ночь, присоединившись к «толпе с печной трубой». Каким-то образом они дошли до вокзала и, никого там не повстречав, пошли по шпалам в сторону Батуми...

– Не знаю, сколько они прошли, – продолжал Давид, – по-видимому, немного, ибо недалеко от вокзала какая-то местная женщина заметила этих похожих на чучела «воинов» и пристыдила тем, что они на воинов не похожи, а свои семьи, небось, бросили в трудное время. Короче говоря, она погнала их обратно в город, куда они вернулись уже под утро, побросав свои винтовки где-то по дороге...

32

После окончания Театрального института Дато уехал на работу в Гори, в полутора часах езды от Тбилиси. Лет десять спустя, когда Дато работал в Сухуми, я увидел у него на книжной полке монтировочный молоток, подаренный ему в горийском театре по старинной традицией, что шла еще с «амкарских» времен. Амкары – сословие ремесленников в старой Грузии. Помнили об этой традиции лишь в некоторых провинциальных театрах с более чем столетней историей...

Вот что рассказал Дато: «Приходит в театр молодой художник или режиссер, и делает он свой первый в жизни спектакль на профессиональной сцене… И вот наступает момент, когда многочисленные трудности уже позади, декорации созданы, изготовлены и в первый раз смонтированы на сцене. Работа окончена. Случается это, как правило, заполночь, когда театр пуст. Рабочие сцены моют руки, накрывают на сцене стол и приглашают к столу дебютанта. Снедь подчеркнуто простая и традиционная. Тосты: за этот театр, его прошлое, вспоминаются, по возможности, все работавшие раннее здесь люди, преимущественно технический персонал... Наконец, а выпито уже немало, включают поворотный круг и пьют за дебютанта на круге, желают ему счастливо и честно служить сцене и, нарекая его «рабочим сцены», вручают ему старый, рабочий монтировочный молоток. Благодарственный тост дебютант произносит при вращаю-

щемся круге. После этого круг выключают, убирают со стола, и все вместе провожают дебютанта домой...»

Его режиссерским дебютом стал спектакль по пьесе чешского драматурга Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». В финале спектакля героиня исчезала, растворяясь в смешении света и тьмы.

Через два года Дато начал работать в Телави, столице Кахетии. Выстроенный из камня город расположен на холмах, спускающихся в долину с синей лентой Алазани. Река бежит меж деревнями и виноградниками, разбитыми у стен крепостей и замков. Названия деревень вторят названиям известных вин и коньяков – Цинандали, Гурждаани, Греми...

В 1890 году, в Кварели, в марани (винном подвале) дома, где родился и вырос будущий реформатор грузинской сцены Котэ Марджанишвили, состоялась премьера его первого спектакля. Жизнь, вино и театр подпирали и поддерживали друг друга, словно захмелевшие собутыльники после окончания затянувшегося заполночь застолья.

В той же Кахетии, в грузинском селе Анага, в 1886 году родился в семье священника другой великий режиссер – Сандро Ахметели.

Рассказывал мне Дато и о его «Разбойниках» по пьесе Ф. Шиллера, и о том, как и чьими усилиями были репрессированы театральный мятежник, его жена и театральные соратники, об отношениях режиссера с его учителем Котэ Марджанишвили и с покинувшей его труппу Верико Анджапаридзе. Узнал я и о том, что когда через два десятилетия после расстрела Сандро Ахметели в 1937 году, военная прокуратура представила заключение о том, что приговор по делу Ахметели, которого осудили на закрытом процессе, должен быть отменен, а дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, актеры, составившие заговор против него, были еще живы. Многие из них успели прославиться своими работами в театре и в кино.

Главным свидетелем обвинения на закрытом процессе Ахметели был знаменитый актер Акакий Васадзе, который дал показания на многих известных писателей, артистов, политических деятелей. Однако в ходе процесса реабилитации Васадзе отказался от своих прежних показаний, обвинив следователя в подмене протокола допроса…

33

За неделю до защиты диплома попал я в горное селение Дзирула в Имеретии, где жили родственники моего друга и сокурсника Сосо

Манджавидзе. Добирались мы туда на грузовике вместе с тремя жителями Дзирулы, возвращавшихся к себе домой из Тбилиси. По дороге остановились закусить в придорожном духане. За столом услышал я следующее высказывание о себе, адресованное Сосо,

– Друг твой – еврей, но пьет он, как добрый христианин...

Деревня располагалась на горном склоне и по ночам казалось, что звезды гроздьями падают в окно с нависшего над склоном ночного неба. На следующий день присутствовал я при открывании чури, огромного, закопанного в землю глиняного кувшина, в котором бродило и созревало вино. Стоя у открытого горла невидимого сосуда, откуда черпали и разливали в рога вино, пришедшие на церемонию произносили тосты и пели старинные песни...

«Шэн хар венахи...» («Ты есть лоза...») – такими словами начиналось старое песнопение, оживавшее в печальном многоголосии...

В исполнение древнего ритуала проливалось на землю вино в память об ушедших...

34

Через несколько дней после возвращения из Дзирулы зашел я в кафе «Тбилиси» выпить чашку кофе. Дело было во второй половине дня, и сквозь огромные арочные окна, занавешенные тюлем, хорошо видны были фланирующие по проспекту Руставели тбилисцы.

За соседним столиком трое мужчин пили коньяк. Разговаривали они по-грузински, а затем один из них, актер из расположенного по соседству Театра Руставели, с седыми прядями в черных кудрях, начал читать стихи:

Кавказ был весь как на ладони,
И весь как смятая постель...

Люди за столиками смолкли, в кафе стало тихо, пришло переживание высоты и полета над тектоническим языковым разломом.

Бат Ям

Борис Фабрикант

* * *

На дереве цвет солнца издалёка.
Как птица, прилетевшая душа,
Сидит на светлой ветке одиноко,
Невидима, чиста и хороша.

Она покровы светлые надела.
Как в старых книгах верили словам!
Она не знает, для чего ей тело,
И всё считает нас по головам

* * *

Вот самолет обходит облако,
Нащупав край воздушной ямы,
И девушка мне чистит яблоко,
В одной компании с друзьями.

Они запомнят всё по-своему,
Что было с ними и со мною,
Лишь время спутают с обоями,
И горе вырастят весною.

Какое счастье будет вспомнить
Друзей, не сразу узнавая,
Вот мы сидим в одной из комнат,
Пережидая шум трамвая.

Так в телефоне проступает
Тень перепутанных заметок,
Витая пряжа золотая
Из мозговых усталых клеток,

И фейерверк, летящий рядом,
И смех и плач, и память боли
Я снова провожаю взглядом,
Как долгий день на летнем поле

* * *

Экран окна свернулся и погас,
Прохожий вечер отменил услуги,
И кто-то тихо песенку о друге
Напел, запоминая про запас.

Природа завершала свой обход
И отличала утро от погоды,
Дождь лил, потоп, и отражали воды,
Как плыли звезды задом наперед.

Сушили на веревке темноту
И штопали прокуренные дыры.
А сны залили старые квартиры –
Сорвали кран еще в неделю ту,

Когда заговорили о любови,
И в окна, заслонив наружный вид,
Переливаясь, сны пошли навзрыд,
О край стекла царапаясь до крови

* * *

Ночная рубашка тумана
не высохнет и не спадет,
но солнце взойдет из кармана
и дырочку в мочке найдет.

И местный художник Вермеер,
дизайнерских мастер услуг,
там осень повесил на север,
где девушка смотрит на юг.

А кисти рассеянным светом
растянутый холст освятят,
и листья считаются с летом,
как будто считают цыплят.

Наполненный мелкой росою
тумана дерюжный мешок
уйдет за луною босою
на запад, на юг, на восток

* * *

там какие-то плавают в воздухе звуки
разноцветные ленты на дереве старой корой
все дороги к Байкалу изогнуты в луки
в лед вмерзают и снег
он как сахар из чая невкусный сырой
лунка вниз рукавом мегафоном врачебною трубкой
упирается в рыб а изловленный омуль хорош
на заснеженном льду на коре водяной
под сползающей крупкой
лед прозрачным окном и сквозь воду
на дне разглядишь малый грош
крепкой скрепкой Байкал был пристегнут
прищеплен к земле между камнем и небом
и несет на себе эту землю – громадный мешок
лед растает до лета но в памяти белого цвета
остаются и воздух и небо и ветра опасный смешок

* * *

Мои друзья, веселые и умные,
И многие там собрались давно.
Они не знали разговоров с зумом,
Мы пели песни, бегали в кино.

Их так давно мне в жизни не хватает,
Они меня никак не досчитают,
Рассаживаясь за накрытый стол.
Все собрались? Нет, рано, не пришел.

Оплаканы и вовремя зарыты,
Они пьяны, задумчивы и сыты
И больше не уходят далеко,
Их повстречать поэтому легко

БОЛЕЗНЬ

Я снова в Москве, но, похоже, ни с кем не увидеться –
Ушли за снега, за ветра, за ночные огни.
Одетое в маски, нам всё запретило правительство,
А может, мы сами решили остаться одни.

Случайные встречи, объятия, рукопожатия.
Смущает неловкость: дотронуться? не допустить?
И взгляды отводят любимые и провожатые,
И, значит, опять нам найдется о чем погрустить.

Последний вагон красным светом качает, качает.
За ним с укоризной расходятся наши пути.
И взмах семафора, как ложка в стакане чая,
Который уже неизвестно куда отнести

* * *

Камень, упавший с неба, разбил покой.
Брызги не крошки хлеба, не соберешь рукой,
Так широко расстелен их групповой полет,
Каждый теперь растерян – выпивший автопилот.

Круг горизонта линзой вылепит небеса,
Будто улыбка Лизы и плывут паруса.
С жизнью несовместимо стало сегодня жить,
Бог выбирает глину, будет опять лепить.

И не начать сначала, если грозит конец.
Ни дойти до причала, ни напоить овец

* * *

Может быть, дождемся той поры,
Где опять, рассеянные ветром,
Мы дойдем сквозь дни и километры
Вдоль пустыни нашей до горы.

И шепча слова, смеясь и плача,
Мы поверим, замедляя шаг,
Что уже не можем жить иначе
И уже не сможем знать не так.

«Имя всуе...» – десять, ясным звуком,
Звезды как свечные фонари,
Отбивая ритм сердечным стуком,
Спросит он: «Запомнил? Повтори.

А потом в конце придут оценки,
И ответит каждый за свое».
Что-то скрёб с трудом по старой стенке
И просил не разбирать ее

Лондон

Валерий Скобло

* * *

Могу открыть: Мне королем не стать...
Никак и никогда. Пленен я этой пьесой.
Но и тебе, моей судьбе подстать,
Офелия, не стать – увы и ах! – принцессой.

Пока судьба готовит свой подлог,
Пока овечка ищет в скудном марте травку,
Могу словечко вставить в диалог –
В либретто сценарист не допускает правку.

Оставим Клото скручивать и вить,
И пусть кроты в земле свои копают норы...
Могла достаться мне другая нить –
Длиннее этой... Да к чему теперь укоры?

Офелия, из прочих грустных тем,
Доступных и такой, как ты, слепой овечке,
Скажу одно, что жизнь прошла... Совсем.
Коротенькая, точно надпись на колечке.

* * *

Храню я ключи от замко́в, которых нету уже...
Жил я тогда на пятом – прекраснейшем – этаже.
Он не был последним, потому и не тёк потолок.
Не живи на последнем – мамин усвоил урок.
Но и на первом не сто́ит: может залезть хулиган,
Который путает часто свой и чужой карман.

Улица называлась – Большая Зеленина стрит.
Над ней и сейчас, я думаю, голубь мира парит.
Это такая птичка, что мир всему миру несет.
Ее не собьет зловещий натовский самолет.
Она ведь неуязвима и в те времена, и теперь...

Эти ключи не откроют никакую на свете дверь.

* * *

В непонимании близких есть положительная черта,
Малый такой момент, восполняющий все потери:
Полное осознание того факта, что ты сирота,
В чем не приходится сомневаться ни в малой мере.

А это, как ни странно, в немалой степени придает сил:
Ни на кого не надеешься в главном своем деле.
Собственно, ты ведь и так помощи ни у кого не просил,
Разве смогут помочь, даже если бы захотели?

Все эти родственники, близкие, дальние, да и друзья –
Толку от них?.. Как им от тебя – никакого толку.
В зеркало смотришь и видишь явственно: распадается «я».
Ты ведь и нитку не вденешь в маленькую иголку.

Но какое это имеет значенье: быть так и должно,
И надежда на остаток сил своих и отваги.
Так уж оно испокон... от века – расчислено, суждено.
Что за помощники могут быть у тебя, бедняги?

* * *

Помню отрывные настенные календари,
Каждый день обрывали из них по листику.
Выбрось совсем, кому хочешь теперь подари
Грошовую их ежедневную мистику

Мятых ненужных листочков мимо прошедших дней,
Свой рассказик был на обороте каждого,
Своя история – возьми и суди по ней,
То ли выпадет, чего душа твоя жаждала.

А выпадало редко... совсем почти никогда.
Нету тех календариков – и гадай теперь...
Настали совсем не январские холода,
Но и не оттепель... уж совсем не оттепель.

В жизни той всё же не всё была одна суета,
Глупости да беготня, мелочи-шалости...
В жизни, которая почти совсем прожита
Или почти что... без самой уже малости.

* * *

Дальнего умысла не было у меня.
Кто я такой, чтобы подкапываться под?..
Прожил всю жизнь я, голову чуть наклоня,
Пару... пять лет мне зачитывалось за год.

Голову наклоня, вглядывался назад,
Жизни своей оправданья не находя.
Ниже бессмыслицы ее скользя и над
Смыслом ее, промелькнувшим рядом, гудя.

* * *

...А помнишь, как мы?.. – повторяет опять...
У всех у нас эти повадки.
Как трудно по жизни навечно терять
И дальше идти без оглядки.

А помнишь?.. – Да нет, позабыл навсегда,
Как жизнь нас ни жгла, ни томила
Уроками злого ручного труда,
В котором, мол, слава и сила.

А в них ничего – только страх или пот,
Оттенок насильственной смерти.
И надо глядеть неуклонно вперед,
Не надо назад – уж поверьте.

Да помню я всё... или всё позабыл...
Уже и без разницы это.
На все эти детские страхи забил,
Не помню ни зиму, ни лето.

Ни зимнюю горку у нас во дворе,
Ни летнюю ту лихорадку,
Когда понарошку, как будто в игре,
Ее целовал. И догадку,

Что взрослые нас вовлекают в обман
О подлинной сути событий...

Я прячу ее в самый дальний карман.
Подальше от этих наитий.

Сказали бы правду – и то бы не смог
Пройти с этой правдой по краю.
Из всех мне открытых на выбор дорог
Забвения путь выбираю.

* * *

В 70 лет понимаешь, что жизнь прошла.
В 75 – не понимаешь этого даже.
Всё, что горело, сгорело почти дотла,
Всё, что пропало... Кого обвинишь в пропаже?

То ли мы, наконец, оставляем грехи,
То ли они нас, презрев, оставляют в покое.
Много всякой премудрости и чепухи
Переполняет... Да что же это такое!?

Ну, хорошо... Есть всё же и плюсы зато:
Не отвлекаясь ни на женщин, ни на попойки,
Время потратить... Господи, знать бы на что,
Более важное, чем куролесить в койке?

Или на курево, водку... Нету на них
Здоровья, желания... Только не о морали
Мозги мне пудри. Ведь я не последний псих.
Так припечатаем: вот, мол, скопец в серале.

Впрочем, честно сказать, вовсе не потому,
Что силы оставили... Да, пусть и это тоже...
Главное то, что открылось сердцу... уму...
Нет, не открылось... Скорее, что душу гложет.

* * *

Будем передвигаться
лишь маленькими шажками,
Записываться на прием
всегда к одному врачу,
Или прогулка – или
покупки в универсаме...
Тебя еще не такому
впоследствии научу.

Если с утра дождливо,
сдвинем прогулку на вечер,
Глядим полдня на дождик –
осваиваем ремесло.
И если ты смотришь «Танцы»,
тебе возразить мне нечем.
Мы уже пожилые,
но ведь крышу нам не снесло.

Не обгонять стараюсь,
но вдруг случится такое,
Т.е. если уйду я первым,
ты уж меня прости.
Картинка та еще... Всё же
нас вы оставьте в покое:
Мы медленными шагами
проходим конец пути.

Санкт-Петербург

Л. Терлицкий

Пуксозеро

Московская весна была в разгаре: во дворах завязывалась сирень, тополя роняли сережки и готовились засыпать город пухом – реинкарнацией недавно растаявшего снега.

В последних числах апреля позвонил Мишка и позвал на охоту.

– Ночь скорым до Няндомы, потом на местном. Это мои места – уток там можно руками ловить.

После окончания мединститута Мишку забрали в армию и отправили на север врачом в лагерях для нарушителей социалистической законности. От двух лет жизни среди зэков и охранников он мог бы сойти с ума или спиться, но спасла охота – все выходные Мишка проводил в лесу с ружьем и натасканной им приблудной дворнягой. Подружились мы в Коктебеле, куда он приезжал в отпуск греться и лечиться от спермотоксикоза.

О легендарной весенней тяге, когда огромные стаи возвращаются из теплых краев на север, к родным гнездовьям, я знал только понаслышке.

Знатоки утверждали, что стрелять утку на перелете и есть настоящая спортивная охота. Никаких планов на майские у меня не было, но торчать без толку в городе не хотелось.

– Не пожалеешь, – обрадовался Мишка моему неуверенному «ну...»

– Возьми крупы, чая, сахара и водки. Палатка не нужна – жилье найдем, но прихвати спальник и болотные сапоги.

– Тушенку брать?

– Ну, может, пару банок – на охоту едем. Завтра в девятнадцать на Ярославском, у касс дальнего следования, – сказал Мишка и повесил трубку.

Я отстоял в очередях в гастрономе, а утром съездил к старшему брату и одолжил у него двустволку, две коробки патронов с утиной дробью и несколько штук с жаканами – на всякий случай. Брат мне доверял – они с женой любили проводить отпуск в лесах и пару раз брали меня с собой.

– Показывай, только если спросят, – сказал брат, передавая мне корочку члена Общества охотников РСФСР.

За полчаса до отхода скорого «Москва – Архангельск» мы встретились с Мишкой, купили билеты и погрузились в плацкартный вагон. Подождав, пока состав разгонится, мы выпили, закусили припасенными Мишкой хлебом, вареными яйцами и сырокопченой колбасой, покурили в тамбуре и разлеглись по полкам. Я закрыл глаза, вслушался в мерный стук колес и быстро уснул.

Разбудил меня пронзительный женский голос: «Няндома! Няндома! Стоянка пять минут!». Мишка уже был на ногах.

– Выходим, дальше на местном, – сказал он, пытаясь высмотреть что-то через окно в предрассветной мгле.

Мы высадились на низкую платформу и укрылись от промозглого холода внутри обветшалого станционного сооружения, на двери которого висела побитая временем, чудом пережившая революции и войны эмалированная табличка с надписью «Пассажирское зало».

Местный поезд до Плесецка был переполнен – народ ехал на работу.

– Кажется, я его знаю… – Мишка перешел в дальний конец вагона и подсел к какому-то майору.

– От Пуксы будет дрезина, – сказал он, вернувшись. – Майор говорит, что там, на озере, пустая зона. Будет где ночевать.

– Как это – пустая? – удивился я.

– Брошенная. Майор сказал, что неделю назад туда приводили зэков на субботник, так они там всё разломали, чтобы беглые не прятались.

Поезд замедлил ход.

– Пукса, – объявил Мишка.

Мы подхватили вещи и выскочили на перрон. Из другого конца вагона появился майор, махнул нам рукой и пошел к вагончику автодрезины, стоявшему неподалеку на узкоколейном пути. Из кабины выглянул машинист и вопросительно посмотрел на нас с Мишкой, но майор его успокоил: «Эти со мной».

Внутри сидело несколько человек в форме внутренних войск. Вагончик набрал скорость и покатился по просеке между двумя стенами северной тайги. Снежный покров уходил глубоко в чащу.

– Вы, парни, никак на тягу собрались? А весной-то не пахнет, – съехидничал один из прапоров.

– Язва ты, Федор. Весну ж никто не отменял. Может, распогодится, – вмешалась шарообразная тетка в погонах сержанта и сделала мне глазки.

Вагончик замедлил ход ровно настолько, чтобы мы с Мишкой успели соскочить с подножки и съехать на задницах с насыпи,

потом зажужжал, набрал скорость и, затихая, растаял в утреннем мареве.

Несколько секунд мы разглядывали черно-белый пейзаж – снег, белёсое утреннее солнце, освещавшее три десятка изб на вырубке вдоль замерзшего озера, и обступивший деревню с трех сторон темный, казавшийся непроходимым лес. Стояла мертвая тишина, не было слышно ни птиц, ни шума ветра, ни обычных звуков утренней деревни – радио, петухов, мычания скота. Над озером поднималась легкая дымка. Воздух был насыщен холодной влагой.

– Приехали, – хмуро объявил Мишка и забросил за спину рюкзак и чехол с ружьем.

– Озеро-то как называется? – спросил я из любопытства.

– Так и называется – Пуксозеро.

Я пошел за Мишкой к окружавшему деревню высокому забору, от которого остались только покосившиеся столбы с обрывками колючей проволоки. Рядом с воротами валялись сорванные с петель створки и опрокинутая будка часового.

– А ты здесь раньше бывал? – спросил я. – Что это такое?

– Зона общего режима. По избам зэки, человек триста. В тех, что побольше, начальство и охрана. В самой большой – клуб.

Зэковский субботник явно удался – деревня выглядела как после бомбежки, от изб остались груды бревен и печного кирпича.

Мы дошли до конца единственной улицы, мимо засыпанного мусором колодца, и нашли дом, в котором сохранились стены, кровля и значительная часть дымохода. Еще час ушел на то, чтобы выгрести из светелки мусор, забить досками проемы окон и навесить на петли сорванную дверь. Мишка продолжал хлопотать по хозяйству, а я взял фляги и котелки и отправился за водой. Можно было бы растопить снег, но я решил осмотреться.

День был в разгаре, но солнечный диск почти касался темной полосы леса на дальнем берегу. Я подумал, что зимой в этих широтах солнце выходит всего часа на три.

Тропинка через глубокий, уже подтаявший снег вывела меня к озеру, а потом к черневшей метрах в ста от берега квадратной проруби, на срезе которой был виден намерзший за долгую зиму толстый лед, теперь по-весеннему серый и ноздреватый.

Я опустился на колени, зачерпнул котелком и жадно напился. Вода была такой студеной, что заболели зубы.

Рябь на воде успокоилась, поверхность проруби стала зеркальной и отразила мое лицо, будто я лежу на дне и смотрю в низкое, затянутое облаками небо. Я передернул плечами, набрал воды и потащился обратно.

В избе было тепло – стараниями Мишки в полуразбитой печи полыхал огонь. Вскоре в котелках булькала гречка и заваривался чай. Мы размешали в каше банку тушенки, махнули по сто для сугрева и с аппетитом закусили.

– Странный какой-то чай, – поморщился Мишка, отхлебнув из кружки.

– Чай как чай… Индийский, со слоном… Вода из проруби…

После трапезы мы развалились на спальниках и блаженно закурили, пуская кольца под стреху.

– Не повезло. Это по календарю сейчас май, а так зима, – сказал Мишка, констатируя очевидное. – Утка полетит в лучшем случае недели через две.

– Да чего там... Погода – дело божье. Скажи, а много тут лагерей?

– Сейчас, наверное, штук десять. Есть общие, два строгого режима и один женский, километров десять отсюда. Раньше, говорят, было больше.

– Это когда?

– До войны. Здесь тогда зэков тыщ пятьдесят было. Да и после войны народа тоже сидело немало.

– А что они тут делали?

– Железку строили, лес валили... – Мишке явно не хотелось вдаваться в подробности. – Надо бы прогуляться, посмотреть, что да как...

Мы докурили, натянули болотные сапоги, расчехлили двустволки и, проваливаясь выше колена в снег, вошли в лес.

Мишка пробивал тропу, я шел сзади, экономя силы и ступая след в след.

Идти было тяжело – зернистая, влажная снеговая крошка доходила до причинного места и набивалась за высокие обшлага сапог, внизу хлюпала вода. За пару часов мы продвинулись километра на три-четыре, но лес будто вымер.

Наконец Мишка остановился, присел на упавшее дерево и стянул с головы вязанную шапочку. От вспотевших волос поднимался пар. Я пристроился рядом.

– Безнадёга, – сказал он, отдышавшись. – Можно, конечно, смастерить снегоступы, но лес всё равно пустой. В такое время зверь уходит в чащу, на лёжки, ждать потомства. Боровая птица тоже сидит тихо. Если повезет, подстрелим какую-нибудь беременную зайчиху…

Мы вернулись в ранних сумерках, разожгли печь, обсохли, под последнюю банку тушенки допили водку и застегнулись в спальники. Мишка сразу отключился, а я долго ворочался, засыпал, просыпался и, наконец, провалился в бездонную черную яму.

Мне приснилась какая-то жуть, от которой я вскочил, как от удара кнутом. Сна я не помнил, но сердце бешено колотилось, как будто мне не хватало воздуха.

Я вышел в холодную ночь, освещенную тусклой, размытой облаками луной, и сделал несколько глубоких вдохов. Успокоившись, я вернулся в избу, подбросил дров в очаг и залез обратно в спальник, но еще долго не мог уснуть.

– Баста! Возвращаемся, – объявил Мишка утром. – Охоты нет да и как-то стрёмно…

Возражать я не стал. Мы быстро собрались, вышли к узкоколейке и дождались дрезину на Пуксу, где почти сразу сели на местный поезд до Няндомы, а там и на московский, едва успев взять в привокзальном сельпо бутылку водки, буханку черного и две банки бычков в томате.

К югу от Вологды зимний пейзаж сменился бесснежным, а после Ярославля началась жара – солнце раскалило вагоны, сделав пребывание в них пыткой. Раздевшись до трусов, я лежал в полудреме на верхней полке и старался не вспоминать безжизненный лес, разбитую деревню и черную полынью.

Наконец, радио в поезде радостно захрипело «Кипучая, могучая...» – явный признак того, что мы подъезжаем. Вскоре состав замедлил ход и, вздрогнув, остановился. Москва!

Я попрощался с Мишкой, нашел телефон-автомат и позвонил брату.

– Здоро́во, бродяга! – приветствовал меня брат, явно навеселе. – А мы тебя ждали только через неделю... Ты где? Давай к нам! У нас Воля, мы гуляем.

Воля – любитель выпить и вкусно поесть, шут и балагур, душа любой компании – приходился родней жене брата, то есть и мне тоже. Все его обожали и называли просто «Воля», а его нечастые визиты в столицу всегда превращались в праздник.

Минут через сорок я ввалился в квартиру брата, смыл с себя под душем копоть костра и запах плацкартного вагона и вошел в гостиную.

Во главе стола, за которым тесно сидело человек десять, царствовал Воля, похожий на статуэтку Смеющегося Будды – он был шарообразен, лыс, толстогуб и, при невысоком росте, весил более ста двадцати кило.

– У меня, дорогой, последняя стадия зеркальной болезни, – печально объяснял Воля в этот момент одному из гостей.

– Какой болезни?

– Зеркальной! Не знаете? Да вы счастливчик! Это страшный

недуг, когда человек может увидеть свои яйца только в зеркале, – воскликнул Воля с наигранным трагизмом и тут же расплылся в лучезарной улыбке, от которой его глаза превратились в искрящиеся щелочки. Гости захохотали, а Воля уже рассказывал следующий анекдот. Знал он их сотни и мог довести плачущих от смеха слушателей до обморока.

На пике своей артистической карьеры Воля работал конферансье в Эстрадном оркестре Узбекской ССР и иногда снимался в кино, обычно в ролях фашистов или белогвардейцев, где его комическая внешность была особенно кстати. На его персональном плакате фотография смеющегося лица смотрела анфас, а рисованное карикатурное туловище с огромным животом и коротенькими ножками – в профиль. Вокруг живота полукружием, как дуга школьного глобуса, шла стойка микрофона.

Трудно было себе представить, что в 1945-м, когда ему было девятнадцать, Воля, похожий тогда на прелестного эльфа с копной вьющихся русых волос, носил погоны капитана и служил порученцем при коменданте Кремля.

Обнищавшая, голодная страна приходила в себя после четырех лет кровавой бойни. Москву наполняли военные, демобилизованные в форме без погон, транзитный люд и вернувшиеся из эвакуации москвичи. Магазины продавали продукты и мануфактуру только по карточкам, но на рынках бойко торговали трофейным и ворованным барахлом. В набитых битком театрах показывали премьерные спектакли, в кино крутили захваченные у немцев американские фильмы, а в ресторанах шла такая гульба, что дрожали стекла и хватались за сердце видавшие виды метрдотели.

В новогоднюю ночь 1947-го в огромном зале ресторана гостиницы «Москва», сверкающем золотом погон, орденами и хрусталем бокалов и люстр, сильно выпивший Воля поспорил с каким-то майором и, скинув сапоги, залез, роняя хрупкие игрушки, на высоченную елку, снял с верхушки звезду и подарил своей девушке.

В свободное от прожигания жизни время Воля нарезал круги в служебной «эмке» с водителем, что-то организовывая, доставая и устраивая для начальства. В результате он знал великое множество московского люда – военных, сотрудников органов, дипломатов, которым он развозил приглашения на мероприятия, крупных хозяйственников, известных артистов и прочего тогдашнего бомонда.

Для вернувшихся с войны солдат главным было то, что они выжили. Им до коликов, до головокружения хотелось простых радостей – пива с рыбкой, провести ночь с женщиной, погулять в парке с детьми, надеть цивильный костюм и свежую рубашку с галстуком...

Досыта насмотревшись на ужасы войны, они наивно полагали, что дальше жизнь может быть только лучше.

Не тут-то было: Сталин почувствовал в угарной послевоенной гульбе угрозу и решил, что надо закрутить гайки и как следует всех напугать. Сказано – сделано. Органы споро раскрыли несколько групп шпионов, заговорщиков и вредителей, потом запустили череду больших и малых «дел».

Волна репрессий с головой накрыла сотни тысяч людей и закончилась, только когда Людоед испустил дух на своей подмосковной даче – то ли в результате Божьей кары, то ли отравленный трясущимися от страха соратниками.

Воля находился слишком близко к кремлевскому начальству и попал в жернова одним из первых. На Лубянке из него быстро выбили признание в шпионаже в пользу нескольких иностранных держав сразу, за что «тройка» Особого Совещания впаяла ему десять лет исправительно-трудовых работ.

Обычно за шпионаж расстреливали или давали двадцать пять, но судьба была к Воле благосклонна – один из членов «тройки» оказался Волиным знакомцем. Потом Воля пересек страну в вагонзаках, набитых побывавшими в плену красноармейцами, блатными, разжалованными сотрудниками органов и гнилыми интеллигентами. В конце этапа был лагерь на севере Коми, организованный еще в конце 1930-х для строительства железной дороги на Воркуту.

На первой же перекличке его выдернул из строя начальник лагеря.

– Лапин Владимир Аркадьевич?

– Так точно, – по-военному отрапортовал Воля.

– А папаша ваш до войны в НКВД работал? В Воронеже?

– Да, – расплылся в улыбке Воля. Похоже, ему опять подфартило – он встретил отцовского знакомого.

Кряжистый, похожий на пень начальник сделал пару шагов и встал к нему вплотную.

– Ну, сука, ты у меня сдохнешь, – сказал он негромко, дыша перегаром Воле в лицо, и изо всех сил врезал ему в печень. – Это ведь твой родитель меня допрашивал...

Через полгода от побоев, карцера, каторжного труда и постоянного недоедания Воля весил меньше сорока кило и превратился в типичного лагерного доходягу. Ему оставалось либо ждать смерти, либо броситься на «колючку», чтобы быть застреленным охраной и прекратить мучения досрочно.

Спасло его то, что в зону приехала концертная бригада зэков, в которой оказались московские знакомые. Увидев умирающего Волю, они упросили свое начальство зачислить в коллектив «весьма талант-

ливого молодого артиста». Через несколько дней Волю перевели в другой лагерь, где и началась его сценическая карьера. Освободили его летом 1953-го, после смерти Людоеда...

Я выпил штрафную и набросился на закуску.

– Откуда дровишки? – игриво спросил Воля, когда я насытился.

– Из леса, вестимо, – ответил я в тон и рассказал о неудавшейся охоте и ночевке в разбитой деревне.

Воля помрачнел, посмотрел в потолок, потом на меня.

– Пуксозеро, говоришь? Зона на берегу? Я, знаешь, в этой зоне два года провел... Никакое это не озеро. Кладбище это, а не озеро. В нем зимой покойников топили – всё легче, чем мерзлый грунт долбить. Вывезут по льду на середину и в прорубь. Там тысячи... – Он обвел глазами притихших гостей, потом встал, налил себе фужер водки и, не чокаясь, выпил.

И тогда я вспомнил кошмар, разбудивший меня в полуразрушенной избе.

Ночь. Метель. Ледяная поземка срывает снег с сугробов и закручивает его в колдунчики. Мне трудно дышать под придавившей меня тяжестью. Я лежу в санях, в штабеле окоченевших трупов. В сани веером впряглось человек двадцать мужиков в телогрейках и шапках с завязанными под подбородком ушами, но почему-то без порток. Сзади сани толкает еще десяток таких же. На голых, обветренных шеях от усилий вздулись жилы. Стоптанные ботинки без шнурков на обнаженных, синюшных ногах проваливаются в глубокий снег. Справа и слева – высокие фигуры в белых, как саваны, тулупах с трудом сдерживают на поводках охрипших от лая овчарок. Сани выезжают на лед, под безлунное низкое небо. Впереди черный квадрат. Над ним свечение, будто внизу полыхает адский огонь. Мне не хватает воздуха. Я хочу выбраться из-под тяжести, но не могу сдвинуть наваленных на меня мертвецов...

Нью-Йорк

Михаил Дынкин

* * *

Братаны, говорит диплодок,
вымирание не за горами.
Наступает пора холодов,
снежных бурь, обезьян с топорами;

их потомков, готовых трястись
в смертоносных машинах железных.
Даже если глаза отвести,
эти твари, боюсь, не исчезнут.

Диплодок, говорит стегозавр,
наклоняясь над чашкою чая,
отвечаешь ли ты за базар?
Диплодок говорит: отвечаю.

Мы еще потусуемся тут,
переждем наступившую осень,
а когда обезьяны придут,
притворимся, что вымерли вовсе.

Птеродактиль кивает – ну да,
я, коллеги, не прочь затаиться.
Что за радость летать в холода,
наблюдать, как ревущие птицы

то и дело проносятся над
головой, провонявшей казармой,
превращая в пылающий ад
всё, что дорого нам, динозаврам.

* * *

Мы надеялись обнаружить кота Шрёдингера живым,
но когда мы взломали ящик, никакого кота не было и в помине,
а были профессор Энский и призрак его жены,
бабочка адмирал и болонка по кличке Мия.

В правую стенку ящика врос облетевший вяз.
Сквозь отверстие в левой краснела Брестская крепость.
Музыканты играли Баха. Отдохнув, перешли на джаз...
Их никто не видел, даже слепой Тиресий.

Энский сказал: «Это программный сбой», –
долго курил с кислой шрапнельной миной.
А потом все частицы стали взрывной волной,
и взревели МиГи в небе над Украиной.

* * *

Сегодня ливень грусть мою исполнил
и с Пастернака осень перевел.
Сегодня ангел, ангел Аль Капоне
к моей башке приставил ржавый ствол

и выстрелил, и вылетела пуля
с той стороны зеркального стекла.
И я упал в цветущий сон июля.
И Черной Речкой речь моя текла.

Там облака кружились на пуантах,
играл на флейте император крыс,
и медленно сходились дуэлянты,
не знаю, удалось ли им сойтись.

Потом в атаку бросилась пехота,
и зашипела красная змея.
Я мог бы вспомнить, выжил ли хоть кто-то,
когда б не снег, засыпавший меня.

* * *

Я вижу Смерти острый профиль,
она берет две чашки кофе
(одну как будто для меня)
в непритязательной кофейне,
где по утрам ночные феи
зовут Троянского коня.

И конь развозит их по спальным
районам. И плохие парни
из подворотен продувных
выходят в люди неудачно.
А Смерть сидит себе, чудачка,
то в толстых кофтах шерстяных,

то в платьях с вырезом глубоким.
Всё ждет, когда же выйдут сроки,
и за последнюю черту
переступить душа захочет,
с коня Троянского соскочит
и сядет на свободный стул,

вся в белом, чёртова невеста:
«Спасибо, что держала место».
Смерть усмехнется, скажет: «Ну...»
И я, протягивая руки,
им крикну: «Спелись, злые суки?» –
и, рухнув, ноги протяну.

* * *

Не странно ли ложиться одному,
делить с котом убитую квартиру,
не верить ни во что и никому,
мир заоконный полагать сортиром?
А кот доволен. У кота – загул.
Коту хватает вольницы и ласки.
«А завтраки такие, что врагу
отдал бы ужин запросто хозяйский», –
влетев на кухню, добавляет зверь.
«Что ж, хоть кому-то весело живется», –
я говорю, захлопывая дверь
за прибежавшим с улицы питомцем.
На улице же дождик зарядил,
бельё намокло, вся стена в улитках.
Еще чуть-чуть и нильский крокодил
поднимет на смех ветхую калитку.
«Сюда, зубастый! – крикнет гостю кот. –
Тебе мартини, бренди или сидра?»
И, третий лишний, я отправлюсь от

греха подальше; завтра будет видно,
что делать... Но не будет видно, нет.
А если будет, то опять не очень...
Я раздеваюсь, выключаю свет,
ложусь во тьму, ворочаюсь полночи.

* * *

Щелкнешь пальцами – жизнь отлетает,
вороньё прилетает зато.
Царь змеиный луну уплетает.
Конь на травку кидает пальто;

говорит, что устал невозможно,
что пора ему, верно, прилечь.
И течет из пустого в подложный
демиурга бессвязная речь:

о небесной покоцанной тверди,
о надкушенном яблоке, о
преисподней, откуда все черти
в мир людей перебрались давно.

Слышишь, как они бацают Мурку,
проповедуют, держат пари,
кто из них запряжет демиурга
и махнет с секретаршей в Париж?

Перед зеркалом сяду разбитым
и увижу усмешку врага,
натяну сапоги на копыта,
нахлобучу берет на рога.

ПЕСНЯ

Открывал ворота я широко,
потому как беды мои жирны.
Пил на завтрак скисшее молоко,
оставлял не скисшее для жены.

Столько лет лежит она в смерть-земле,
что ни ночь, то снится мне, просит пить.
Ты купи мне свитер, беда, к зиме,
самому на свитер мне не скопить.

Ты, беда другая, задай овса
старой кляче, как ее там... Пегас?
Чем чернее черная полоса,
тем сильнее боженька любит нас.

Ободряет страждущих: будет ок.
Говорит, что выходит, воскресит.
Вот плывет он, боженька, на восток.
А посмотришь пристальней – змей скользит

сквозь густые заросли облаков,
погремушка дивная на хвосте.
И от вида белых его клыков
я теряю голову, прячусь в тень.

Покачнулись сонные небеса.
Вся скамейка в яблоневом цвету.
И как будто алые паруса
пузырятся, хлопают на ветру.

Это солнце выкатил скарабей,
из навоза выкатил как всегда.
И взлетает армия голубей
или войско ангелов. И звезда

утренняя падает прямо в ад.
И течет зеленая сон-река.
И на берегу ее души спят,
опьянев от свежего молока.

Евгений Никитин

БАБУШКА

Нет роднее существа,
чем нелепая старушка,
треснувшая, как игрушка.
Видишь, набок голова

и запавшие глаза.
Но она уже не плачет.
То ли внук в окне маячит,
то ли слышит голоса.

Иногда она бодра.
Скажет шутку – и смеется.
Спросит: «Как тебе живется?»
«Может быть, домой пора?»

Но куда «домой пора»?
«На Мирон Костин, в Рышканы,
где сейчас цветут каштаны,
как они цвели вчера.»

* * *

В тот день, когда меня не станет,
ты утром встанешь и умоешься
Андрей Николев

Всё так. Я сплю от сих до сих,
потом встаю и умываюсь,
и отправляюсь мыть других,
но этим я не прикрываюсь,
а объясняю, что смотреть
за телом и его квартирой –
на эту медленную смерть –
уже становится рутиной.

Моше, Арон, Ицхак и Чарльз –
я этой престарелой шайке

уже поведал всё про нас
без дополнений, без утайки.
Они кивали головой
или, точнее, головами,
и неба полог голубой
сиял над этими словами.

В тот день, когда я отойду,
ты пост напишешь краткий, ясный.
Его я прочитаю, безучастный,
в отдельной комнате в аду.
Нажмешь на «опубликовать»,
в кровать вернешься и укроешься,
и будешь беспокойно спать.

Потом ты встанешь и умоешься.

* * *

Никто не знает ничего.
Повсюду свален старый хлам.
Как пыль, клубится по углам
недоговорок вещество.

С трудом прошепчешь что-нибудь
и ртутным шариком глагол
повиснет в воздухе. Подуть
и он укатится под стол.

* * *

Читаю про обстрелы и вдруг
вижу статью на тему,
правда ли, что
белые голубоглазые кошки – глухие.

Почему это меня так волнует?
Вздрагивает всё мое существо.
Кошки с глазами-тюльпанами,
опыляющие цветные крыши.

Они не слышат
щелчка мухоловки,
но им хватает сноровки
отпрянуть в последний момент.

Я пишу коммент
о том, что ранку можно прижечь,
отколупать, расковырнуть,
но никого не вернуть
и не предостеречь.

* * *

Андрею Егорову

Андрей, ты писал «не провалим экзамен»,
а мы провалили.
Ты смотришь на это пустыми глазами,
а мы обварили
белки в этом супе стыда. Вот и швы я
движеньем нетвердым
на веки кладу, и, как видишь, живые
завидуют мертвым.

* * *

Пока мы говорили о тебе,
прошло полгода.
Все умерли. Была противная погода.
Соседка колотила по трубе.

И этот звук как будто отрезвлял.
Очнувшись разом,
я нить беседы потерял.
Как шарик с газом,

всё лопнуло, распалось, утекло.
Переменилось.
Твое прозрачное лицо светилось.
А я был – зло.

* * *

Ты меня ненавидишь?

Да.
И тебя, и память о том,
как с тобой приползла беда
и проникла в дом.

Мое сердце теперь – зола,
а по дому стелется тьма.

Змеелова ты не звала.
Ты открыла мне дверь сама.

Ты пришел на запах тепла,
как в начале времён, в Раю.

Ты была со мной весела.
Ты любила свою змею

* * *

может быть, проще умереть
раз тебя мне не уберечь
написать строчку, заболеть
и лицом в пол холодный лечь

там ползет между половиц
таракан по фамилии Го́ровиц
мы с ним лежим, считаем овец
больше не слышно хора птиц

* * *

Смотрю на стол шершавый, на
стакан слепой.
Улыбки добрая стена
со мной, с тобой.

Теперь я только летний дым,
я тень, пойми.
I dreamed a dream... But now that dream
is gone from me.

* * *

Васе Бородину

Полковнику никто не пишет,
и он не пишет никому.
Я окликаю, он не слышит.
Сидит, уставившись во тьму,

лишь ветер волосы колышет.
Я подхожу, а он живой,
но целиком оброс травой,
и в бороде шныряют мыши.

Он рад, меня на кресло со́дит,
берет гитару, песнь заводит –
какой-то блюз про пустыри:
«Там чудеса, там леший бродит
без слез, без жизни, без любви».

Всё дальше он, и звуки гулки.
Я вдруг стою перед окном,
и цепь железная на нем.
Внизу пустые переулки
и ветви белые, как булки,
в тумане снега голубом.

Евгения Изварина

* * *

Безоглядна зеркала кабала –
рассыпные прописи без нажима,
веер света, каждая где игла
чем жива была – обнажила.
Всё, чем бедна прямота примет,
всё, чем права суета земная, –
зеркало раскачало, свет
посылая

и отзывая…

* * *

всей ли надобы дуга
корни, гребни, берега
ливни, плавни, клевера

и не верим
а пора

и не спорим, как давно
показалось – всё равно
перед робостью былой
молоком, или смолой
целиком, или вразброс
с именами, или без

ускорение колес
испарение небес

* * *

Калейдоскопов колыбели
пока хрустальны и пестры,
зажги им мартовской капели
крестообразные костры –
пускай вода вопьется в шорох
осколков, заклубится вязь
металлов и солей тяжелых,

того, кто в омут погружен их,
судить и править не берясь…

* * *

В пылу узнаваний, хмельных до поры,
в окне его,
в коконе –
узлы и разломы,
холмы и вихры
в потоке, потоками
уже поглощенном…

И если твоя
тоска самородна, то
меняйся в пути ее – день ото дня,
из облака в облако…

* * *

настанет день – на страшный суд
построившись колонной
деревья окна понесут
как дым запечатленный

как плеч отдельно и ключиц
кому рисунок задан
следи до облака – за птиц
нечаянным зигзагом

* * *

…ходишь, будто отныне
только твое
яблоко в сердцевине –
книга:

ее
снимут с себя, как слепок,
павшие ниц,
чтобы корней и веток
пальцы – страниц
ощупью перебрали
все номера,
где – о дуге ребра и
пробе пера…

* * *

...кремнистый путь блестит
М. Лермонтов

Стыд полумертвому – досыта
ответный ад,
и звезд река не перекрыта,
дыр мириад
течет, и несочтенных дюжин
диагональ
нежнее – где вопросу нужен
ответ едва ль…

* * *

колодец звездных рытвин
бог через пень-колоду

чужое время выпил
монах, чужую воду
надел как шапку волчью

нет в отблеске свинцовом
земли – одной лишь ночью
колодец окольцован

* * *

робости выбор овечий
в пагубу ли, на подмогу
призрачны противоречий
изгороди

за дорогу
скрипов колесных и всхлипов
зеркало не обмелело
спицами сердце рассыпав

левостороннее вело

Елена Зейферт

Рим, Дневное стекло

Поэма

Все твои, Микель Анджело, сироты…
Мандельштам

(Если рассеять внутренний взгляд
и сразу увидеть три
точки схода – любящего тебя,
круглое маленькое окно,
белое тесто на белом столе –
и повторить
этот день,
то в сплошном огневом кино –
только одна
тихая нитка грусти,
этот рвущийся внутрь окошка пейзаж.
Я исцарапала взглядом живую картину.
Чувственный кит,
синий, огромный,
где-то плыл под тобой, подо мной,
но то ли – мансардный – девятый этаж
(в памяти он над нами парит),
то ли сам день, исчезающий, выходной,
кто-то иль что-то приковывали меня к стене,
к этой круглой картинке –
в ней Рима дневное стекло,
словно в последний раз,
приглашало взглянуть на себя во мне,
в нем было солнце свое, оно взошло
и тут же на наших глазах зашло.)

Острое чувство, что эта картина – миг
не уходящий, а исчезающий навсегда,
твой статус-кво,
миг, за которым всё, чего ты достиг, –
чуткость, гора прочитанных книг, –
выпал, как снег, совершился,
он за горизонтом, водоразделом, швом.
Девятый, падал, лаская фасады квартир, этаж.

Я поглощала глазами круглый пейзаж.
И руки твои на моих плечах,
их прожилки родные, и тень от твоих
полудлинных волос на моей щеке –
были важнее картины. Но окно, грохоча,
плыло навстречу сегодня,
нас не захватывая с собой,
словно бы налегке.
Ты видел его спиной?
Я вспоминаю это дневное стекло
каждый день.
Вещь приближалась не к нам:
услышать не ухом – слюной,
увидеть не глазом – рукой.
Услышать, увидеть, раздеть.

В комнате время стояло,
словно бутылка в ведре со льдом.
Нам оставалось бездействовать –
вещь играла в знакомых лишь ей лучах,
мимо шли мемы, события, люди. Дом
отстранился от магии, скукожился, словно зачах.
Что растворялось, бурлило, летучее, здесь?
Вещи, когда хотят,
ищут беседы,
но только не этот круглый ландшафт:
город семи холмов
(тягуч по склонам, плечи его зудят),
Рим как мир просочился
в прииски древних шахт.
Просто жило и сияло окно,
дневное стекло, само по себе,
без всяких чудес и прикрас,
словно круглая ранка на теле
или круглый пробел,
равный многим мирам, в нем вовсе не было нас.

Яркий, лишался окраски день, стучали часы,
ты до волокна
чувствовал мои руки, лицо; мы
были заняты каждый своим:
ты созерцанием нас, я созерцанием нас и окна,
оно еще отражало холмы

(семь, как слои), и разные города,
и остров Мадагаскар.
Рассеянные и собранные сполна
этим окном.
Встретиться взглядом с дневным стеклом?
Ты (словно срок истекал)
крепко меня обнял и поднял над землей.
И пришедший из Рима гость,
эта живая картина, круглый огромный глаз, окно
глянуло мне в глаза и исчезло.
Словно украденную кость,
в землю мы зарываем, стыдясь, свое одиночество.
А оно не стыдится нас.

Ты был рядом, и только это меня спасло
от мгновенной потери живого пейзажа.
Вся речь была позади, где-то за
той потерянной вещью, в полной тьме,
из которой ты, я, дневное стекло.
Я боялась дышать,
любуясь иконописным тобой.
Ты: прозрачные голубые глаза,
взгляд внутрь себя,
длинные брови и волосы,
уверенно трогающие золотые виски,
тонкий нос, крупных губ стекающая слеза,
как молитва «Иисус, иди впереди»,
бархатный придыхательный звук тоски;
мне хотелось слизать
вкус молочного шоколада с поющих губ
(Он вместе с тобой поет)
и два слога, твое «люб-
-лю» мое.

Я подняла глаза: «Милый, ты видел?
Это окно ожило, но словно ушло,
вернее, погасло».
Ты оглянулся, вечер висел в оконном кругу.
Становилось темно.

«Вещь разговаривала со мной, и не свысока.
Мне так повезло…

Вещь разговаривала, не отдавая отчет,
что она говорит со мной.»
Яблоко тишины.
Ты не потрогал мне лоб, не рассмеялся,
не психанул –
это был бы не ты.
«То, что плещет у самых моих бережков,
было здесь. Как же вернуть,
как снова шагнуть туда, любимый?» Дом с высоты
смотрел на корт, на скамейки, на молодую траву,
луна лилась.
Явному суточному колдовству
противостояла дневная власть.

Я быстро вернулась к себе: стала смотреть
на твои дела, твои руки – видео в ноутбуке,
ты там с волосами до плеч
играешь на басе в студии
с красной кирпичной стеной. Ведь
есть поважнее – небесные – вещи,
чем световая речь
вещи, представшей сегодня в дневном окне:
любовь.
Мой закон – максимум бережности к тебе,
никаких захватов, укоров, ссор.
К твоей свободе всегда отыщу я ключ. Любой
знает, что близких ценят
значительно меньше, чем незнакомых,
этот извечный хардкор
сцен, разговоров, сплошная боль.
Но я к тебе, радостному в рывке,
прикасаюсь нежно, жажду твоей свободы.
Я не позволю только окоченеть.
Чую – струна натянута на колке.
Время слушать-и-петь.

Полностью вместе и полностью наедине –
вот для пары слои гармонии; утолить
жажду любовью к другому можно,
к счастью, вполне,
только являясь целостным существом.
Корабли:
каждый следует курсом своим.

Уединенный прав –
он принимает боль, он попадает на дно,
он горит,
он у ста переправ,
но, погружаясь, выталкивает болезнь.
Носится дикарем, свистит
и, уши заткнув, кричит:
и посмотрите, каких он будит существ,
только услышьте, какая сочится
песнь!
Он не зализывал раны,
не вскрывал волдыри, не искал водоем –
он был один, чтобы быть счастливым вдвоем.

Мы любим друг друга и – вместе! –
друг от друга свободны. Невидимое
в тебе и во мне,
башни и замки, которые знала сетчатка,
деревья раннего детства (как
сложился общий багаж?) – видимы каждому
из двоих, словно стоящие
перед глазами: больней,
ярче.
Дом без окна одичал. Девятый
мансардный этаж
плавился после июньского дня, чуточку остывал.
Ужас и радость – две головы одного существа,
даже скорее два выражения благостного лица.
Ночь надвигалась на Рим и вступала в права,
это была первая голова.
День доставался льстецам.
Мягкие ягоды старых забытых обид на других
людей.
Я тянулась на цыпочках, задевала город плечом,
напрягала мозги,
перебирала прищепки,
тряпки развешанных в воздухе улочек и площадей.

Жесты бережны – к твоему лицу,
к детской тающей татуировке на правом твоем плече
я прикасаюсь нежно, робко,
а внутренний мой бросок, стекающий по кольцу,

по гравировке на внутренней его стороне, –
силён, невероятен. Это честь –
обнимать тебя, чувствовать, целовать.
Я никогда не позволю себе захват
воли твоей даже на миг.
Может натура изобразить художника? Нет.
Каждый из нас друг для друга натурщик
и каждый из нас –
друг друга творец.
Ты ведешь отношения, я иду за тобой вослед.
Вес колокольни моей, тяжелый ее металл
ты легко принимаешь
на свой деревянный хрупкий настил – добрей
нет человека, чем каждый из нас, в этой природной игре.
Это ответственно –
сиять как ближайшей звезде в твое лицо
и этой звездою собственно стать.

Счастья беспримесного
(исчезновения рядом с тобой)
факты: маленькой детской розою
я расцвела, но несу красоту одному тебе;
вещи и люди не на авансцене;
я не сомневаюсь, что это любовь;
чувство (растущее)
подлинного родства с первой минуты.
Я бывала намного слабей,
но такой не защищающейся – не была. Жена,
потому что твоими порывами защищена
с первой минуты.
Ты позволяешь мне просто быть, просто жить
жизнью цветка и нравиться внешней-внутренней красотой.
Нельзя заслужить
права радовать наготой. Чем хорош цветок?
Он безвластен. Он не способен алкать.
Он не уходит в рост.
Ты, домашний, рядом; лодыжки, ключицы, рот.

Кто так богат?
Творчество (белое тесто),
созерцание (вещь),
чувство любви (ты,

родной). Никто. Не ты. Не я. Обретайся над,
плачь, обрастай собой, к силе пустого впритык.
Этот сосуд (палитра,
сердцебиение лучшего из мужчин и дневное стекло)
можно разбить только изнутри:
ты дароносица и сквозняки,
страж на ходулях и девочка,
снимающая мобильным кино.
Где-то цветок под тысячью трав растет!
Манёвренный кит,
темная туша, спиной касается ног
наших с тобой.
Ты поздравляешь меня, сжимаешь до хруста – блеск,
расточительство, окраска небес.
Кроткость к лицу мне, когда я не прячу тебя
в тыквине дома. Ты на пути
к той, что мечтает о мощи свободы твоей (ко мне),
и не просит войти.

Как мы даны себе? Кто я –
брошенный с неба снежок
или растущий из почвы будущий человек?
В полной свободе кроется волшебство
самоограничения. Бог ожидает от нас, возможно,
не только способности славить Его,
но и желания быть соавтором, сотворцом. Прыжок,
резкий, в сторону: вот, творящая, я,
вот, любящий, ты – я люблю, ты творишь. У ручья,
словно у моря, у моря, как у ручья, мы на берегу.
Мы расширяем наш дом,
внешнее приглашаем вовнутрь, как слово в гул;
я приглашаю взлететь, ты нырнуть,
мы отправляемся в странствие
и встречаемся в глубине-высоте.
Рим-дневное стекло говорит: постой,
я безымянно коснусь твоих плеч без бурь, без тел,
я не взорву твоих вен полноводные дни,
мой план простой:

через окно, любовь и стихи взять и направить
твой самый девственный ключ
в статику, каменность русла неба. Я-тебя-люблю.

11 июля 2021

Исаак Розовский

Раритет

Многие слышали об этой истории, ибо не только российские и израильские СМИ, но и мировая пресса не так давно взахлеб ее обсуждала. За это время она обросла таким количеством фантастических версий и фактических несуразиц, что пришла пора рассказать, как оно было на самом деле.

В жизни каждого народа имеется некое вершинное достижение, которым он вправе гордиться. Достижение это становится свидетельством того, что народ этот недаром коптил небо, хотя, возможно, давно исчез с лица земли. Таковы, например, великие пирамиды древних египтян или скульптуры и философия древних же греков.

Нечто подобное, этакая индивидуальная пирамида Хеопса есть и в жизни каждого человека. Кто-то уже написал или еще пишет своего «Гамлета». Кто-то забил решающий гол и сжимает в потных руках заветный кубок. Серая мышка захомутала-таки «папика» и теперь разъезжает по Ниццам на белоснежной яхте. Алкоголик зашил торпеду и не пьет ни капли. Иной всю жизнь спит и видит, как станет главным бухгалтером, и становится им, пусть и за два года до пенсии. Да мало ли!..

Герой нашей повести тоже мечтал о своей личной пирамиде. Собственно, он многократно начинал ее возводить, но всегда что-то мешало завершить грандиозный проект. В лучшем случае, всё кончалось на стадии котлована. Так что если обозреть жизнь нашего героя до той точки, с которой мы начнем наше повествование, то выглядит она не шибко казисто – сплошные ямы да ухабы, да щебенка. И кучки строительного мусора былых надежд. Вот и рабы, чьими усилиями должна была возводиться пирамида, давно разбежались. Так что ни явно, ни тайно гордиться нечем. Оставался один, последний и довольно-таки авантюрный проект. Но, если честно, он и сам мало верил в успех этого начинания.

* * *

В ночь перед аукционом Исидор долго ворочался и задремал только под утро, так что едва не опоздал. Залец для торгов набит бит-

ком. Мужчины в корректных черных смокингах, дамы в вуалях и с веерами. Аукционист в ударе, шутит, заводит публику. Зубы Исидора стали выбивать дробь, когда тот выкрикнул: «Разыгрывается лот под номером 171. О, это уникальный лот! Во всем мире сохранилось всего-то шесть экземпляров! И один из них перед вами. Цена несуразная. Продавец, большой кретин, между нами говоря, просит за этот раритет всего десять тыщ. Так что налетайте, дамы и господа! 11 тысяч – господин с бородавкой в правом ряду. Раз! 12 тысяч – толстая дама с усами в центре...»

15! 20! 32! «Ага, уже дают больше, чем я рассчитывал, – подумал вмиг вспотевший Исидор. – То ли еще будет!» А речь шла уже о сотнях тысяч. «280 – господин с расстегнутой ширинкой в первом ряду! – кричал аукционист, охваченный небывалым азартом. – Полмиллиона, семьсот тысяч! Миллион!! «Миллион – раз! Миллион – два! Миллио…» Разрумянившийся, со сбившейся набок бабочкой, он готов был в третий раз ударить молоточком, купленным явно в магазине игрушек, но тут вскочил огромный человек со всклокоченными волосами и бордовым от волнения лицом. Он сорвал с себя фрак и закричал: «Стойте, стойте! Я больше! Миллион и еще фрак в придачу». Публика пришла в восторг. «Точно, точно! Играем в фанты на раздевание!» – заверещали дамы и стали скидывать с себя шляпки, блузки, кринолины… Исидор проснулся, блаженно улыбаясь. «Моя взяла!» – воскликнул он и совсем не сразу осознал, что, увы, это сон. «Но, может, сон в руку?» – еще надеялся он, хотя уже прозревал всю тщету своих сновидческих надежд. Наскоро выпив безвкусного чаю, он отправился по указанному адресу. И перед ним открылось унылое зрелище.

* * *

Реальный зал, где проводился аукцион букинистических и раритетных книг, в отличие от сна, не ломился от публики. Само помещение невелико, но и оно кажется пустырем, на котором тут и там пробиваются чахлые кустики. Кустики – это ценители и коллекционеры книг, общим числом не более десятка, а их суммарный возраст на глазок перевалил за тысячу лет. Мотаясь в волнении между залом и комнатой, где на стеллажах стояли, прижавшись друг к другу, как телята на рынке, книги, выставленные на аукцион, Исидор подслушал обрывок разговора. Крупный лысый мужчина, видимо, устроитель этого действа, беседовал с аукционистом в лоснящемся от старости фраке с бабочкой. Тот своим обликом и повадками напоминал конферансье из кукольного спектакля «Необыкновенный концерт».

– Ажиотажа, Сеня, не предвидится, – позевывая, сказал устрои-

тель, обводя осоловелым глазом одиноких посетителей, со скучающим видом просматривающих каталог аукциона. – Сегодня серьезных клиентов не жди. Так, шелупонь всякая…

– Да вижу, вижу, – вздохнул аукционист (вернее, лицитатор – слово, которое Исидор впервые услышал лишь пару дней назад). – Да и кто к тебе придет, когда ты в таком затрапезе?

Действительно, одежда устроителя мало соответствовала той, в которой, по представлениям Исидора, надлежит являться на аукцион. Он был облачен в коротковатые потертые джинсы и севшую от многократных стирок майку с надписью: «Россия, вперед!». Между джинсами и майкой подрагивал мягкий волосатый живот.

Что делает тут Исидор? Сам он не коллекционер и не ценитель антиквариата. Но полторы недели назад он привез в Москву книгу, продажа которой, по его расчетам, должна была принести ему целое состояние. Вернее, привез шесть одинаковых книжек. И вот сегодня на аукционе выставлялась одна из них. Так сказать, «на пробу».

* * *

Исидор никогда прежде не бывал на аукционах, но почему-то был уверен, что его и привезенные им книги примут с распростертыми объятьями. Еще до отбытия из Израиля нашел в интернете список самых известных книжных аукционов и выписал их адреса. В Москву в последний раз он наезжал десять лет назад и теперь чувствовал себя в обновленном и сверкающем городе замшелым провинциалом. Добравшись на метро до первого в его списке адреса, он оробел. Металлическая дверь была заперта, но после несмелого нажатия кнопки распахнулась, и он был окончательно сражен величием тамошнего охранника и блеском его галунов. Тот с презрительной вежливостью объяснил, как пройти в офис аукционного дома, и Исидор повлекся, спрашивая каждого мимо проходящего, туда ли он идет, хотя инструкции цербера при входе были ясными и исчерпывающими.

Но вот и искомая дверь. Навстречу выплыла девушка, на высокой груди которой подрагивала бирка, где крупно написано «Эксперт» и более мелко – имя, так что как звать эксперта Исидор, чье зрение в последние годы оставляло желать лучшего, не разобрал. Пришлось обращаться к ней просто «милая девушка». Девушка приветливо ему улыбнулась и пригласила присесть к столу, где громоздилась стопка очень старых книг, вызывающих невольный трепет своими кожаными с застежками переплетами.

– Вот, – засуетился посетитель, доставая из сумки книжку, – хотел предложить для аукциона.

Девушка мельком взглянула на обложку, поморщилась и сказала:

– Мы *такое* не берем.

– Почему? – огорчился Исидор.

– У нас аукцион антикварных книг. Понимаете? А вы что принесли? Прошлого года издания.

– Но видите ли в чем дело… – пустился он в объяснения.

Девушка-эксперт слушала вполуха и явно начала терять терпение.

– Молодой человек, – сказала она, хотя по возрасту была вдвое моложе посетителя, – я вам русским языком говорю: это не к нам.

– А куда? – растерянно спросил он.

– А никуда. Никто у вас *это* на аукцион не возьмет.

– Но всего-то шесть штук на весь мир, понимаете?

– Да хоть бы и одна, – хмыкнула эксперт. – Вы приходите к нам лет через пятьдесят. Тогда ваша книжка хотя бы обретет статус букинистической. Может, кого и заинтересует.

– Пятьдесят лет? – Исидор, от волнения не уловивший иронии, впал в тоску. – Но я ведь не доживу…

– Пожалуй… – юная экспертша явно оценивала шансы «молодого человека» на повторный визит через полвека как невысокие. – Зато, глядишь, потомки ваши эстафету от вас примут. Вот же люди!? Несут и несут дрянь всякую. Аукцион им подавай!

Девушка вместе с креслом демонстративно развернулась к окну, показывая, что разговор окончен.

– Я тогда, наверное, пойду… Извините, – сказал Исидор, торопливо засовывая свой раритет в сумку. Бумажная обложка загнулась, чем, вероятно, непоправимо снизила его и без того невысокую цену.

* * *

Исидор сунулся еще в один аукционный дом, и в другой, и в третий. Пожалуй, даже с худшим результатом. Та с высокой грудью девушка, как он теперь понимал, оказалась на редкость славной. Другие эксперты просто облили его презрением.

Он затосковал. Неожиданная помощь пришла со стороны старинного приятеля, у которого он, кстати, и остановился.

– Слушай, – сказал приятель, – а у меня есть один человечек, вроде бы связанный с аукционами. Дай-ка я ему звякну.

И звякнул, а потом сказал:

– Завтра мы к нему съездим.

Этот аукционный дом отнюдь не относился к элитным и располагался не в центре. Они долго плутали, пока нашли обшарпанное здание, в торце которого висела малоприметная табличка. «Нет, это

не Сотбис», – подумал Исидор, оглядывая захламленную комнатенку, в которую его приятель завел. «Человечек» оказался мужичком средних лет, свойским, подвижным и веселым. Он и был, кажется, навеселе.

– Ну, выкладывайте, чего пожаловали...

Исидор вытащил помятую книжку. Мужичок взглянул на нее и развел руками:

– Нет, ребята, извините, но ничего не выйдет. Это противу правил. Так что и рад бы, да не могу.

В разговор вступил приятель:

– Ты совсем бюрократом заделался. Что значит – не по правилам? Было бы по правилам, мы бы к тебе не обращались. Придумай что-нибудь по-дружески. Вот Исидор специально из Израиля приехал. Выходит, всё зря?

– А, так ты из Израиля? – оживился бюрократ, и взгляд его заметно потеплел. – Бывал я там. Позапрошлым летом на Мертвом море.

– Вот я и говорю, Мертвое море, – подхватил приятель. – Уж ты уважь бывшего земляка, а? А если вдруг выгорит, он тебя не обидит. Не обидишь ведь, верно?

Исидор кивнул.

– Да не выгорит. Нет ни единого шанса. И как можно выставить на аукционе книгу, ценности не представляющую? Меня за такое по головке не погладят, – сказал мужичок, проведя рукой по круглой плеши. – Ладно, позвоню шефу ради дружбы. Он всё равно не разрешит.

Он набрал номер и стал говорить. Исидор пытался угадать по его словам, как реагирует шеф.

– Да не-а, книжка совсем новая. В том-то и прикол, – говорил мужичок.

– …

– Но, с другой сто́роны, считанное число экземпляров в мире существует… Сколько? Щас спрошу. Сколько экземпляров-то? – обратился он к Исидору, зажимая ладонью трубку.

– Шесть.

– Говорит, шесть… Ну да, ну да… Ну кто на нас будет пальцем указывать? Какое посмешище, Валентин Эдуардович? Мы покудова еще не Сотбис… Жалобы? Там сотни лотов, никто и не заметит… Да, можно сказать, что и друг… Нет, не родственник, но близкий… Конечно, под мою ответственность… Коньяк будет, не сомневайтесь… Спасибо огромное, Валентин Эдуардович...

Мужичок повесил трубку и сказал:

– Надо же, разрешил. Но и он говорит, что дело дохлое. Ладно, ближайший аукцион у нас через десять дней.

– Через десять? Так долго? – растерянно спросил Исидор, у которого обратный билет был на послезавтра.

– Так и быть, поживешь у меня еще полторы недели. Я уж потерплю, – сказал приятель. – Надеюсь, и ты меня приютишь, ежели я в Израиль соберусь? На грязи?

– Приютить-то приючу. Вот как бы благоверная нас обоих из дома не погнала.

– А что, Верочка по-прежнему сурова? – внезапно заинтересовался приятель, вспомнив вдруг, что с самого первого дня жена Исидора, тогда еще пребывавшая в статусе невесты, на дух не переносила компанию его дружков. «Эх, где нынче эти дружки?» – с элегической грустью подумал приятель и спросил:

– А помнишь?..

– Ладно, ребята, общим воспоминаниям будете предаваться потом, – перебил его мужичок. – Значит так, во-первых, с тебя коньяк. Во-вторых, книжку оставь. Сколько ты за нее просишь?

Исидор, который планировал продать «пробную» книжку не меньше чем за тридцать тысяч, чтобы хоть частично окупить расходы на поездку, вдруг испугался собственной наглости и, сглотнув слюну, выдавил:

– Двадцать.

– Тысяч? – удивился мужичок. – Да ты что?! Это нелепая какая-то цена.

– Тогда десять.

– Тоже несуразная. Никто не купит. Тем более, смотри, книжка вся помята. Скинь еще.

– Нет, ниже скидывать – себя не уважать.

– Как хочешь, хозяин – барин, – недовольно покачал головой мужичок. – Зря только десять дней пропадут. Всё равно никто не купит.

– Ну и пусть, – упрямо повторил Исидор.

– А даже если бы купили. Хоть все шесть книг. Это бы на круг вышло шестьдесят тысяч. То есть, тыща долларов. Тоже мне, авантюра называется. Ты тот еще гешефтмахер, как я погляжу. Ладно, вот тебе адрес. Где аукцион пройдет. Меня там не будет, так что ты уж сам. Запомни, номер твоего лота 171. И, считай, тебе еще дико повезло. Чтобы макулатуру да на торги. Где такое видано?

* * *

Вот так Исидор попал на аукцион и бродил вокруг да около в сильном волнении. Наконец, раздался гонг, означающий, что торги начинаются. «Сейчас, сейчас всё решится. Пан или пропал!» – поду-

мал он, пристроившись с краю на одном из пустующих рядов и тщетно пытаясь унять бившую его крупную дрожь. Он уставился на аукциониста в лоснящемся фраке, дивясь скорости, с которой тот произносил слова. На каждый лот в среднем уходило чуть больше полминуты. Когда кто-то из покупателей выражал готовность приобрести книжку, он громко стучал молотком, кстати, точно таким же, какой привиделся Исидору во сне, – из магазина игрушек. Но аукцион шел вяло. Большая часть лотов снималась по причине отсутствия у публики интереса. Единственный раз возникло что-то вроде торга за прижизненное издание «Истории Государства Российского» Карамзина. Первоначальная цена книги была 15, а ушла она за 27 тысяч рублей. «Так то Карамзин…» – вздохнул Исидор и, кажется, отключился на время. Но будто что-то его толкнуло, и он проснулся, когда последовательно с торгов были сняты лоты 169 и 170. «Лот номер 171, – провозгласил заскучавший к тому времени лицитатор. – Стартовая цена 10 тысяч рублей». – «Сколько-сколько?» – раздался откуда-то сзади язвительный голос. – «Десять тысяч...» – «Это за книжку прошлого года издания? Может, автор граф Толстой? И книжка с его автографом?» – «Возмутительно! Тоже мне аукцион!» – послышались голоса с разных мест. – «Но, господа, тут записано, что в мире сохранилось всего шесть экземпляров. Остальной тираж уничтожен», – попытался объясниться смятенный лицитатор. В ответ раздался зычный бас мужчины, сидевшего позади: «Ну, ежели шесть экземпляров, то я, пожалуй, и купил бы книжонку. Тыщи за две я готов». – «Если в зале присутствует продавец, то прошу откликнуться. Устраивает ли вас предложенная цена? – чуть приободрился аукционист. – Лично я бы вам настоятельно рекомендовал согласиться.»

Исидор при этих словах резко и отрицательно дернул шеей справа налево (в точности как Донатас Банионис в фильме «Никто не хотел умирать»). Но, не желая обнаружить своего присутствия, промолчал. «Что ж, лот 171 снимается с торгов», – произнес аукционист.

На следующий день единственный обладатель шести никому не нужных книжек отбыл в Израиль. Он и предположить тогда не мог, что славная девушка-эксперт с высокой грудью была права, и эта история получит продолжение. И гораздо раньше, чем через пятьдесят лет.

* * *

Но что же это за книга, с помощью которой Исидор надеялся разбогатеть? И как все шесть последних экземпляров оказались в его владении? Да и что представляет собой Исидор?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам, дорогой читатель, придет-

ся совершить прыжок в относительно недалекое прошлое. А потом мы прыгнем в обратном направлении – в будущее, чтобы узнать, чем же завершилась эта удивительная история.

Что ж, присмотримся! Хотя это будет нелегко. Исидор раньше и сейчас – это два совсем разных человека. Трудно в это поверить, но его когда-то называли человек-праздник. И не зря называли. Шутник, затейник и балагур. Где подурачиться, там он всегда первый. Друзья его любили. И девушки тож. А он их. Не случайно отхватил в свое время «першую красавицу» их компании – тоже умницу и затейницу. Она и стала его женой. Да-а! Но это когда было? И куда всё подевалось? Потускнел Исидор, спекся, потух. Ни шутки от него не дождешься, ни чего другого. И на женщин, почита что и не глядит. Только под ноги. «Эх, старый хрен, во что ты превратился?» – спрашивал он себя и мысленно сплевывал, если вдруг натыкался на зеркало.

От былого блеска не осталось и следа. Вернее, след остался в виде нескольких речевых формул. Например, на вопрос, что он будет есть, Исидор отвечал: «Много и вкусно». Если его о чем-нибудь просили, он обычно соглашался, но обязательно добавлял: «За небольшое, но щедрое вознаграждение». Эти фразы взяли на вооружение и его друзья и во время застолий только и слышалось: «Много и вкусно», «А дайте-ка мне этого сору» (Исидор произносил слово «сыр» так, что получалось нечто среднее между сором, сёром и сэром). Еще он любил ставить ударение в неправильном месте, используя в качестве образца «пóртфель» или «осу̀жденный». Он даже придумал целую теорию, что неправильные ударения способствуют обновлению языка, и поминал всуе «словотворчество». Бред, конечно. Но друзья со смехом повторяли следом за ним: «Да куда ты *пóшла* на ночь глядя? Ложись, *отдóхнем*...» Словом, не речь, а ад *крóмешный*.

Жена не одобряла его нелепую привычку и называла ее словопорчеством. Но за долгие годы супружества сама невольно заразилась ею и говорила, выходя из дома или, напротив. заходя в него: «Всё. Я *у̀шлая*» или «Я *при́шлая*». Исидор продолжает по старой памяти коверкать слова, но всё чаще, особенно со стороны людей малознакомых, это воспринимается не как в меру потешное оригинальничанье, а как несомненный признак приближающегося маразма.

Кстати, он не только русский, но и иврит умудрялся искажать «в поисках новых смыслов». Так, вместо вопроса «Ма шаа?» (который час) спрашивал «Ма Шоа?» Звучало это кощунственно, так что люди на улице отпрядывали и норовили перейти на другую сторону. Оно и понятно, ибо Шоа на иврите означает Холокост. Но, в сущности, этот вопрос как нельзя лучше выражал душевное состояние моего героя.

* * *

Исидор с детства подгонял время. Когда по телевизору должны были показывать футбол с участием его любимого «Динамо», он уже за два часа в нетерпении поглядывал на часы, словно пытался усилием воли заставить стрелки бежать быстрее. А когда после долгих уговоров его удавалось усадить «за инструмент» хотя бы на час (он ведь учился играть на пианино), уже не усилием воли, а собственными руками он переводил часы на четверть часа вперед, чтобы пытка скорее кончилась. И так всю жизнь. Например, в восьмом классе поступил он в знаменитую школу «для гениев», но проучился в ней только год. Ибо его вдруг осенила идея – перепрыгнуть девятый класс и на том сэкономить время. Зачем? Ну как же! Во-первых, на год раньше стать студентом, это же круто. А, во-вторых, если закончишь школу с медалью (а в обычной школе, рассуждал Исидор, медаль получить – плевое дело, не то что в математической), то на вступительных экзаменах тебе положена льгота. Сдай нормально один экзамен – и ты студент. А это архиважно, ибо абитуриентов исидоровой национальности советские ВУЗы брать не спешили. Он так и сделал – легко перепрыгнул через класс и шел на медаль. Но как всегда – не получилось. И из-за чего? Из-за черчения! Чертежника уж кто только не просил – и завуч за Исидора ходатайствовала, и сама директриса просила четверку поставить. Но шибко принципиальный чертежник (от слова чёрт) остался непоколебим. И что в итоге из блестящего плана вышло? В университете его «зарезали». Пришлось идти в какой-то невнятный вуз. Поступить-то он поступил, но на втором курсе бросил. Потом восстановился, но снова бросил. Брал академический. Диплом Исидор в конце концов получил, но на три года позже своих сверстников. Такая, понимаешь, вышла экономия! Свою профессию Исидор любил примерно так же, как пианино в детстве, и по специальности почти не работал. И так во всем – любые попытки обмануть время обходились ему «себе дороже»…

Правда, помимо сиюминутных планов имелись и долгоиграющие. С тех пор как себя помнил, Исидор желал двух вещей. Во-первых, разбогатеть. Да, мечта не оригинальная, но нельзя сказать, что уж вовсе беспочвенная. Когда грянула перестройка, Исидор начал свое бодрое шествие к миллиону. Мудрые китайцы говорят: путь длиною в тысячу ли начинается с первого шага. Вот этот первый шаг Исидор тогда сделал. Оставалось совсем немного – 999 ли. Но их-то он сделать не успел, ибо отбыл на свою историческую родину, в Израиль. Он полагал (как вскоре выяснилось – ошибочно), что если уж в России, где всё и вся – против тебя, сумел кое-чего достичь, то уж в *своей* стране он может дерзнуть и на большее. Он, конечно,

отбыл бы туда лет этак на 15 раньше, как сделали некоторые из его друзей и знакомых. Но поступить так Исидору не позволяла его вторая мечта, куда более важная.

Дело в том, что сызмальства он хотел стать великим поэтом. А для этого надобно оставаться в стихии русского языка (другими Исидор не владел). С дрожью в голосе говорил он тогда, что язык и есть его истинная Родина. Ну и как покинуть такую родину? Да никак. Вот он и оставался в той географической зоне, где язык, на котором он творил, имел наибольшее хождение. И, опять же, нельзя сказать, что эта вторая и главная мечта так уж оригинальна. Сотни тысяч желают того же. У кого-то – у ничтожной горстки счастливцев – получается стать писателями, если и не великими, так признанными (он лично был знаком с двумя из них). А подавляющее большинство либо продолжает строгать свои нетленки, и их презрительно кличут графоманами, либо берутся за ум и начинают заниматься чем-то другим. Например, ловлей синиц и их последующей продажей.

Был ли Исидор графоманом? Он так не считал. Но в этом деле мнение самого творца обычно не учитывается, а все решает *vox póputi*, то бишь, читателя в самом что ни на есть широком смысле (включая и *vox Déi*). И вот что обидно – с этой мечтой вышла история, похожая на мечту под номером раз – тоже ведь одно время что-то наклевывалось. Стихи его многим нравились. И первый свой шаг на этой стезе он сделал. Но и тут оставалось еще 999 ли. Он бы, пожалуй, ковылял по этой дороге и дальше, но, будучи человеком увлекающимся, долго бить в одну точку не мог. Что называется, разбрасывался. А Аполлон такого к себе отношения не терпит. Вот и случилось, что Муза окончательно покинула Исидора, и лира его безнадежно смолкла.

Он еще какое-то время надеялся, что рано или поздно «его прорвет», но – увы. Теперь аргумент о стихии языка как родине, которую никак нельзя покинуть, утратил актуальность. Вот тогда-то он и принял решение сменить одну шестую часть суши на пять шестых. Что и случилось летом одна тысяча девятьсот девяностого года. Того памятного года, когда ежедневно на историческую родину прибывало чуть ли не по десять тысяч таких Исидоров и Айседор, охваченных единым порывом, как стадо антилоп, спасающихся от льва. Или, что точнее, как тысячи леммингов, сбившихся по неведомой причине в кучу и следующих в избранном направлении, чтобы где-то там за горизонтом плюхнуться вместе с другими ошалевшими зверьками в теплую, как бульон, воду Средиземного моря.

Впрочем, Исидор был преисполнен надежд. Тем паче, что в Израиле у него случилась минута славы. Русские Исидоры, ужаснув-

шись бескультурью, царящему в глухой провинции у четырех морей, стали организовывать в Израиле культурные вечера, где знакомились с творчеством ранее совершенно им неведомых авторов. Исидор был активно приглашаем и даже имел успех. Приглашаем-то он был активно, но написал к тому моменту немного. Отсюда и неизбежные повторы программы, так что вскоре все понаехавшие в Израиль любители изящной словесности основной корпус его произведений знали чуть ли не наизусть. Да и сам он решил, что негоже появляться на таких сборищах исключительно со старым багажом. Он еще надеялся, что на новом месте певческий дар к нему вернется. Тем более, что один известный поэт из старожилов, обладатель на редкость зычного и убедительного баса, за что получил прозвище «иерихонская труба», заверил его, что все творцы, ступившие на Землю Обетованную, начинают писать на порядок лучше, чем раньше. Исидор в это уверовал и какое-то время ждал, когда же, ну когда сбудется пророчество «иерихонской трубы»?

В ожидании будущих шедевров он отстранился от кипевшей вокруг культурной жизни. Некоторое время его еще приглашали, потом приглашать перестали, а вскоре и вовсе забыли. Что ж, приходилось принять как факт, что с мечтой о писательстве не получилось, и от нее пора отказаться.

Оставалась еще надежда обрести свой первый, а там, глядишь, второй и третий миллион. Среди ошалевших эмигрантов и в этой сфере кипела жизнь. Они толпами пускались в разные авантюры. Кто пытался экспортировать на бывшую родину те немногие предметы из Израиля, которые там котировались, как то грязь Мертвого моря или пузырьки, наполненные воздухом из храма Гроба Господня. Кто открывал магазины, где продавались грибочки, икра баклажанная, колбаса докторская, свиные сардельки и «паленая», зато дешевая, водка. Словом, снедь, к которой навеки прикипели сердца новоприбывших. Исидору эта мышиная возня претила. Нет, уж если заниматься бизнесом, то по-крупному и на научной основе. Взор его пал на местную биржу. Он внимательно прочитал немногие переведенные на русский язык брошюрки об этой институции и решил, что достаточно подготовлен для вступления в рискованную, но сулившую море дивидендов игру. Новоявленный биржевой спекулянт самолично разработал несколько методов, гарантирующих неминуемый успех. Но то ли ему не везло, то ли не вся нужная информация оказалась ему доступна. Словом, вместо ожидавшихся миллионов вкупе с бескрылой, но приятной жизнью Исидор оказался на грани нищеты. А пожалуй, что и за гранью.

* * *

Через три года после прибытия в Израиль пришлось признать, что никаких надежд на изменение плачевного положения нет. И не предвидится. Тогда он и душа его впали в спячку. Говоря же ученым языком, его скрутила глубокая депрессия. Специалисты не дадут соврать – пребывать долгое время в этом состоянии для человека мучительно. Неудивительно, что мысль о самоубийстве как универсальном способе решить все проблемы многажды посещала Исидора. Но он не поддался соблазну. То ли по причине своего жизнелюбия, то ли (и это, пожалуй, ближе к истине) потому, что не желал доставить дополнительные огорчения своей жене и дочери. Он и так вверг их в состояние нищеты и отчаяния. А улизнуть в мир иной, оставив их совсем одних на чужбине, было бы и вовсе нечестно. Хотя еще неизвестно, так ли уж горевала бы супруга? Раньше она безоговорочно верила в него и в его предназначение. Но в последние годы со всё большим и плохо скрываемым сомнением относилась и к нему, и к его время от времени возникавшим планам и идеям. До отъезда он этими идеями буквально фонтанировал. Теперь это был не фонтан, а редкие капли из крана, которые еще капают, хотя воду уже отключили. Более того, жена словно стремилась своим скептицизмом побыстрее загасить эти всё реже возникавшие порывы, как угольки от непогашенной сигареты, чреватой лишь новыми бедами. «Что ж ты мне последние крылья обрезаешь?» – упрекал он ее, но понимал при этом, что давно превратился в обузу, и она, возможно, совсем бы не прочь эту обузу сбросить. Не зря же говорят: если сломал собственную жизнь, ничего не остается, как портить жизнь своим близким. Вот этим он, похоже, и занимается.

Дочка, правда, – дело другое. Она росла в убеждении, что он-то и есть тот герой, с кого и надобно «делать жизнь». Увы, в последнее время этот его образ всё сильнее подвергается эрозии, и это доставляло ему наибольшие страдания. Да и самое сильное чувство вины он испытывал именно из-за нее.

Дочка, впрочем, давно вышла замуж за хорошего человека и жила своим домом, воспитывая двух очаровательных крошек.

* * *

Но внезапно случилось чудо. Однажды, перебирая свои бумаги, Исидор наткнулся на лет двадцать назад начатый и недописанный рассказик. Недописанный по той причине, что, числя себя поэтом, он дожидался прилива вдохновения. Так и не дождался. И вот теперь решил рассказик закончить, пусть и без вдохновения. Так сказать, от нечего делать.

Только корпя над рассказом, Исидор осознал, какая бездна отделяет его нынешнего от того юнца, который намеревался стать великим писателем. Если раньше он записывал свои стихи и редкие прозаические наброски шариковой ручкой в специально для этих целей предназначенной амбарной книге, то теперь неловко орудовал клавиатурой компьютера. Иными словами, за это время сменился сам способ производства текста, думал Исидор, смутно поминая Маркса. Особой радости осознание сего факта ему не доставило. Тем не менее, рассказ был дописан. Так и возник первый в его жизни завершенный прозаический текст. «А чего, неплохо я когда-то писал», – подумал он, с грустью вздохнув. Оценивать концовку, которую он сработал часа за три, Исидор не мог да и не хотел. «Какая разница – хорошо или плохо? Мир потрясти я уже не рассчитываю.» Тут он к месту вспомнил пушкинскую строку и добавил: «Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить». Впрочем, не удержался и вечером показал рассказ жене, не без смущения и как бы между прочим ее предуведомив: «Кстати, я старый свой рассказик закончил. Хочешь посмотреть?» Жена удивилась и как-то неопределенно ответила: «Отчего не посмотреть? Посмотрю, но попозже...» «Эх, – огорченно подумал он, – не верит в меня.»

Впрочем, вечером, пока он был занят просматриванием какого-то футбольного матча (ныне его основное занятие), жена все-таки рассказ прочитала.

– Ну как? – спросил Исидор безразличным тоном, хотя волновался страшно.

И тут жена его приятно удивила:

– Знаешь, мне понравилось. Я даже… всплакнула в конце.

– Да-а-а?

– Ага, правда. Можешь же, я всегда тебе говорила. Пиши исчо…

– Да какой там «исчо»! Поезд давно ушел, – грустно сказал он.

– И ничего не ушел.

– Да нелепость это, вдруг возобновить, когда на ладан дышишь.

– И ничего не на ладан, – возразила жена, которая в последние годы в разговорах с супругом использовала преимущественно прием эхолалии.

– Это еще более смешно и унизительно, чем пять лет просидеть в первом классе.

– И ничего не пять лет, – зеркально ответила жена. Но потом, видимо, спохватилась и, будучи женщиной интеллигентной, добавила: – Нам не дано предугадать…

Похоже, жена и вправду была довольна. Исидор в тот же вечер получил возможность в этом убедиться, ибо, когда они улеглись, он

после долгих колебаний решился как бы невзначай тронуть ее за плечо, а она в ответ на этот робкий сигнал, вместо того чтобы привычно отвернуться, вдруг засопела, и супруг нежданно-негаданно получил доступ к ее телу. Он уже и не помнил, когда это случалось в последний раз.

* * *

Наутро Исидор проснулся ни свет ни заря и, вдохновленный вчерашним успехом, засел за компьютер. Пусть голова его была пуста и в нее не приходила даже самая завалящая идея, пусть не получалось связать отдельные слова в какое-либо осмысленное предложение, но он твердо решил следовать рекомендациям Хемингуэя и выдавать обозначенную тем ежедневную писательскую норму в тысячу слов. О, это было мучительно! Его существо восставало против такого насилия над собственной музой. Как?! Он, поэт, пусть и в прошлом, уподобится железнозадому прозаику и начнет выдавливать из себя случайные слова?! И, тем не менее, Исидор продолжал тюкать пальцем по клавишам, пока, наконец, часа через два, сам того не заметив, увлекся сочинением чего-то наподобие сказки в духе ранних Стругацких. Дело пошло веселее и, когда жена отогнала его от компьютера, чтобы заняться бессмысленным просмотром случайных постов в фейсбуке, он с удовлетворением отметил, что перевыполнил норму Хэма вдвое. Он даже не стал перечитывать написанное, дабы не убедиться в том, что сегодняшний «урок» представлял собою графоманскую ахинею. Он мучился и мучил эту сказку еще два дня, пока ее не добил. Только тогда перечитал. И снова ничего не мог сказать о достоинствах и недостатках выдавленного из себя текста. «И прекрасно, – вновь повторил он про себя. – Никаких амбиций. Хорошо ли, плохо ли, – главное, что я хоть что-то делаю.» У него даже родилась такая максима: *Творчество – это процесс внесения смысла в жизнь автора, а если повезет – то и читателя. Иными словами, превращение существования в Бытие.*

Хорошо сказано! Но напыщенно. Нет, не Ларошфуко. Но имена других авторов крылатых афоризмов в голову не приходили. Ладно, пусть будет Ларошфуко. Исидор даже записал свое изречение, открыв специальный файл, названный им для конспирации «Опавшие листья». Впрочем, делиться даже с женой этой фразой не стал. Ведь засмеет же. Как пить дать, засмеет. Сказку, впрочем, показал. Оказывается, даже при отсутствии амбиций все-таки абсолютно обойтись без читателя (пусть и единственного) невозможно.

Жене вроде бы снова понравилось. Она сказала, что неплохо бы написать несколько таких сказок, и тогда получится цикл.

Сочинитель, не избалованный за последнюю четверть века даже самыми скромными похвалами, принялся за работу.

Ни он, ни жена и предположить не могли, что так, тихими шажками, к Исидору приближается его запоздалая Болдинская осень.

Вскорости он написал еще две сказки. И тоже – не было бы счастья, да несчастье помогло. Исидор в очередной раз был уволен с временной работы и привычно (ибо не впервой) обратился на биржу труда. Работы это учреждение даже в лучшие годы никому не предлагало, но исправно выплачивало смехотворное пособие. Всё лучше, чем ничего! Правда, надо было раз в неделю приходить туда и отмечаться, отстояв очередь. Зато все остальные дни Исидор испытывал почти такое же чувство свободы, как в детстве, когда заболеваешь или просто прогуливаешь уроки. И ничто не мешало отдаться творческому процессу, превращая существование в Бытие.

Жена честно прочитывала всё им написанное, но ее оценок сочинителю вскоре стало мало. Он показал рассказ и сказки трем из своих оставшихся от лучших времен приятелей. «Вот, сподобился вдруг», – говорил он, от смущения подхихикивая.

Реакция приятелей оказалась смешанной. Уже упоминавшийся ранее обладатель убедительного баса, который «иерихонская труба», тексты одобрил. Но не столько их качество (об этом он умолчал), сколько сам факт написания. Зато другой, не имевший, впрочем, никакого отношения к изящной словесности, человек прямой и грубый, заявил без обиняков, что лучше Исидору искать себя в жанре научпопа. Третий читатель, всегда избегающий сколько-нибудь ясных формулировок, высказался в том духе, что всякое творчество есть благо, сославшись при этом на блаженного Августина.

Исидор после столь сдержанной реакции ощутил укол уязвленного самолюбия, но свои опыты не прекратил. Напротив, почувствовал позыв к большой форме. И тут ему попался отзыв на книгу, покорившую мир. Речь шла о знаменитом эротическом романе «Пятьдесят оттенков серого». Как можно было понять из статьи, реакция профессиональных критиков на произведение юной Эрики Джеймс оказалась столь же сдержанной, как и отзывы приятелей на его собственные труды. Но какое значение имеет реакция высоколобых, если в первый же год по всему миру было раскуплено аж 120 миллионов экземпляров книги? «120 миллионов! Это ж надо!» – восклицал он про себя. Тут и возникла идея – повторить подвиг Эрики. «Ну, пусть не 120, пусть только один миллион – ведь и это куча денег…» – повторял он, помимо собственной воли возвращаясь к своей мечте номер раз. Способности к стилизации у него когда-то имелись. Так за чем же дело стало? Отчего бы не написать эротиче-

ский роман? Тема интересная. А несерьезность идеи даже может стать подспорьем. Не будет этой, как ее, гипермотивации… Правда, Исидор ничего, кроме набоковской «Лолиты», в этом жанре не читал. Ну, так что? Почитаю, а потом воспроизведу. Получится даже не стилизация, а тонкая пародия, взгляду простого читателя незаметная, но заставляющая одобрительно хмыкать читателя непростого. Конечно, надо придумать псевдоним, желательно со звучным женским именем. Не под своим же такое печатать?!

Но сперва надо ознакомиться с «Оттенками серого». Исидор нашел роман в интернете и чуть ли не с урчанием набросился на него. Впрочем, урчал он недолго. Знаменитая книга не впечатляла и, едва одолев полсотни страниц, он отбросил бестселлер навсегда. «Что ж, тем лучше! Уж спародировать такое, даже не читая, я как-нибудь сумею? И, глядишь, первый миллион в кармане!»

Эх, все-таки мой герой – очень наивный человек. Несмотря на почтенный возраст, ему не пришла в голову элементарная мысль, что успех в этом специфическом жанре – это лотерея, главный приз в которой уже получен той самой Эрикой. А потому, хоть ты убейся, пиши хоть в сто раз лучше и интереснее, второго выигрышного билета не вытащить. Впрочем, собственная наивность нисколько не помешала Исидору отдаться стихии эротического романа, а скорее, даже наоборот. Он с самого начала знал, что главную героиню будут звать Марго. Стало быть, и имя авторши романа определилось – Маргарита. Фамилию он пока не придумал. Подражать Эрике Джеймс было ниже его достоинства. А не спародировать ли «Лолиту»? Да, да, именно! Чтобы не блестящий и остроумнейший педофил Гумберт описывал тончайшие движения своей многогранной души, а маленькая и заведомо глупенькая девчонка безыскусно поведала о своих переживаниях в связи с расцветшей, но грубо поруганной чувственностью.

Вначале дело шло со скрипом и с ошибками, неизбежными для начинающего автора. Кроме того, у него всё выходила полная порнуха. Жене такое не покажешь. Исидор знал ее неистребимое ханжество и легко мог спрогнозировать неизбежную реакцию. Скажет: «Какая грязь!», подожмет губы и больше ни одной страницы не прочтет. Хоть ты лопни! А он нуждается в читателе хотя бы ради пресловутой обратной связи, без которой черт-те куда зайдешь. Пришлось многократно переделывать первую сотню страниц, устраняя излишние физиологизмы и прочие чисто мужские смакования подробностей. В конце концов, не без внутреннего трепета он решился показать супруге избранные места – самые что ни на есть безобидные. Она

прочла и сказала только: «Живенько!» Что ж, и это больше, чем он то, на что он рассчитывал.

Исидор к этому времени расписался вовсю и выдавал на-гора ежедневно по пять-шесть страниц, а иногда и все десять. А жена всё это читала, стоически преодолевая описания разных этапов совращения героини ее школьным учителем. Стерпела она и эпизод лесбийской любви, и более чем откровенное описание минета, лишь повторяя свое «Живенько». «Эх, развращаю я жинку», – думал он, испытывая при этом смешанные чувства – огорчение и удовольствие одновременно.

Иногда он спрашивал:

– Как ты думаешь, не слишком ли того?.. Не чересчур ли, э-э… смачно выходит?

– И ничего не смачно… – отвечала жена. – Ты, главное, пиши. А дальше посмотрим…

Маленьким триумфом для Исидора стал момент, когда жена приступила к чтению сцены изнасилования, выписанной даже на вкус самого автора с чрезмерной натуралистичностью. Она вдруг выскочила из комнаты, где стоял компьютер, на кухню и разразилась то ли смехом, то ли рыданиями (пожалуй, и то, и другое вместе). Словом, с ней случилась форменная истерика. Исидор поначалу даже испугался. Но она снова кинулась читать эту сцену, периодически разражаясь не вполне адекватным смехом. Наблюдать эту ее неожиданную реакцию было в высшей степени лестно.

К этому моменту Исидор подобрал и фамилию для псевдоавторши и героини. Отныне их будут величать не иначе как Маргарита Минина. Имя звучное, красивое, с отсылкой к русской истории. А кроме того, на иврите слово «мин» означает пол. Стало быть, фамилию Минина можно перевести как Половая. «Что ж, была в русской литературе Любовь Яровая, а теперь будет еще любовь половая», – цинично хихикал он про себя.

В ходе многократных правок из текста были устранены любые следы пародии и даже стилизации. Теперь Исидор был по-настоящему захвачен судьбой своей героини. И, можно сказать, прикипел к ней сердцем. А еще больше прикипел к ее подруге Эльке. Та, действительно, получалась очень обаятельной. Вначале он и помыслить не мог, что с ней по ходу романа произойдет что-нибудь неприятное. Хотя немалый опыт в чтении и просмотре разнообразных фильмов должен был ему подсказать, что близкие подруги героинь (равно как близкие друзья героев) обычно плохо кончают. Именно это и случилось с бедной подружкой – в третьей части романа она выбрасывается из окна. Ужасная смерть!

Но не будем отвлекаться. В немыслимо короткий срок – два с небольшим месяца –эротический роман в шестьсот страниц был завершен. Еще более поразительно, что Исидор, выдумывая из головы, предвосхитил в своей эпопее несколько громких скандалов, потрясших российскую, да и мировую, общественность. Одним словом, создавалось впечатление, что у автора открылся дар заглядывать в будущее и чуть ли не с репортерской дотошностью описывать вплоть до деталей события, которые вскоре всколыхнут выше упомянутую прогрессивную общественность. Судите сами: не успел наш автор вывести в своем романе некоего гениального маньяка-психотерапевта, применяющего в своей практике не совсем, скажем так, конвенциональные методы, как вспыхнул громкий скандал в связи с реальным психиатром, словно списавшим свои приемчики из Исидорова романа. А став достоянием гласности, приемы эти повергли в шок почтенную публику. Но и проделки маньяка-психиатра меркнут по сравнению с придуманным и описанным в книге педофильским вертепом в престижном лицее. Эта часть романа так и была названа – «Вертеп». Исидор мучился мыслью, что страницы, посвященные школе, выглядят, мягко говоря, неправдоподобно и будут расценены будущими читателями как сексуальный бред автора, окончательно утерявшего связь с реальностью. И вот вам, пожалуйста, – через месяц вспыхнул грандиозный скандал в связи с раскрытием такого вертепа. И именно что в знаменитой столичной школе. Сбылось пророчество!

Но то всё дела российские. А вот и в самой Америке началась охота на ведьм (вернее, на ведьмаков). Сначала к позорному столбу приковали знаменитого продюсера, а затем и лучших голливудских актеров. Они, оказывается, на заре туманной юности занимались непозволительным харассментом по отношению к коллегшам по работе. Оказалось, что голливудские дивы десятки лет терпели эти домогательства, тая в израненной душе невыносимые страдания. Но и ангельскому терпению приходит конец, и они больше не могли молчать!

Глядя на все эти предвосхищенные в книжке события и скандалы, Исидор мысленно потирал руки. Он уже предвкушал, какую сенсацию, какой эффект разорвавшейся бомбы произведет его шедевр, если только выйдет в свет. Вот эта оговорка – насчет «если только выйдет в свет» – и представлялась нашему сочинителю единственной, но, увы, неразрешимой проблемой. Он понимал, что ни один журнал и ни одно издательство не напечатает роман абсолютно безвестной авторши, каким бы скандальным он ни был.

«Что же делать?» – вопрошал себя и жену Исидор, готовый

впасть в отчаянье. Но фортуна, похоже, ему благоприятствовала, и ветер удачи надувал его паруса. В интернете он случайно увидел рекламу нового издательства Litero. Оно предлагало любому автору опубликовать в нем свой опус за сущие копейки. А то и бесплатно, если автор готов самостоятельно вычитать свой текст и подобрать подходящую обложку. Естественно, он был готов. И в тот же вечер поведал жене, что проблема с изданием, похоже, решена.

– Представляешь, какая лепота?! – восхищенно восклицал он, готовый пропеть гимн во славу новейших издательских технологий.

– И ничего не лепота, – в привычной для себя манере ответила жена. – Даже если всё так, как они обещают, ты представляешь, сколько народу туда ломанулось? А в графоманском океане твоя Марго потонет без следа.

Она была права, но очень уж не хотелось с ней соглашаться, а потому он с жаром возразил:

– Ты не понимаешь! Конечно, хорошо было бы ее раскрутить, но не суть важно. Пусть для начала прочтет один, второй, десятый… А там уж включится «сарафанное радио». Мол, сенсация! Наверняка среди читателей окажется какой-нибудь критик. Вон их сколько нынче бродит – целая армия. А тут такой шанс! Открыть миру доселе неизвестного автора, а вернее, нового Нострадамуса, потрясающего не только скандальностью, но и предсказаниями, которые сбываются. Вот напишет такой критик рецензию, и всё. Как говорится, не проходите мимо! Такие круги по воде пойдут, такая буря поднимется, что мама не горюй!..

– И никакая буря не поднимется, и никаких рецензий не появится, – упрямо твердила жена. – Впрочем, если они не врут, что можно бесплатно, делай как знаешь. Только потом не хнычь. И учти, денег я на это не дам.

– Да сущие же копейки! – запричитал Исидор.

– И копейки не дам!

На следующий день он стал вникать в тонкости организации работы Litero. И чем больше вникал, тем больше ему нравилось. Да, автор мог всё сделать своими руками. Сам себе корректор, редактор и оформитель. Потом, когда книга доведена до возможного совершенства, текст отправляется на модерацию с целью проверки на соответствие содержания законам Государства Российского. И если модерация прошла успешно, то через несколько дней книга поступала в магазины, где любой желающий мог купить ее в электронном виде. Мог и в бумажном, но это стоило дороже. Было понятно, что ни один человек (разве что сам автор) в здравом уме покупать бумажный

экземпляр не станет. Мало того, что публикация не стоила творцу ни копейки, он еще получал за каждый проданный экземпляр «авторские». В общем, всё выглядело идеально.

Исидор с рвением приступил к работе. Кроме редакторских и корректорских функций, он должен был еще найти иллюстрацию для обложки. В поисках подходящей просмотрел сотни, если не тысячи картинок. Но всё было не то, не то, не то. И вдруг... Он даже вздрогнул, когда увидел это изображение красивой, но изгвазданной грязью куклы, смотревшей на него глазами разной величины, поскольку один из них открывался не до конца. И такие в этом взгляде чудились Исидору тоска, боль и отчаянье, что в нем отражался глубинный смысл всей книги. Лучшей иллюстрации было не найти!

* * *

После многочисленных «вылизываний» книжка была готова. И он с волнением нажал соответствующую кнопку, отправляя роман на модерацию.

Через несколько дней пришло письмо из издательства с неприятным сюрпризом. Модерацию книга не прошла, ибо «эротические сцены с участием подростков противоречат законам Российской Федерации». В письме указывалось, что в таких сценах не возбраняется участвовать лишь лицам, достигшим на момент описываемых событий «возраста согласия», то бишь 16 лет. Обойти этот запрет, обусловленный заботой о нравственной чистоте читателя, никак нельзя. Поэтому автору рекомендовалось привести возраст героини в строгое соответствие с законодательством.

Сначала Исидор оторопел. Значит, в жизни можно, а в книге нельзя? Потом возмутился столь грубым посягательством законодательства на свободу творчества.

– А что, если бы этим, с позволения сказать, законодателям пришло в голову установить «возраст согласия» в двадцать, а то и в тридцать лет? С них же станется… – жаловался он жене. – Так можно дойти до полного *абсурда*. Просто смешно.

– И ничего не смешно, – зеркально отпарировала жена. – Я, если ты помнишь, невинности лишилась в 24. И ничего, жива…

– Да как ты не понимаешь! – кипятился Исидор. – При чем здесь ты! Я же *вижу* Марго четырнадцатилетней. И что мне с этим делать? Превращать юную нимфетку в 16-летнюю кобылу? Переводить ее из восьмого в десятый класс? Весь образ рассыпается. Да и вообще, если верить Набокову (а с чего бы ему не верить?), 16 лет – это для нимфеток глубокая старость. Кто из *педо́филов* всех мастей станет такую соблазнять? Нет, всё пропало!

Уязвленный автор забегал по комнате, в отчаянии заламывая руки.

– И ничего не пропало, – невозмутимо ответствовала жена. – Так даже лучше. Я тебе не хотела говорить, но мне тоже столь юный возраст героини претит. У нее же формы – грудь там и прочее – еще толком не сформировались. А тут будет девица в самом соку.

«Вот дура-то!» – воскликнул Исидор про себя. А вслух сказал только:

– Ну, это тебе, мать, только кажется…

– И ничего не кажется. Так и есть.

Продолжать дискуссию было бессмысленно. И вообще, делать нечего – пришлось приводить текст в соответствие с законодательством. Исидор, понимая, что безнадежно его портит, всё же приступил к переделке. И юная трепетная нимфетка превратилась в великовозрастную корову. О, какая это была мука! Понять ее дано лишь подлинному творцу.

Однако же повторная модерация прошла успешно, и через несколько дней эротический роман «Марго и демиург» начинающей писательницы Мининой появился в магазинах.

Первые сведения о числе проданных книг из разных магазинов должны были поступить через месяц. Всё это время он беспрерывно гадал, сколько же книг купят. Нет, едва ли больше ста. Хотя втайне в голове крутились совсем другие цифры. «А вдруг тысяча? А вдруг и больше?» – его сердце сладко замирало. Вот это будет успех!

– Но и сто неплохо для начала. Так ведь? – говорил он жене.

– И ничего не сто, – отвечала она. – Штук пятьдесят максимум.

Жена была ближе к истине. Но сама истина, увы, отстояла очень далеко даже от ее прогнозов. Не пятьдесят, а шесть не хотите ли?! И то три из них были куплены знакомыми по личной просьбе автора. Понятно, что все они были в электронной версии. К такому удару он готов не был.

– Может, еще не успели? Может, еще расчухаются? Подождать надо месяц-другой, – обращался он к жене в тщетной надежде обрести поддержку.

– И ничего не расчухаются. Ишь, размечтался. Ладно, не расстраивайся. Лучше вот мусор вынеси...

И точно, не расчухались. В следующем месяце было продано 4 экземпляра, еще через месяц – три. Вот на этой скорбной чертовой дюжине число продаж и застыло. Ноль, ноль, ноль – бесстрастно сообщал Исидору лишенный сантиментов счетчик продаж в последующие месяцы. «Да, – с грустью повторял он, – никакого, бля, просвета!»

Впрочем, однажды просвет вроде бы появился. А дело было так. Один из приятелей подсунул парочку его рассказиков, те, что в духе ранних Стругацких, своему знакомому – известному автору научной фантастики для юношества. Публиковал он свои произведения под говорящим именем Пестель, справедливо полагая, что псевдоним звучит не в пример лучше его подлинной фамилии Перельман. Вот этот Пестель-Перельман, будучи человеком старой закалки и, следовательно, вежливости, написал ему письмо, в котором похвалил (впрочем, в высшей степени сдержанно и прохладно) эти Исидоровы «опыты». А в конце письма, тоже, видимо, из вежливости, спросил – есть ли у него что-нибудь еще?

Исидор ему отписал, что, мол, есть еще кое-что. Но это, видите ли, э-э… как бы нечто эротическое. Э-э… как бы от лица женщины. Словом, он не решается послать это свое несовершенное произведение столь занятому человеку. «Присылайте», – было ему ответом. Ну, он и послал, еще сто раз извинившись.

Честно говоря, Исидор был уверен, что на этом переписка с маститым писателем прервется. Каково же было его удивление, когда через три дня он получил от Пестеля просто таки восторженный отзыв. Тот писал, в частности, что пока прочел только первую часть. Но читал с наслаждением. «И вот что я вам скажу, молодой человек: эта книжица затмит набоковскую Лолиту.» Надеюсь, добавлял он, что последующие части окажутся не хуже. И даже оставил в конце письма номер своего домашнего телефона.

Разумеется, Исидор тут же написал ответ, весь состоящий из благодарностей. И стал ждать, когда мэтр прочтет оставшиеся части и выскажет свое просвещенное мнение. Так, в нетерпеливом предвкушении очередных похвал, он провел две недели. Но долгожданного письма от Пестеля всё не было. В конце концов, Исидор не выдержал и решился позвонить по указанному телефону. Волнение его при этом было таково, что трижды пришлось перенабирать московский номер, ибо дрожавшие пальцы нажимали не на те цифры.

– Алло! Алло! Здравствуйте. Можно ли поговорить с Павлом Абрамовичем?

– Это я. А вы кто? – прозвучал в трубке удивленный голос.

– Это вас Исидор беспокоит. Исидор Рувинский.

– А-а, дорогой Исидор. Как же, как же, помню.

– Я это… чего звоню… Вот хотел поинтересоваться – может, вы… прочли…? – прерывающимся и сходящим на едва слышимое диминуэндо голосом произнес он.

– Что прочел? Ах, вы про Марго? – Павел Абрамович на другом конце провода замялся. – Да, еще не всё. Дела, знаете ли… Вторую

часть почти дочитал. Но как-то всё очень длинно. Куда-то пропало очарование, что было вначале. И потом… Зачем вы начали пересказывать этот скандал с педофилами в московской школе? Это, знаете ли, дело репортеров, а не писателя.

– Да я же не пересказывал. Я ведь это еще раньше написал. Сам придумал. До того, как шум поднялся. Предвосхитил, так сказать…

– Ах, вот как, раньше написали? – с сомнением в голосе произнес Пестель. – Ну, тогда дело другое. Тогда это даже интересно. Посмотрим.

– Но вы, Павел Абрамович, пожалуйста, дочитайте до конца. Там концовка… такая неожиданная. Я почему-то уверен, что вам понравится.

– Конечно, конечно. Обязательно дочитаю. Хотя как-то слишком уж длинно…

Тут разговор закончился, и Исидор, уверовавший было, что Марго затмит Лолиту, был низринут с седьмого неба на грешную и неласковую к нему землю. Но он еще не терял надежды, уповая на «неожиданную концовку», которой гордился. И снова потянулись долгие дни и недели в ожидании ответа, которого не было. И снова Исидор набирал номер Пестеля, не попадая пальцем на нужные кнопки. Этот разговор оказался еще менее вдохновляющим, чем предыдущий.

– Прочитал, – сухо сказал Пестель.

– До конца?

– До конца. И честно сказать, не очень эту вашу концовку понял. Что-то вы там, батенька, такого наворотили… Про главного злодея, как его…

– Амбруаз… – подсказал Исидор.

– Да, да, Амбруаз. Видите же, помню… Хм-м. Признаюсь честно, разочарован. Жаль. Так хорошо начиналось. Все-то вас, батенька, на большую литературу тянет. А жанр, да и читатель, другого требуют. Словом, звоните… Если что…

На том конце трубки раздались короткие гудки. «Ну и дур-рак!» – воскликнул про себя Исидор, явно фальшивя. Он давно знал, что маститый тысячу раз прав – и длинно, и наворотил, и… гораздо более того. Он все-таки тоже не лаптем щи хлебал и давно осознал те катастрофические ошибки, которые привели его, да и не могли не привести, к постыдному фиаско. Ладно, длинноты. Их, пожалуй, можно было бы сократить. Но его действительно всё тянуло на высокую литературу. А женский эротический роман на «высокое» претендовать не должен. Ну зачем, зачем эти долгие разговоры о Достоевском, о Боге, о добре и зле? И ведь знал же, еще из той статьи про Эрику

Джеймс знал, что две главные целевые группы, зачитывающиеся ее романом, составляют девчонки от 15-ти до 20-ти и дамы бальзаковского возраста (читай – домохозяйки от 30-ти до 60 лет без или с давно забытым образованием). К чему им Достоевский или там Фрейд? Ясно же, что на второй странице высоколобых описаний они навсегда отбросят книжку. И что в результате? Те, кто любит эротические романы, читать про всякие заумности не станут. А те, кто мог бы, пожалуй, про Достоевского почитать, будут искать такие рассуждения где угодно, но только не в женском эротическом романе. Стало быть, у Марго, по сути, отсутствует читатель. «И что, не знал ты этого? Ошибочка, мол, вышла? Нет, брат, шалишь. Знал, а вот поди ж ты. Всё самомнение и завышенная самооценка!»

– Конечно, книга потонула в океане макулатуры. Да, не было раскрутки. Но, положа руку на сердце, ты же знаешь, что купи твою книжку не 13, а хоть в сто раз больше человек, результат был бы тот же! Конечно, будь ты Пелевиным или Сорокиным, или, на худой конец, Прилепиным с Шаргуновым, тогда бы прочли как миленькие и даже смысл какой-то нашли. А сами бы не нашли, так им бы критики подсказали. А тут какая-то неведомая Минина Маргарита. Хотя нынче у нас бабы – главные письменники. И Маргариту с ними надо сравнивать. Завистливый автор возвел очи горе, словно обозревал литературные небеса, густо усеянные женскими талантами. Конечно, там в гордом одиночестве сияла ярчайшая сверхзвезда – Дарья Донцова с ее умопомрачительными тиражами. Но и звезд поскромнее и помельче было в избытке. Как их кличут-то? Устинова, Дашкова и эта, как ее, бывший майор милиции. И никого из них не упрекнешь в жанровом разностилье. Каждая знает свой шесток и за рамки избранного жанра – ни шагу. Вот и производят чистые и изящные рукоделия. Читай – не хочу! И ведь что обидно – Исидор перелопатил кучу статей, посвященных тому, как следует писать женскую эротическую прозу и чего ждут от нее читательницы. Ясно же были сформулированы простейшие законы, соблюдая которые можно прийти к триумфам той же Эрики Джеймс. И законов тех всего два. Первый гласит – проще надо быть! Проще, чтобы не отвлекаться от главного – перипетий крутой любовной истории. А второй и основной закон таков: что бы там по ходу сюжета ни было, какие бы несчастья ни обрушивались на голову героини, в конце – обязательный хэппи-энд. Героиня должна обрести выстраданное ею счастье. Желательно, чтобы с главным героем, который ей столько крови попортил, а то и семь шкур спустил, если падок на садо-мазо.

Ладно, ошибки не исправишь. Можно, конечно, сократить роман

этак процентов на 15-20. И что? Не выпускать же второе издание? Нет, дай-ка еще разок взгляну в Litero.

Ни на что особо не рассчитывая, Исидор залез на сайт замечательного издательства и… нашел! Да вот же оно! Прямым текстом! Автор, желающий внести изменения в текст уже изданной книги, может это сделать. И не только внести необходимые изменения, но даже изменить название и обложку. И что же для этого требуется? Да ничего особенного. Новый вариант поступает на модерацию, а прежний, устаревший, *изымается* из магазинов.

Исидор застыл в восторженном изумлении. И вовсе не от перспективы улучшить текст, ибо его осенила идея столь блестящая, столь ослепительная, словом – из тех, что забредали ему в голову только в туманной юности. Это была даже не идея, а подлинное озарение. «Бог ты мой! Просто-то как!» – не веря себе, вскричал Исидор.

Итак, ежели автор пожелает внести в изданную книгу изменения, прежняя версия изымается отовсюду, да и в издательстве меняется на новую. А что это значит? Что прежняя книжка исчезает *бесследно* и приобрести прежнее издание в бумажном виде невозможно. Словно бы был тираж, да весь уничтожен. Исидору было известно, что еще ни один человек не заказал печатный вариант романа. А это значит, что если сам автор закажет несколько своих же книг, то… То, как только появится новая версия, это будут *единственные сохранившиеся экземпляры* уже не существующей книги. И что, спросите вы? Хотя, наверное, сами догадались, что таким вот нехитрым способом эти экземпляры моментально превращаются в уникальную редкость, в бесценный раритет.

Нет сомнения, что уважающие себя коллекционеры России, да и всего мира с превеликой радостью выложат за каждую такую книжицу некую сумму. Какова эта сумма? Исидору это пока неведомо, но ясно, что кругленькая. Такая же история, что и с бракованными марками. Как любой мальчишка, в детстве он прошел через увлечение филателией. И помнил, что почти все раритетные марки были бракованными. То почтовое ведомство напечатало тираж, но по невнимательности типографских рабочих изображение оказалось перевернутым вниз головой, то случайно марка была покрашена не в тот цвет и все напечатанные с ошибкой экземпляры были уничтожены. Все да не все! Некоторые попали в руки коллекционеров и стоят ныне миллионы долларов!!! Да мало ли? Но это всё были марки старинные, выпущенные еще в 19-м или в начале 20 века.

А как ценились в его детстве марки колоний?! То есть стран, обретших позже независимость от треклятых колониалистов и сме-

нивших свое название. Но и это было давно – 50-60 лет назад. А сейчас что? Подлинным бальзамом стала история совсем недавняя, связанная с именем актрисы Одри Хепберн. Марка с ее изображением должна была появиться в 2001 году. Прекрасная Одри была изображена на ней с сигаретой в руках. Но ее сыну, видите ли, не понравилось, что мамашу изобразили курящей, и он потребовал уничтожить весь тираж. «Идиот!» – комментировал про себя Исидор. Сохранилось лишь 30 марок, которые предполагалось отправить в крупнейшие музеи мира. Но каким-то образом пять марок попали в частные руки. Сколько же каждая из них ныне стоит, спросите вы? Отвечаю: 94 миллиона долларов. Наш герой аж присвистнул, узнав эту сумму. «А может, и не идиот, а как раз наоборот, – изменил свое мнение Исидор, всегда тяготевший к теориям заговора. – Небось, сам сынок и слямзил эти марки, а потом толкнул их коллекционерам.» Нечто подобное собирался теперь проделать и он. А история эта его особо вдохновила тем, что марки были самые что ни на есть свежие, как и роман Маргариты Мининой.

Принципиальной разницы между редчайшими марками и книгами он не видел, а потому, чтобы задобрить судьбу, заговорил так: «Пусть не 94 миллиона, но по миллиону-то за экземпляр романа я получу? Пусть даже миллион не за каждую, а сразу за все. Вот клянусь, если завтра вдруг появится покупатель, все отдам за миллион!..» – «А не продешевишь?» – вступал в дискуссию внутренний голос. – «Может, и продешевлю, но я ведь обещал. Если завтра...» – отвечал будущий миллионщик.

Впрочем, он знал, что завтра покупатель с миллионом не появится. Необходимо срочно подготовить второе, так сказать, улучшенное издание. Потом заказать и получить на руки 5-6 экземпляров издания первого, уходящего в небытие. И вот тогда он окажется единственным владельцем нескольких раритетных экземпляров. Да и дальше еще предстоит куча работы – связаться с аукционистами, с букинистами, с коллекционерами. Толкнуть сначала одну книжку, а затем – по растущей, словно снежный ком, цене – и другие. Таков был генеральный план, и тем же вечером с некоторой робостью он поведал о нем супруге:

– Как тебе? По-моему, *генитально* (еще одно идиотское словцо времен ранней юности).

– И ничего не генитально. Думаешь, ты один такой умный? Сколько в этом издательстве публиковалось бездарных авторов.

– Почему обязательно бездарных?

– Неважно. Пусть и не бездарных. Значит, еще больше, если сложить. И ты думаешь, что такая идея только тебе в голову пришла?

Сомневаюсь. Наверняка и до тебя нашлись умные головы. И что? А ничего. Значит, ничего у них не вышло. Если бы вышло, мы бы услышали.

– А может, мне первому пришла, – сказал Исидор, а про себя подумал: «Она права…» – и испугался. Даже внутренне похолодел.

– И ничего не первому. Так что выброси из головы эти халоймес, – торжествующе ответила супруга.

– В одном ты права, – признал супруг. – С этим делом надо поспешить. Потому что первый получает всё. А второй уже ничего. Да к тому же и издательство после такого прецедента прикроет эту возможность. Всё, надо срочно несколько экземпляров заказывать.

– Только учти, денег на это я не дам.

– Да тут на всё про всё долларов пятьдесят. А то и меньше.

– И на меньше не дам, – отрубила жена и отправилась смотреть свой сериал.

«Ну и ладно, – буркнул Исидор. – Как-нибудь и без твоих денег справлюсь.»

Он посмотрел на сумму авторских отчислений за несчастные 13 экземпляров проданной книжки. Их не хватило бы даже на покупку одного бумажного экземпляра. Тогда он позвонил в Москву своему старому приятелю, с которым сообщался два раза в год, когда они поздравляли друг друга с днем рождения. «А ведь были друзья не разлей вода», – с грустью подумал Исидор, набирая полузабытый номер. Приятель был дома. Исидор, не вдаваясь в подробности, изложил ему свою просьбу и попросил заказать шесть экземпляров книжки. Объяснил, куда надо подъехать и что сказать. Подчеркнул, что деньги небольшие и он ему их при встрече, а то и раньше, вернет.

– А зачем тебе чужая книжка? – спросил приятель.

– Да вот авторша просила, – соврал Исидор.

– Так мне их тебе еще отправлять отдельной посылкой?

– Не надо отправлять. Пусть они у тебя полежат. А потом я или авторша подъедет и заберет.

– Ох-хо-хо, – закряхтел приятель. – У меня же ноги опухают, чтоб еще ехать куда-то. Просто беда. Ладно, сделаю ради старой дружбы. Но с тебя бутылка… кефира. Крепче я уже ничего не пью.

Исидор искренне поблагодарил товарища, попросил с этим делом не тянуть и распрощался. Через две недели приятель позвонил, сообщил, что книжка у него, хоть и пришлось дважды ехать. Сначала заказывать, а потом получать.

– Я даже книжку-то открыл. Ничего себе, зажигательная… – одобрил приятель.

– Я же говорю… – обрадовался было автор.

– Только, черт, длинная. Я на середине застрял.

– И ничего не длинная, – в стиле собственной жены возразил Исидор. – Ну да ладно. Главное, спасибо, что купил. Ты береги книжки пуще зеницы ока. А я, может, сам через месяц-другой за ними заеду. С бутылкой кефира за труды.

* * *

Итак, теперь можно приступать к подготовке «улучшенного» издания. Перво-наперво надо ужать текст. 580 страниц – это чересчур в наши времена, когда толстых (а'ля Толстой) книг никто всё равно не читает. Так пусть же в новом издании останется только первая часть, завершающаяся выпускным балом, – душераздирающая история о соблазнении и изнасиловании школьницы ее учителями. Что ж, можно и так. Но что же получается? Выходит, вторая и третья часть романа зря писаны? И ничего не зря. Эти части романа превратятся во вторую и третью книги трилогии, которые будут опубликованы позже. Это даже лучше, ибо если вдруг (а чем черт не шутит?) эта вторая попытка заинтересовать читающую публику короткой историей «страданий юной Вертерши» удастся, то две последующие книги захватывающей трилогии будут ждать с нетерпением, а встречать с восторгом.

Как мы видим, на данном этапе Исидор преследовал сразу обе заветные цели – обогащение и славу великого писателя. Да, цели разные, но покамест они друг другу не противоречат. Чтобы появился хотя бы призрачный шанс, что второе издание обратит на себя внимание, требуется стечение множества благоприятных обстоятельств. Прежде всего, необходимо изменить название. Ну что это такое – «Марго и демиург», прости господи? Ни о чем не говорит ни молоденьким девицам, ни матронам-домохозяйкам! Нет, надо найти по-настоящему броское название, блестящую обертку. И опять его осенило. Полгода мировая общественность шумит из-за этого голливудского скандала. И актрисули одна за другой «выходят из шкафа», потрясая мир историями пережитых ими домогательств, а заодно и гальванизируя свои напрочь забытые той же общественностью имена. У них и обозначение специальное появилось для этого изъеденного молью времени шкафа – «МеТоо». Мол, я тоже!.. Я тоже подверглась и дико страдала все эти долгие годы… «Вот так и надо назвать!» – вскричал Исидор так громко, что жена в испуге прибежала из кухни узнать, что случилось.

– Ну конечно же, «МеТоо»! – в полном упоении он бегал по комнате. – Как же я раньше-то не догадался?

– Какой еще Митта? При чем тут Митта? – недоумевала жена, ибо у них в семье не было принято беседовать по-английски (а если честно, то и на любом другом иностранном языке).

– Да не Митта, а «МеТоо»! Название придумал вместо «Демиурга», понимаешь? – от избытка чувств он даже бросился жену обнимать, но та отстранилась.

– А, это хештег такой? – спросила она, ибо, как было сказано выше, много времени отдавала бессмысленному блужданию по социальным сетям в интернете.

– Не знаю, что такое этот хештег, – отмахнулся Исидор. – Но они рассказывают о сексуальных домогательствах. А Марго тоже их пережила. Еще и круче! Вот и назову так роман.

– И ничего не назовешь. Это же будет навроде плагиата. Говорю же тебе – хештег.

– Что за зверь такой – этот твой чертов хештег?

– Метка для особо популярных тем. Такой значок ставится, похожий на «диез», – охотно пояснила жена.

– И при чем тут плагиат? Дай-ка я взгляну, как он выглядит…

Он полез в Яндекс и нашел искомое словцо:

– Точно, как диез. А что, правда, его все знают? В смысле, нонешнее поколение?

– Те, кто в интернете сидит, все знают.

– Надо же... Слушай, ты гений! Я этот значок в название поставлю. Будет называться «#МеТоо». Сразу станет ясно, что автор – не какой-нибудь мудила замшелый, а держит руку на пульсе. Классно получится, скажи?

– И ничего не классно, – начала было жена, но, будучи женщиной объективной и честной, все-таки признала: – Так, вообще-то, лучше. Мне этот «Демиург» никогда не нравился.

– Вот, сама видишь… – сказал Исидор. – А может, это… того? Может, да ну ее, Маргариту Минину? Опубликую под своим именем.

– И ничего не под своим, – замахала руками жена. – Не хочу, чтобы все узнали, что мой муж – сексуальный маньяк.

– Как знаешь… – он не стал спорить и бросился сокращать текст первой книги будущей трилогии. Через несколько дней она уместилась в 150 страниц. «Самое то», – удовлетворенно подумал автор и, трепеща душой, нажал кнопку: «Отправить на повторную модерацию». Он не сомневался, что модерация станет чистой формальностью – первую-то он со скрипом прошел, для чего, правда, пришлось состарить нимфетку на два года. Но не тут-то было!

Через два дня из издательства Litero пришло письмо следующего содержания:

«Уважаемый автор! Ваша заявка на публикацию книги «#МеТоо» отклонена. Отредактируйте эпизоды, содержащие детскую порнографию, или измените возраст персонажей на 18 лет и старше.

Согласно законам РФ, любое изображение какими бы то ни было средствами несовершеннолетнего, совершающего реальные или смоделированные сексуальные действия, равно как и текстовая информация, направленная на возбуждение сексуальных чувств по отношению к несовершеннолетним, строго запрещены к распространению».

Вот это был удар! В первый момент всё поплыло перед глазами Исидора, и он, кажется, пошатнулся, как боксер в состоянии грогги. «Вот гады, так ведь и пишут – детская порнография! – лихорадочно думал он, внутренне кипя от искреннего негодования. – Это ж надо?! Щас, только шнурки поглажу, и будет вам 18 лет или старше!»

Он бросился писать ответное письмо. Отчаянье и возмущение лишь добавили ему красноречия: «Это что же получается? Девушка заканчивает школу в 18 лет или еще позже. Она что – дефективная? Она что, в школе для умственно отсталых??? Это же полностью разрушает авторский замысел, абсурдизирует его (так и написал – «абсурдизирует»).

Но главным образом напирал на то, что куда более крутой изначальный текст, где, действительно, содержалась кое-какая клубничка да еще и садистическая сцена возмездия в третьей части, выкинутой в новой редакции, прошел модерацию. И ничего! Так что автор настоятельно просит (нет, требует!) уважаемое издательство пересмотреть свое нелепое решение, противоречащее незыблемому принципу свободы художника.

Реакция издательства на его демарш или, если угодно, «ноту протеста» не заставила себя долго ждать. Вопреки ожиданиям, выдержана она была в миролюбивых тонах. Издательство соглашалось, что первичная модерация уже была пройдена и книга опубликована. После консультаций с юристами было решено, что если автор не боится ответственности и готов рискнуть, то издательство умывает руки и снимает свои возражения.

«Готов, готов рискнуть! – отвечал он, ликуя. – Готов, подобно маркизу де Саду, стать мучеником ради будущей и вящей славы своей книжки!»

«Что ж, тогда вперед! – ответило издательство, и через месяц новая версия романа попала в магазины. Теперь, как мечталось Исидору, для реализации идеи осталось лишь совершить вояж в Москву для налаживания связей с аукционистами и коллекционерами.

* * *

Читатель уже знает, что было дальше, – фиаско с аукционом и бесславное возвращение восвояси. Лишь сейчас незадачливый автор понял, в чем заключался трагический дефект всего плана. Дефект, о котором недвусмысленно предупреждали все три его конфидента. Тот, который «иерихонская труба», пробасил:

– Идея неплохая. Только я не понимаю, кого может заинтересовать безвестный автор? Вот если бы сохранилось, к примеру, шесть экземпляров книги Ивана Бунина. Да еще с его автографом, тогда конечно – бесспорный раритет.

– Да какая разница – Бунин или не Бунин? – возражал Исидор. – Ты возьми марки. Не за красоту их ценят, а за редкость. Даже если на них турбина какая-нибудь изображена, коллекционеру без разницы – главное, чтобы таких марок больше не было.

– Ну, не знаю. С Буниным было бы лучше, – пробасил «иерихонская труба».

– Может, и лучше, но где я тебе Бунина возьму? И без него обойдусь, – вскипел он, раздосадованный тупоумием и упрямством оппонента.

Но и два других конфидента оказались не лучше в смысле интеллекта. Тот, что избегал ясных формулировок, заметил:

– Пожалуй, если бы это была неизвестная рукопись Серафима Саровского или хоть Бунина Ивана, тогда, понятно, интерес был бы большим. А так еще неизвестно…

Третий и брутальный конфидент высказался яснее и подвел теоретическую базу:

– Идиотская идея! Вы – гуманитарии – не понимаете разницы между условием *необходимым* и *достаточным*. Необходимое ты выполнил – кроме твоих шести экземпляров, других в природе не существует. А про *достаточное* забыл. А состоит оно в том, что автор должен быть знаменит. Был бы на месте твоей Маргариты Мининой, положим, Бунин какой-нибудь...

– Сдался вам этот Бунин! Мало́веры и дураки!

– Зато ты у нас святая проста́та… – удачно парировал брутальный в исидоровом стиле.

Вот и оказалось, что не они, а он дурак. Ну как это *достаточное* условие выполнить?

Да никак! При всем желании не мог Исидор сделать свою Маргариту Минину знаменитой. А значит, и весь план насмарку.

С этими грустными мыслями Исидор взошел по трапу самолета и занял свое место. Он еще подумал, что если место у окошка не займут, то он пересядет туда, и стал клевать носом. Но тут подошла стюардес-

са и сказала: «Пассажир, пропустите даму». Исидор разлепил глаза. Рядом со стюардессой действительно стояла молодая дама в стильной шляпе – сама элегантность. Он вздрогнул, но по совсем другой причине. Вздрогнул, вскинулся, застыл, кажется, даже с открытым ртом, а внутренне заметался… Нет! Этого не может быть! Я схожу с ума!

Смятение его более чем извинительно. Ибо перед ним предстала ОНА. Словно ожила фотография с задней стороны обложки его книги. Фотография, которую он долго искал в интернете, чтобы дать будущим читателям самое лестное представление о внешности мифической авторши романа, но при этом чтобы лица видно не было. Искал и, наконец, нашел. На фото видны только кончик носа, губы колечком и подбородок. Ибо всё остальное скрыто точно такой же широкополой шляпой бежевого цвета, как та, что была на голове незнакомки.

Ну как тут верить собственным глазам? Он продолжал сидеть, словно окаменел.

– Пассажир, вы что, оглохли? – раздраженно сказала стюардесса. – Дайте пассажирке сесть согласно купленных билетов.

– Ах, да, конечно... – пробормотал он и, наконец, поднялся, чтобы освободить даме проход к ее законному месту. Голова у него кружилась.

Незнакомка с трудом протиснулась между ним и спинкой переднего сиденья, обдав Исидора волной дорогого парфюма. Потом она сняла шляпу, закинула ее на багажную полку и тряхнула головой. Темные, слегка отдающие в медь, волосы рассыпались по ее плечам. «И волосы как у Марго!» – невольно подумал Исидор, усаживаясь рядом. Он был настолько ошарашен, что не нашел ничего лучше, как спросить запинающимся голосом:

– А в-вас, извините, часом не Маргаритой звать?

Прекрасная незнакомка усмехнулась. Реакция мужчин на ее появление и их нехитрые приемчики с целью завести разговор явно были ей не в диковинку.

– Нет, всего лишь Натальей, – ответила она неожиданно низким голосом.

Исидор не смог скрыть вздох разочарования. Ведь он мгновенно навоображал бог весть чего. Честно говоря, я и сам немного огорчен. Как было бы соблазнительно, если бы незнакомка оказалась Мининой Маргаритой? Правда, такое невероятное совпадение слишком далеко могло бы увести нас от этого сугубо реалистического повествования.

Исидор, тем не менее, продолжал есть попутчицу глазами, что выглядело уже отчасти неприлично.

– Что вы так дико смотрите? – явственно раздражаясь, спросила она. – И что вы мне всё книжку суете? У меня своя есть.

Он и вправду машинально тыкал свою книжку чуть ли не в самый нос соседки:

– А это вам как? – он перевернул книжку обратной стороной, где располагалось фото якобы авторши.

Попутчица взглянула на него и, кажется, удивилась.

– Да, странно, – внимательно вглядываясь в фото, сказала она, а потом стала читать аннотацию: – Гм-м, любопытно...

– Что вам любопытно-то? – почти грубо спросил Исидор.

Но незнакомка (впрочем, отныне будем звать ее Натальей) этого, похоже, не заметила:

– Вот и еще совпадение. Авторша не только на меня похожа, но еще и профессии совпали. Я ведь тоже учительница и немножко журналистка.

– Вот видите!.. – чуть ли не с гордостью вскричал Исидор, словно профессия соседки была лично его заслугой.

– Впрочем, в этом как раз нет ничего удивительного, – словно бы возразила ему она. – У нас нынче каждая вторая – учительница. И все – журналистки.

Наталья пролистала книжку к началу, пробежала глазами выходные данные и с явной иронией сказала:

– Ага, эротика… Книжку в аэропорту купили? Чтобы было нескучно лететь?

Он даже обиделся:

– Не покупал. Книжка-то моя.

Соседка снова взглянула на титульный лист и перевела слегка растерянный взгляд на попутчика. Он вдруг испугался, что она может подумать, что он женщина, только прошедшая операцию по изменению пола. Нынче же это модно? И поспешил добавить:

– А Маргарита Минина – это мой псевдоним. Кстати, разрешите представиться – Исидор Рувинский.

Тут ему в голову пришла другая мысль, которой он испугался еще больше, и пустился в объяснения:

– Да, роман эротический. Но вы не подумайте. Я вовсе не маньяк. Просто показалось забавным написать его не как Набоков, а от лица девочки… девушки… (Бог ты мой, час от часу не легче! Она же решит, что я педофил!!!)

– А можно мне ее полистать? – вдруг спросила Наталья. – Заодно и оценю, насколько вам удалось вжиться в женскую психологию…

– Почту за честь, – галантно выдохнул он.

Попутчица углубилась в чтение. Она развернулась лицом к

иллюминатору, чтобы лучше видеть. И Исидор мог любоваться маленьким ушком с ювелирно выточенной мочкой. В лучах светившего прямо в иллюминатор солнца оно стало почти прозрачным и как бы засветилось изнутри. И прядь волос раскрыла свою ярко-медную суть. «До чего же хороша!..» – подумал он. Моторы самолета мирно гудели, и Исидор опять задремал.

Снилось ему что-то похожее на фильм про Эммануэль. Та экранная Эммануэль доводила в свое время Исидора до умопомрачения и многажды оживала в его юношеских влажных снах. Но сейчас ему снилась не она, а попутчица. Досмотреть сладостный сон до конца ему не довелось. На самом интересном месте он был прерван неприятно скрипучим голосом Эммануэль, тьфу ты, Натальи, которую он только что страстно сжимал в объятиях:

– Мужчина! Томатный или апельсиновый?

– А... ммм… Что? – Исидор разлепил глаза. Над ним склонилось недовольное лицо стюардессы.

– Обед, вот что. Кушать будете?

– Много и вкусно... – Исидор кивнул, хотя еда выглядела не слишком аппетитно.

Пожалуй, зря кивнул. Он тут же пролил на себя томатный сок, а пытаясь минимизировать ущерб, заодно уронил прямо на колени блюдце с огуречно-помидорным салатиком. Словом, изгваздал фундаментально рубашку и, главное, свои единственные «приличные» брюки. Наталья взяла с подноса салфетку и стала подтирать бурые потеки.

– Не надо, спасибо… Я сам… – засмущался и начал уворачиваться Исидор, чувствуя, как от случайного прикосновения ее пальчиков внезапно восстает его мужская сущность, безмятежно спавшая уже много месяцев. Он выхватил у нее из рук салфетку и стал без особого успеха вытираться.

– Кстати, а вас в аэропорту кто-то встречает? – спросил он, когда стюардесса, наконец, унесла заляпанный поднос.

– Да, подруга с мужем. А пока вы дремали, я с удовольствием вашу книжку читала. Живенько написано.

Тут Исидор вспомнил жену, а Наталья продолжила:

– И знаете, такое ощущение, что вы и вправду за мной всю жизнь подглядывали. И меня учитель охмурял. Впрочем, у какой женщины подобного не было? Книжку, небось, на части рвут?

– Какое там!.. – махнул рукой Исидор и пустился в объяснения. Мол, чтобы публика внимание обратила на неизвестного автора, раскрутка нужна. А где ее взять, эту раскрутку? Вот если бы какой-нибудь маститый критик тиснул рецензию в престижном журнале

или хоть в интернете… А лучше бы, чтобы таких маститых была пара-тройка. Да еще чтоб полемика вспыхнула. Тогда бы конечно… Но ведь нет таких знакомых – ни маститых, никаких. Вот никто о книжке и не знает.

– А у меня как раз есть такие приятели, – прервала его Наталья. – Даже несколько. И я бы, пожалуй, могла их попросить о такой джинсе...

– О джинсе? – не понял Исидор.

– Ну, так скрытая реклама называется. Заказные статьи и прочее. Неужели не слышали?

– Не слышал. Но это же небось денег стоит?

– Да, обычно стоит. Но я по-дружески могу попросить, только они – ленивые все. И задаром писать не станут. А вот готовый текст вполне могут тиснуть.

– Так я сам такую рецензию напишу.

– Да, готовый текст они могут. Правда, в основном, в гламурных изданиях – мужские журналы, дамские… Хотя вот Сашка Булыгин (слышали о таком?) недавно в толстый журнал перешел. В «Знамя», кажется.

– В «Знамя»? О-о, о таком я и не мечтаю!

– Да, а еще Алка Боггарт, Шаблинский, – сыпала именами Наталья, сама, кажется, увлеченная этой идеей. – Я и Леонида Николаевича даже могу попросить. Радзиевского, то есть. Думаю, он мне, гм-м, не откажет... Так что вы пишите рецензии. Одну хвалебную, а другую ругательную. Вот и возникнет полемика… А я потом подправлю, чтобы стиль соответствовал.

– Наталья, вы моя добрая фея! – он невольно зажмурил глаза, ослепленный открывшимися невероятными перспективами. – Приеду домой, сразу сяду писать.

* * *

Наконец самолет приземлился. Первым делом Наталья включила свой мобильник. Там была эсэмэска от ее подруги.

– Что-то случилось? – спросил Исидор, глядя на ее помрачневшее лицо.

– Ничего страшного. Просто муж подруги животом мается. А подруга машину не водит. Так что меня никто не встретит. Подруга пишет, чтобы я такси взяла. А они уж таксисту заплатят по приезде.

– А где они живут?

– В Хайфе.

– Эге, такси до Хайфы влетит вам (или им) в копеечку. Тем

более, сейчас вечер пятницы. То есть, двойной тариф, – присвистнул Исидор, а потом помимо своей воли сказал, будто кто его за язык потянул: – А знаете, что? Может, ко мне домой поедем? Я-то в Иерусалиме живу. Полчаса, и мы на месте. Нет, вы не подумайте, у меня жена. Она будет очень рада…

«Ага, рада она будет, как же!.. Скажет, шалаву с собой привел, еще и с лестницы ее спустит. И меня заодно», – думал он и уже надеялся, что соседка откажется, но продолжал говорить с напускным энтузиазмом:

– А чего? Переночуете. В субботу я вам город покажу, погуляем немного, а потом ваши друзья вас заберут.

Ляпнул – и сам не рад. Неизбежный скандал с супругой ярко рисовался воображению Исидора. Впрочем, в глубине души он был уверен, что она откажется. Вот вы бы, будучи дамой, поехали к незнакомому мужчине в чужой стране? Даже если у него жена. Да ни за что!

А вот Наталья согласилась. Не сразу, конечно, хотя почти сразу. Для проформы сказала:

– Но это, наверное, неудобно?..

«Вот те раз», – чертыхнулся про себя Исидор, но дорога к отступлению была отрезана:

– Почему неудобно? Удобно.

– Вы уверены? Тогда, может, я так и поступлю.

– Вот и прекрасно, – изображая радостное воодушевление, сказал Исидор и представил себе уксусное лицо супруги, когда она увидит его на пороге вдвоем с очаровательной незнакомкой.

– А у вас машина? – деловито осведомилась Наталья.

– Нет, машины у меня нет. Но мы и так прекрасно домчим на маршрутном такси.

* * *

Они последними подошли к неподвижной багажной ленте, где сиротливо лежали, притулившись друг к другу, тощая сумка Исидора и довольно увесистый на вид чемодан Натальи. Он галантно подхватил его («черт, тяжелый!»). К счастью, чемодан был на колесиках. Но колесики эти, как назло, цеплялись за всё, что только можно, так что ей приходилось останавливаться, поджидая трюхающего за нею кавалера.

Но виной отставания был не только чемодан. Исидор замедлял шаги намеренно. Дело в том, что на Наталье было кремового цвета длинное и узкое, в обтяжку, платье. И при каждом шаге соблазнительно очерчивались, оттопыривались, да еще вдобавок слегка пру-

жинили то одно, то другое полушарие, доводя Исидора до умопомрачения.

Он понимал тщету своих неодолимых мечтаний и когда в очередной раз нагонял поджидавшую его Наталью, то отводил глаза, чтобы утаить от нее «угрюмый тусклый огнь желанья», о котором так *гениально* написал поэт, и старался делать равнодушное лицо. Но, похоже, ему это не очень удавалось. Она с легкой насмешкой сказала:

– Как-то вы странно на меня смотрите.

– Как это странно смотрю? – спросил он, делая вид, что не понял.

– Я бы сказала, несколько плотоядно, – улыбнулась Наталья.

– Почему это плотоядно? – глупо переспросил он.

– Я не знаю, почему. Может, и не плотоядно, а просто я размечталась. Приняла желаемое за действительное, – пошутила Наталья, видя его смущение.

Маршрутное такси после долгого ожидания, пока пассажиры не набьются в него под завязку, наконец, тронулось. Исидор вдруг вспомнил, что надо же предупредить супругу, что он не один. С тяжелым сердцем набрал он номер, заранее понимая, что фанфар не услышит. Он как-то отвернулся от Натальи, прикрывая рукою трубку, чтобы та не услышала его абонента, и бодро-заискивающим голосом произнес:

– Верунчик, это я. Только что приехал.

– Приехал, ну и ладно…

– Скоро буду. Да, только я не один.

– С кем же?

– С одним человеком… – заюлил он, не решаясь обозначить пол «одного человека».

– С бабой, что ли?

– Хе-хе, угадала. С женщиной. У нее, понимаешь, накладка вышла, ну, я и решил пом…

– Только попробуй, с лестницы спущу! – прорычала жена и бросила трубку.

Наталья сочувственно взглянула на съежившегося Исидора, но ничего не сказала.

Потом сама Наталья звонила друзьям в Хайфу, объясняя, что сегодня переночует в Иерусалиме. Потом Исидор сообщил ее подруге с приятным голосом адрес, где Наталья будет находиться. Договорились, что за гостьей они приедут в субботу к вечеру.

Положим, не через полчаса, как было обещано, а через хороших два, маршрутка, наконец, подъехала к дому, внешне мало отличающемуся от российских хрущоб. Гостья из Москвы явно была удивле-

на непритязательным внешним видом этой пятиэтажки. Пока они поднимались на предпоследний этаж, Исидор с переменным успехом воевал с чемоданом гостьи. Внутренне индевея, новоявленный Улисс нажал кнопку звонка. Когда его Пенелопа в халате открыла дверь, он воскликнул: «А вот и мы!..» и сделал попытку приобнять ее и чмокнуть в щечку, как и подобает в счастливых, душа в душу живущих семьях. Но супруга в «счастливую семью» играть не пожелала.

– Кто это «мы»? – саркастично прошипела она и, оглядев спутницу мужа, совсем не по-светски спросила: – Вы, милочка, собственно, кто такая?

Исидор вовсю засуетился и с деланным оживлением затараторил:

– Ох, Верунчик, это Наталья. Мы с ней в самолете познакомились. Ты не поверишь, ее должны были встретить, но не встретили. Вот я и *предло́жил* ей…

– Ага, ты ей *предло́жил*, – «Верунчик» задохнулась от возмущения. – Почему только одной? Захватил бы еще парочку бабцов.

Сцена выходила унизительная. Наталья сочла за благо скрыться с глаз долой, осведомившись, где у них удобства.

Исидор зашептал:

– Я тебе сейчас всё объясню.

– Объяснишь? Ну, давай объясняй, зачем ты шалаву в дом привел! – воскликнула жена, в точности повторив ту фразу, которая привиделась, когда он сдуру пригласил Наталью.

– Тише! Пожалуйста, тише, – Исидор, кивнув в сторону сортира, сделал умоляющее лицо. – Там же всё слышно…

– Ну и что, что слышно? Пусть слушает! – не снижая оборотов, продолжала жена. – Нет, вы только подумайте! Наглость какая! Ни стыда, ни совести. Притащилась. Мужик пальцем поманил, а она уже тут как тут. Да и мужик-то, тьфу…

– Ты всё неправильно понимаешь! Она же сюда к друзьям приехала.

– К друзьям? А я думала – в массажный кабинет. А может, она у нас поселится? Любимой женой? Будет мило… – злобно прошипела супруга. Увидев появившуюся Наталью, она, поджав губы, буркнула: – Сейчас еда будет.

– Я вам помогу, – сказала гостья.

– Нечего помогать. Сама справлюсь, – буркнула она.

Исидор уполз на балкон покурить. Через четверть часа жена громко сообщила в пространство:

– Еда на столе.

Тут он впервые в жизни понял, что у хозяйки имеются безграничные возможности выказать свое отношение к едокам самой сер-

вировкой стола. Скатерти не было. Хлеб лежал не в хлебнице, а в целлофановом пакете из магазина, где продавался в нарезанном виде. Вместо тарелок, из каких они обычно ели, жена умудрилась найти и выставить какие-то щербатые, порыжевшие от старости, с затейливой сеткой трещин. Вилки тарелкам под стать – гнутые и по виду не очень чистые. Картошка в мундире, которую супруг терпеть не мог, была выставлена в помятой и приплюснутой временем кастрюле. Даже салат из туны (фирменное блюдо Веры) был подан не в хрустальной, как обычно, вазе, а прямо в миске.

– А вина у нас нет? – спросил Исидор самым развеселым голосом. Жена фыркнула и пожала плечами. Взяв из стенного шкафа в спальне, служившего «баром», початую бутылку красного и уже помутневшего вина, хозяин торжественно водрузил ее на стол.

– На меня не рассчитывай. И так весь день голова болит, – сквозь зубы процедила супруга.

– Ну, чисто символически… – сказал Исидор, достал три разномастные рюмки и стал разливать в них вино. Рука его дрожала, и он пролил несколько капель на стол.

– Опять нагадил, – не преминула прокомментировать Вера.

Он предпочел не заметить этих слов и сказал:

– Ну что, за знакомство?

Наталья подняла свою рюмку, но тут раздался лязг упавшей вилки. Это Вера демонстративно уронила ее и полезла под стол подбирать, лишь бы не чокаться. И чтобы совсем уж «заиграть» этот эпизод, направилась к мойке, чтобы эту вилку сполоснуть. Потом она вернулась к столу и с издевкой спросила:

– И как прошел аукцион? Ты привез свои миллионы?

– А-а, аукцион… Я тебе о нем потом расскажу, – пробормотал Исидор, всем своим видом показывая, что настолько увлечен салатом из туны, что ему сейчас ни до чего другого дела нет.

– Правда, очень вкусно. Вера, расскажете, как вы его готовите? – Наталья попыталась воспользоваться почти безотказным приемом, к которому прибегают женщины, чтобы расположить к себе хозяйку.

Но не тут-то было:

– А чего рассказывать? Берете консервы из тунца, добавляете яйцо, масло оливковое, лук. И вперед. А вам я не Вера, а Вера Михайловна...

– Ох, простите, Вера Михайловна, – покраснела Наталья, уставившись в свою тарелку.

Дальнейшая трапеза продолжалась в тягостном молчании. Потом Вера начала собирать тарелки, даже не предложив чаю.

– Давайте я посуду помою, – сказала Наталья.

– Мойте, – фыркнула хозяйка, уселась перед телевизором и стала смотреть какой-то израильский комедийный сериал, сопровождающийся диким закадровым смехом.

Гостья быстро перемыла посуду и теперь не знала, чем себя занять.

– Может, чайку? – спросил Исидор.

– Нет, спасибо. А дайте мне вашу книжку, – попросила Наталья, – я пока что почитаю.

Он протянул ей книжку, а сам подсел к жене и искательно зашептал:

– Верунчик, а где мы гостью уложим? В кабинете?

– Еще чего! Пусть спит в салоне. Чтоб на виду.

– Но, Верунчик. Мы же с утра ходить начнем. Разбудим ее…

– И ничего не разбудим. А даже если разбудим, невелика беда.

Верунчик удалилась в спальню, принесла простыню, подушку, наволочку и самое кусачее одеяло и обратилась к Наталье:

– Вот вам комплект белья (так и сказала – комплект, как проводница в поезде). Сами постелите, а я – в *во́нную*.

Наталья удивленно вскинула брови. Исидор поспешил пояснить:

– Хе-хе, это всё мои идиотские словечки. Мы уж привыкли и не замечаем. Правда, Верунчик?

Верунчик его ответом не удостоила и с упрямым злорадством повторила:

– В *во́нную по́шла* и спать. Мне завтра рано вставать.

– Почему рано? – изнывая от стыда за грубое передразниванье супруги, сказал Исидор. – Завтра же суббота.

– Ах, да, суббота. Я и забыла. Но это всё равно…

– Конечно, конечно, я постелю, – залепетала Наталья. – Вы отдыхайте, Вера Михайловна. Спасибо вам. И извините за беспокойство.

Вера не ответила, но, видимо, сжалилась над гостьей и принесла из кладовки не первой молодости «гостевые» тапки.

Не было еще и десяти часов, как жена удалилась в спальню, и через минуту оттуда донеслось повелительное:

– Исидор, спать!

– Да, да, Исидор Михайлович, вы отдыхайте. А я еще немного почитаю, – сочувственно сказала Наталья, снова взяв в руки отложенную было книжку.

Он наскоро принял душ и, пожелав гостье спокойной ночи, юркнул в спальню и улегся на свою половину семейного ложа. Жена привычно похрапывала, но муж уснуть не мог, прислушиваясь, что делает оставленная в одиночестве гостья. Похоже, она еще долго читала, ибо

никаких звуков в спальню не доносилось. Потом, наконец, прошаркала в ванну – тапки, выданные Верунчиком, были ей явно велики. Под мерный храп супруги и шум льющейся в ванной воды Исидор почти задремал. Но тут раздались всё те же шаркающие шаги в обратном направлении, и светлая полоска под дверью погасла, что означало, что Наталья тоже легла и погасила свет.

Исидор еще некоторое время лежал, прислушиваясь, а потом осторожно откинул простыню и постарался бесшумно встать, чтобы не потревожить жену. Куда он намеревался отправиться? Никаких ясных планов на этот счет у него не было. И никаких иллюзий тоже. Вероятнее всего, его гнал извечный мужской инстинкт по принципу «А вдруг?»

Исидор уже опустил ноги, пытаясь нащупать тапочки, как вдруг ощутил на своем запястье цепкие пальцы супруги и услышал совсем не сонный ее голос:

– Куда-а? Лежать!

Он вздрогнул, снова улегся и начал оправдываться:

– Да вот не спится. Хотел покурить…

– Ага, покурить. А путь на балкон лежит через эту девку, – с суровой бодростью сказала супруга. – Знаем, проходили…

* * *

Утром, когда Исидор проснулся, жены рядом не было. Судя по звукам, она возилась на кухне. Он не знал, который час, и из спальни не выходил, боясь застать гостью, так сказать, в дезабилье. Только когда послышалось шарканье ее тапок, он решился выглянуть. Утро оказалось не мудренее вечера. Обстановка оставалась напряженной. Завтрак прошел в молчании. Вера если и отвечала на вопросы, то односложно, не разжимая губ.

– Ну что, поедем Иерусалим смотреть? – робко спросил Исидор, ни к кому специально не обращаясь.

– Вот еще! Что я там потеряла… – ответствовала Вера.

– Ну, как знаешь. Наталья, вы собирайтесь, а я пока такси закажу.

– Да я, вроде, собрана, – улыбнулась она, облаченная в то же платье, что и в самолете.

Он вызвал такси. Наталья водрузила на голову свою роскошную широкополую шляпу. Они уже собирались выходить, как вдруг Вера, мрачно на них поглядев, неожиданно сказала:

– Нет, я тоже поеду.

– Так такси вот-вот подъедет.

– Ничего, подождет, – огрызнулась Вера. Было видно, что она решила не оставлять их одних.

– Ладно, мы тебя внизу подождем. Я пока покурю, – сказал Исидор, и они с Натальей стали спускаться по лестнице.

Когда они оказались на улице, он, криво усмехаясь, сказал:

– Сварливая жена хуже татарина, не так ли? Но, поверьте, она совсем не такая.

– А я и не думаю. Сразу видно, что Вера Михайловна – очень хороший человек.

– Так уж и видно? – недоверчиво переспросил Исидор, хотя ему отчего-то было приятно это услышать.

– Да.

Такси подъехало, спустилась Вера, и они отправились.

* * *

В Старом Городе он повел Наталью по тем местам, куда туристов водят: Стена Плача, Виа Долороза и вышли к храму Гроба Господня. А оттуда – сразу на базар. Там, слегка одурев от увиденного и от гомона туристических толп, Наталья вдруг сказала:

– Всю жизнь мечтала купить такую штуку на голову… ну, ту, в чем Ясир Арафат ходил.

– Куфию, что ли? – презрительно фыркнула Вера.

– Ага, точно – куфию.

– Но это же только мужчины носят. Впрочем, как хотите. Их здесь полно, – сказал Исидор.

Действительно, не успели они сделать несколько шагов, как оказались у лавчонки, где эти куфии продавались.

– Ох! – радостно воскликнула Наталья и храбро бросилась к прилавку, где громоздилась разная дешевая экзотика. Ее глаза горели охотничьим азартом. «Ох уж эти женщины!» – подумал Исидор.

Наталья что-то сказала хозяину, сняла свою шляпу, а тот, широко улыбаясь и с явным удовольствием, стал прилаживать ей на голову куфию. Наталья, вся сияя, подошла к ним:

– Ну, как я вам?

– Вылитый Арафат, – не слишком любезно буркнула под нос Вера. Они уже уходили, но тут она углядела что-то среди развалов. – Ах, какая прелесть!

Она указала на какой-то то ли платок, то ли накидку насыщенного ультрамаринового цвета:

– Взглянуть разве… Боюсь только, не слишком ли ярко?

– Да уж… – сказал супруг, которому этот платок показался верхом безвкусицы.

– И ничего не ярко, – вдруг заявила Наталья, которая, похоже, накануне вечером усвоила стилистические особенности речи Веры. – Ваш цвет.

– Да-а? Вы думаете?.. – нерешительно спросила Вера, впервые обращаясь непосредственно к ней.

– Даже не сомневайтесь. Пойдем примерим.

Женщины ринулись к прилавку. Мужчина поплелся за ними.

– Кама зэ оле? – спросила Вера.

– Матаим шекель, – продавец, не моргнув глазом, назвал абсолютно несуразную цену.

– Дорого… – Вера вздохнула и открыла кошелек. Исидор знал, что, несмотря на демонстрируемую городу и миру стервозность, она совершенно не умеет торговаться.

Урок, как следует себя вести в таких ситуациях, неожиданно преподала Наталья. Она ухватила Веру за локоть и, ни слова не говоря, потащила ее от прилавка.

– Стойте! – возопил хозяин. – 150 шкалим!

Но Наталья шла, не оборачиваясь.

– 120! – продавец помчался вслед за ними, продолжая с каждым шагом снижать цену. Сговорились на 50 шекелях. Исидор стоял в отдалении, думая неизвестно о чем.

– Ну, как тебе? По-моему, не очень… – вздрогнул он, услышав голос Веры.

Он взглянул на жену и подтвердил:

– Да, не очень…

– Просто это не так носится. Давайте я попробую. Можно? – спросила Наталья.

– Попробуйте, – сказала Вера.

И тут случилось маленькое чудо. Может, даже не маленькое. Наталья накинула платок Вере на голову, совершила несколько почти неуловимых для глаза манипуляций, тут обмотала, там распустила. Какие-то детали лица оказались скрыты, волшебным образом вдруг исчезли (или подобрались) складки на щеках, из-под платка как бы нечаянно выбилась задорная прядь волос. И… словно бы четверти века как не бывало. На Исидора глядела та самая «лучшая из Вер», как он когда-то говорил. От этого неожиданного преображения он задохнулся, не веря собственным глазам. Жена явно осталась довольна произведенным эффектом:

– Я так и пойду, снимать не буду. А то голову напечет.

– Конечно, не снимай…

Поразительно, но с этого момента между обеими женщинами не просто перемирие воцарилось, но союз. Теперь уже Исидор чувство-

вал себя лишним, как не пришей кобыле хвост. А дамы о чем-то шептались, смеялись легко и весело. И шли чуть ли не в обнимку, то и дело ныряя в какую-нибудь лавчонку. Проходя мимо витрин, Вера пытливым взором вглядывалась в свое отражение.

Они уже не были похожи на изможденную жизнью мать и избалованную ею дочку, а скорее – на двух сестер, пусть и с заметной, но не критичной разницей в возрасте.

Потом, ближе к вечеру, когда такси довезло их до дома и Наталья стала доставать кошелек, чтобы расплатиться, Вера сказала:

– Нет, теперь я. Вы и так мне на платке кучу денег сэкономили.

Дома она была само радушие. Они продолжали щебетать – Наташа, Вера (без отчества). Их внезапный союз лишь укреплялся. Правда, за счет Исидора. Ибо жена начала привычно над ним подтрунивать. А Наталья, хоть и не вторила ей, но посмеивалась ее шуткам. «Пусть так. Всё лучше, чем вчерашний кошмар», – думал он, стоически принося себя в жертву женскому единению.

Уже темнело, когда раздался звонок. Это приехали подруга Натальи с мужем, похоже, обретшим желудочную стабильность.

Попили чайку. С шутками и прибаутками. Причем Вера была душой компании.

– Наташа, вы к нам приезжайте. Не чинясь. Мы будем рады. Вот мой телефон, – деловито сказала она, записывая номер на бумажке.

Исидор шепнул гостье:

– Так что, сажусь писать рецензии маститых критиков?

– Конечно, конечно. А я прочту и сразу отошлю. Будем ковать *жѐлезо,* – улыбнулась она.

Исидор в душе восхитился, как быстро Наталья подхватила его привычку коверкать ударения, и был польщен. Договорились, что они еще заедут до отъезда Наташи в Москву. На том и распрощались. Женщины даже расцеловались, он же был вынужден ограничиться рукопожатием. Когда дверь за ними закрылась, Вера сказала:

– А шалава-то твоя ничего оказалась. Славная…

* * *

Примерно через неделю подруга, используя мужа как тягловую силу, повезла Наталью на Мертвое море. Возвращаясь в Хайфу, они сделали краткий привал в ставшем вдруг гостеприимным доме Веры. Та встретила их по высшему разряду. И всё – благодаря аквамариновой тряпке, не уставал поражаться Исидор.

Все дни до этого повторного визита он мучился, пытаясь выжать из себя рецензии маститых критиков на его роман. Получилось не

сказать чтобы очень удачно. Трудное дело – писать хвалу или ругательства на собственный труд. Гости торопились, ибо им предстоял еще долгий путь до Хайфы, но Исидор улучил минутку, чтобы зазвать Наталью в свой «кабинет».

– Вот, я написал рецензии. Не бог весть как вышло, но уж что есть, – сказал он.

Наталья, судя по недоуменному выражению ее лица, напрочь забыла о своих обещаниях, но быстренько припомнила:

– Вот и прекрасно. Прямо сейчас скинем их мне на мэйл, а в Москве я прочту внимательно. И пройдусь по ним рукой мастера, – усмехнулась она и добавила: – Впрочем, Мастер вы, а я, в лучшем случае, ваша Маргарита…

В этих ее словах «мастеру» почудилось словно бы некое обещание. Он даже, кажется, слегка порозовел.

– Жаль только, что книжку я так и не дочитала…

– Это дело поправимое. Я вам сейчас выдам. Только вы ее берегите как зеницу око. Если и вправду с рецензиями выгорит, этот экземпляр будет вашим процентом за участие в авантюре, – с этими словами Исидор вытащил из сумки, которая так и лежала не разобранной со дня его возвращения, тот самый – мятый – экземпляр и протянул его Наталье.

Она взяла книгу, удивленно посмотрев на него. Во взгляде ее читалось: «О какой авантюре речь?». Ну да, он же ничего ей не говорил о своем плане обогащения. Он начал было излагать ей идею о создании раритета, но не успел. Из салона раздался громкий и нетерпеливый голос подруги:

– Наташка, давай уже, поехали! А то до ночи не доберемся…

– Всё, я *пóшла*, – сказала Наталья. – А об авантюре потом доскажете…

Через пару минут гости собрались.

– Наташа, но вы еще к нам заедете? – спросила Вера.

– Боюсь, не получится. Я послезавтра улетаю. Но в другой раз – непременно. Тем более, что у нас с вашим мужем планы наполеоновские, – улыбнулась Наталья, целуя на прощание хозяйку. Потом она чмокнула в щеку Исидора. Дверь за гостями захлопнулась.

* * *

Прошел месяц. От Натальи – ни слуху ни духу. Исидор многажды порывался ей написать, но удерживал себя. «Конечно, забыла, а может, просто так сболтнула. Ни к чему же не обязывает…» – со вздохом думал он. И вдруг – письмо. От нее. А в письме ссылка. А к ней краткое пояснение. Мол, всё сделала, как мы и договаривались. И

вот первая ласточка. «Хотя, возможно, и последняя», – приписала Наталья.

Он дрожащей рукой нажал на ссылку, компьютер около минуты размышлял, открывать ее или нет, но всё же сжалился над нетерпеливо сглатывающим комок в горле автором. Вау! Это было популярнейшее интернет-издание «Стоп», в народе более известное как «Стёб». Ну, то, в котором буква С перевернута. А далее следовал текст. Только Исидор его не узнавал. От его рецензии не осталось ни слова. Было видно, что Наталья прошлась по ней «рукой мастера». Не улавливая смысла прочитанного, он пробежал глазами длиннющую статью, под которой стояла фамилия ему неведомого, но, несомненно, знаменитого Льва Данилевского (другие в «Стёбе» не публикуются).

– Вера, Вера! – воззвал он. – Иди скорее, тут про Марго напечатано!

Супруга немедленно прибежала, и они вдвоем, наверное, раз пять подряд прочли от начала до конца рецензию, озаглавленную «Жила-была девочка...» Начинался текст так:

«Я считаюсь ‘злым’ критиком. К тому же на дух не переношу ‘женскую’ прозу. Честно скажу, эту книгу открыл, чтобы хорошенько на ней ‘оттоптаться’. И вдруг неожиданно для себя увлекся…

Итак, жила-была девочка. Попала в ‘историю’. Потом снова… Потом опять... Написала ‘про это’ книгу. Ну, с кем не бывает? Вот только книжка получилась на редкость интересной. Хочется спорить, порой возмущаться, чаще – хвалить. Вот такая моя первая – спонтанная – реакция».

Далее следовали дифирамбы, после которых Исидору, не будь он автором, захотелось бы книжку купить за любые деньги.

Текст заканчивался так: «С нетерпением буду ждать обещанных второй и третьей частей трилогии».

– Да-а! – выдохнула Вера. По лицу ее было видно, что она в упоении. – А как написано! Блеск! Вот как надо…

– Вряд ли он писал. Это всё Наталья.

– Еще лучше, если так. Какая же она *моло́дчина*! Нет, это дело надо отметить.

И Вера собственноручно выставила из холодильника покрытую изморозью бутылку «Финляндии», бог весть сколько времени там пролежавшую.

Но рецензия в «Стёбе» не стала последней ласточкой. Буквально через неделю в толстом журнале «Дружба в природе» появился обзор книжных новинок. И почти весь обзор авторша, известная в узких кругах как мудрая, дерзкая и склонная к философским обобщениям

Ева Абзац, посвятила роману Маргариты Мининой. Она писала: «...Это роман экзистенциальный, хотя в нем нет нудного философствования и той скуки, которая крадется по страницам перехваленных романов Сартра, Камю, Моравиа. Необычная и волнующая книга». Прочитав такое, почтенная публика из «узких кругов» должна немедля броситься на поиски неведомого шедевра. А как же, если уж сама Абзац так считает...

Но самым мощным аккордом, окончательно утвердившим Маргариту Минину в статусе «живого классика», стала рецензия Леонида Николаевича Радзиевского, признанного мэтра российского литературоведения. В конце своего обширнейшего (чуть ли не на тридцать страниц!) и, как всегда, тщательного разбора романа с многочисленными цитатами из него мэтр выносит окончательный вердикт: «Наконец-то я дождался той книги, ради которой стоило столько лет коптить небо». Кстати, статья Радзиевского называлась «Жажда беллетризма утолена!» Название несколько странное, но те, кто надо, поняли – это более чем прозрачный намек на статью «Жажду беллетризма», сделавшую Леонида Николаевича знаменитым чуть ли не полвека назад.

– Ну, Дед дает! – восхищенно покачивали головами знатоки.

– И написано блистательно! Как в лучшие годы! – вторили им другие знатоки, намекая заодно, что в последнее время статьи мэтра несколько потускнели, хотя и оставались по-прежнему недостижимым эталоном отечественной критики.

Уж после этого вся читающая публика не только в России, но и во всем «русском мире» ахнула и стала повторять на разные лады: «Ну, наконец-то! Дождались!» У нас ведь как? Прозябает юный, а то и престарелый, но начинающий автор в полной безвестности и в неизбежной ее спутнице – резиньяции. Но стоит кому-то из маститых этак покровительственно о его сочинении отозваться: «Что ж, недурственно...» – и всё. Безвестности как не бывало. И хватают даровитого автора за ушко – да на солнышко. В лучи заслуженной (пусть иногда и запоздалой) славы. А тут даже и не недурственно, а вообще, – новый Гоголь родился. И читают, и обсуждают, и находят в тексте «талантища» ранее не замеченные, а может, и просто отсутствующие, достоинства – как повод для новых восторгов.

И вот уже вспыхивает в социальных сетях полемика, в которой редкие критические отзывы, типа «Ну прочел (прочла). Ну и что? Ничего особенного», тонут в потоках славословий.

А вместе со славословиями растет и число купленных книг. Вот и Исидор, благодаря замечательному издательству Litero, любезно предоставляющему авторам отчет об их купленных книгах, радостно

следил, как это число сдвинулось с мертвой и унижающей авторское достоинство точки в 13 проданных экземпляров. Это несчастливое число стало расти как на дрожжах, достигнув за две с небольшим недели немыслимой высоты в полторы тыщи. Казалось бы, чего еще можно желать? Вот Исидор ничего и не желал, почивая в лучах отраженной славы Маргариты Мининой, «надежды нашей литературы». Но он с легкостью готов был это ей, самозванке, простить. Он даже временно забыл о своем генеральном плане – об обогащении за счет им же созданного раритета.

Но, казалось, сама жизнь словно бы руководствовалась принципом «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и не давала ему почивать на лаврах, довольствуясь достигнутым. Очень скоро он получил письмо от благодетельницы Натальи, в котором она сообщала, что автора шедевра под названием «#МеТоо» давно, но тщетно разыскивает телевидение, чтобы взять у него сенсационное интервью. Наконец, обратились и к рецензентам. А те, будучи знакомы исключительно с ней, с Натальей, и, кстати, убежденные, что она-то и является подлинным автором, скрывшимся за псевдонимом Маргариты Мининой, дали им ее телефон. Вот они на нее и вышли. Вышли и умоляют появиться в телевизоре. Например, на телеканале «Культура». И она, право, не знает, что же теперь делать? Не пора ли Исидору нарушить свое затянувшееся инкогнито и предстать пред миром в своем истинном обличье?

Да, возникала некая проблема. Вообще-то, когда он задумывал свою авантюру, то не исключал, что для пущего эффекта от инкогнито придется отказаться. Но супруга категорически возражала. По этому вопросу даже был созван импровизированный «совет в Филях», хотя проходил он на неведомой иерусалимской улочке в километре от Вифлеема. Но дебаты там велись не менее жаркие. В конце концов, было принято поистине Соломоново решение. Всё благодаря мудрой Вере. Она сказала: мол, уж коли Наталья так удачно исполнила роль рецензентов, пусть теперь в телевизоре изобразит Маргариту Минину.

– А если не согласится? – спросил Исидор.

– Так ты ее уговори. Пусть отработает на полную катушку тот процент, который ты ей посулил в случае успеха всего начинания.

– И ты не боишься, что она припишет себе всю мою славу? – полушутя-полусерьезно спросил он.

– Нет, она не такая, – убежденно сказала Вера. Исидор еще подумал: «Надо же. И всё из-за тряпки этой. Чудны дела твои, Господи!»

Созвонившись по скайпу, Исидор изложил Наталье подробности этого плана. Она вначале категорически отказывалась. Вы что? Я

человек не публичный. Не певица, не кинозвезда. И вообще, умру от страха перед телекамерой. Буду бекать и мекать. Нет, ни за что!

Но, видимо, прав был Исидор, когда писал в романе: «*На свете нет и, наверное, никогда не будет девчонки, которая ни разу не грезила, что станет великой актрисой. Как будет потрясать зрителей своей игрой (и внешностью) и исторгать из них благодарные слезы*». Вот и Наталья, похоже, тоже когда-то грезила сценой. Пусть и не в театре, а в зомбоящике, как называет его Вера, но, в конце концов, она согласилась. Соблазн оказался слишком велик. Тем паче, и сам Исидор, и Вера умоляли ее по скайпу совершить «этот акт самопожертвования».

Было решено, что Наталья отправится в студию в качестве Маргариты Мининой, уже знаменитой, но оттого не менее таинственной незнакомки. И предстанет перед телезрителями в той самой шляпке, которая повергла его в изумление в самолете. Как давно, однако же, это было! Да, свое лицо она показывать не будет.

– Так всё равно ведь узнают. Мои знакомые, хотя бы... – возражала она.

– И ничего не узнают, – отвечала Вера. – Вернее, кому надо, узнают, а для остальных вы так и останетесь таинственной незнакомкой.

По разработанному сценарию, Наталья должна поставить перед ведущим одно условие. Он обязан задать ей вопрос о том, куда же девалась книга под названием «Марго и демиург» – та, которая была, по слухам, в три раза толще, чем нынешняя «#МеТоо», та, где, как известно ему, ведущему, содержался более или менее полный текст всей трилогии и которая бесследно исчезла. Еще одна тайна! И тогда, отвечая на этот вопрос, Наталья и расскажет ошарашенной аудитории, что да, было первое издание книжки под другим названием. Но прежняя версия ныне изъята из всех магазинов. Фактически ее не существует. Вернее, ей известно, что было заказано всего шесть экземпляров бумажной книжки. Один у нее. Здесь Наталья должна была вытащить и предъявить тот самый мятый экземпляр. Еще две бумажные книжки имеются у ее знакомых. А о судьбе трех оставшихся ей ничего не известно. И тут ведущий, хлопнув себя по лбу как бы во внезапном озарении, должен задать решающий вопрос: мол, получается, эти шесть экземпляров представляют собой *редчайший раритет*? Что они столь же, а может, и более ценны, чем гуттенбергова Библия? И стоят не меньше. «Так вы, Маргарита, потенциальная миллионерша?! – воскликнет ведущий. – Теперь коллекционеры всего мира бросятся на поиски этих шести экземпляров!» А потом, хитро улыбнувшись, спросит: «Может, подарите экземплярчик?» – «Нет,

пожалуй, теперь не подарю, – ответит тогда ему эта удивительная Маргарита Минина. – Теперь, пожалуй, продам.»

Таков был план. Оставалось только уговорить ведущего произнести этот дикий текст. Но ничего, они же страстно заинтересованы в ее интервью, а она просто скажет, что иначе не согласная.

– Да кто смотрит этот канал «Культура»? Пара десятков чудаков вроде нас? – с сомнением в голосе сказала Наталья.

– Ничего, кому надо, те увидят, – твердо, как отрезала, сказала Вера. И как в воду глядела.

* * *

Через неделю, как раз была среда, Исидор с утра пребывал в страшном волнении и всё говорил Вере:

– Вот попомни мои слова. Они обязательно интервью отменят. Зуб даю!

– И ничего не отменят, – не слишком уверенно ответствовала Вера. – Ведь Наташа уже в сетке.

Но зря он боялся и давал зуб. Передача началась в назначенное время. Наталья в своей широкополой шляпе выглядела очаровательно и загадочно.

– Нет, все-таки она прелестна, – воскликнул супруг.

– Ты говори, да не заговаривайся, – мрачно зыркнула на него супруга.

Впрочем, через мгновение они оба забыли обо всем на свете, боясь лишь одного – пропустить хоть слово. Да, Наталья была великолепна. Она держалась так естественно, непринужденно и кокетливо, словно весь свой век только и давала интервью. Говорила ясно, уверенно, иногда заливаясь тем серебристым смехом, который моментально превращает в сладкую лужицу самые черствые сердца. Но ведущий! О, ведущий! Он произносил свой текст столь непосредственно, как будто нужные мысли и слова спонтанно рождались в его мозгу, а не были вызубрены перед самой передачей, когда он злобно рычал и чертыхался (об этом потом рассказывала им Наталья).

– Вот это артист! – нервически хохотала Вера.

– Ага, народный… – вторил ей Исидор.

Они еще долго сидели, потрясенные, когда передача закончилась. А потом Вера вдруг сказала:

– Похоже, сбылась мечта идиота.

– Что-что? – не сразу понял он.

– Похоже, дело на мази. Как ни странно, но авантюра-то увенчается успехом. Чувствую я это…

И действительно, даже не рецензии, что принесли госпоже Мининой славу, ибо она, как известно, лишь яркая заплата на рубище певца, а именно это интервью волшебным образом продвинуло фантастический и нелепый план.

Теперь Наталья звонила им чуть ли не каждый вечер и докладывала об очередных, но от того не менее феноменальных успехах. Сразу же по окончании передачи начались звонки. Кто только не звонил! И писатели, и восторженные читатели, и простые телезрители. Но, главное, конечно, – звонили аукционисты и коллекционеры. Аукционисты умоляли Наталью дать разрешение на проведение аукциона. В котором лотом, ради чего всё и будет устроено, станет хранящаяся у нее книжка «Марго и демиург». А коллекционеры жались, мялись и сдавленным голосом спрашивали, за какую сумму она была бы готова с книжкой расстаться. Сами, правда, свои предложения почему-то не озвучивали. Но это до поры. Дня через три она позвонила и срывающимся голосом поведала, что звонил самый, можно сказать, главный коллекционер. И вот он ей сказал, что, мол, зачем ей нужны какие-то аукционы? Настоящих денег на них всё равно не получишь. А не лучше ли, дескать, решить этот вопрос в частном порядке, полюбовно, без излишнего шума и уплаты немалых налогов. Вот он, например, предлагает за имеющийся у нее экземпляр миллион наличными. А если она у своих знакомых достанет и два других, которые она упоминала в интервью, то тогда еще миллион.

– В рублях? – ошалело спросил Исидор, едва шевеля внезапно пересохшими губами, хотя уже знал ответ.

– Нет, в долларах, конечно, – сказала Наталья. – Так что, соглашаться?

Исидор вопросительно глянул на обмершую в первый момент супругу. Та долго молчала, но потом сказала, неожиданно для него, а возможно, и для себя:

– И ничего не соглашаться. Только через аукцион.

– Но почему, Верунчик? – зашептал изумленный Исидор.

– Потому. На аукционе больше получим,– сказала супруга. – Даже за одну.

– Ты уверена?

– Да, уверена. Мне видение было…

И тогда он сказал Наталье:

– Н-не-ет, наверное. Вере видение было. Только на аукционе.

– Так отказывать ему? – для верности спросила Наталья.

– Н-не-ет… Тьфу ты, то есть, д-да-а. Отказывать.

– А на аукцион соглашаться?

– На аукцион соглашаться…

Аукцион был назначен через две недели.

– Они спрашивают, какую стартовую цену для нашего лота назначить? – спросила по скайпу Наталья.

– Ну, не знаю... – ощутив привычную в такие моменты нерешительность, забормотал Исидор, глядя на супругу.

– И чего тут знать? – спросила она. И, обращаясь непосредственно к Наталье, уверенно произнесла: – Миллион.

– В рублях?

– Нет, в долларах, конечно.

– Но, Верунчик, это же больше шестидесяти миллионов выходит. Они не согласятся, – умоляюще произнес он.

– Согласятся. Мне видение было…

– Что ж, я им сообщу, конечно... – с сомнением в голосе сказала Наталья.

– Сообщайте, Наташа, и не волнуйтесь вы так. Они согласятся, – заверила Вера.

Исидор и Вера стали собираться в Москву. Даже вытащили его костюм, надеванный им единственный раз на свадьбу дочери и с тех пор пылившийся в шкафу. И тут...

Но слезы застилают глаза мои!.. С тяжелым сердцем перехожу я к самым трагическим страницам моего повествования. О, как мечтал я увенчать сей опус столь близким, столь, казалось бы, неизбежным и духоподъемным хэппи-эндом! Я бы так и поступил, если бы моей рукой водило воображение. Но я поклялся тебе, читатель, что мой текст будет правдивым от начала и до конца, сколь бы фантастическим он ни казался. И клятву эту нарушать не стану. Поэтому в эту секунду ты узнаешь, что ни в какую Москву Исидор не поехал. Не поехал, ибо внезапно, можно сказать – на ровном месте – скончался. Да, он умер. О, если бы вы знали, как невыносимо тяжело мне это писать! Ведь я за время создания этого сочинения сроднился с моим героем. Он стал мне близок как брат. Да и вы, верно, со мной согласитесь. Он же симпатичный, Исидор? И умирать на пороге своего триумфа ему было совсем ни к чему. А вот поди ж ты…

А с другой стороны, чего вы хотите? Все эти дни он пребывал в страшном возбуждении, курил как паровоз. Давление скакало, а отсюда и головные боли, и сердцебиение. Вера, как могла, пыталась его успокоить, но куда там! И вот за три дня до отъезда Исидор, выкурив на балконе полпачки сигарет, отправился, наконец, спать. И снова приснился ему сон, отчасти похожий на тот, которым начинался мой рассказ. Да, ему снился аукцион. Только теперь он происходил не в

маленьком зальчике, а на огромном стадионе, трибуны которого вздымались, круто уходя вверх, в небесную синеву. И все они были забиты до отказа – ни одного свободного места. Мужчины были в элегантных фраках, так что, украдкой оглядев свой костюм, Исидор вынужден был признать, что выглядит легковесно. Свой костюм он видел, а лицо, понятно, нет. Зато мог наблюдать сидящих с ним рядышком Веру и Наталью. Наталья была в своей широкополой шляпе. А Вера в черном платье, а на голове ее красовалась аквамариновая накидка. В центре зеленого футбольного поля стоял плохо сколоченный из грубых досок с заусенцами стол, как во дворе его детства. За тем столом мужики все вечера резались в домино. Но теперь там сидел лишь аукционист, похожий на конферансье. До стола было далеко, но видел его Исидор совсем ясно и близко, словно через огромную лупу. Аукционист взмахнул своим молоточком, и торги начались. Потом пленка со сном быстро прокрутилась, пока не раздались фанфары, открывавшие главный лот, его книжку. Поднялся невообразимый шум. Зрители кричали: «Мне, мне, мне!» На табло с космической скоростью менялись цифры. Вот уже он ясно увидел число три миллиона и спросил у соседа: «В рублях?» – «В долларах, сударь», – сухо ответил тот, пожимая плечами.

В руках аукциониста вместо молоточка вдруг появилась белая доминошная костяшка, он с размаху грохнул ею об стол и диким голосом завопил: «Рыба!!!»

«Наша взяла! – счастливо вскричал Исидор и бросился обнимать жену и Наталью. Рука его легла ненароком чуть ниже ее, Натальи, талии. От Натальи пахло каким-то знакомым запахом. «Красная Москва», «Шипр»? Он отверг эти нелепые гипотезы, но глубоко и радостно вдохнул дразнящий запах детства. И тут же во сне умер. В общем, смерть его оказалась легкой и, я бы даже сказал, приятной. Что ж, и за то – слава Богу.

Не стану описывать очень скромные похороны, на которые, кстати, примчалась из Москвы Наталья. В связи с внезапной кончиной Исидора она велела отложить аукцион на неделю. Устроители были очень недовольны и утверждали, что это собьет порыв и она, Наталья, понесет серьезные убытки. Но делать было нечего, и они согласились.

Аукционисты оказались посрамлены. Ажиотаж за время вынужденной отсрочки не только не уменьшился, а пожалуй, еще возрос. В битком набитом зале то тут, то там слышалась даже и иностранная речь.

Глядя на Наталью, сидевшую в той же шляпе, гости спрашивали друг друга:

– Неужели это Маргарита Минина? Та самая?

Те, кто точно знал ответ, с гордостью кивали:

– Да, та самая.

– А кто та женщина рядом с ней? Вся в черном, будто в трауре, и в этой безвкусной, кричащей накидке? Ее мать или сестра? – допытывались любопытствующие.

– Понятия не имеем, – пожимая плечами, отвечали им и отходили в сторону.

Когда была разыграна книжка «Марго и демиург», обе женщины встали и, не дожидаясь окончания аукциона, покинули зал. Их лица не выражали никаких эмоций.

Читателям, вероятно, любопытно узнать, за сколько была куплена эта первая из шести имеющихся книжка. То была сумма с шестью нулями, но первая цифра – не единичка, не два и даже не три. Словом, видение Веру не обмануло. Когда они приехали в двухкомнатную квартиру Натальи, то уселись пить чай с конфетами.

– Много и вкусно... – сказала *новоиспѐченная* вдова, и глаза ее наполнились слезами. К чести ее надо сказать, совершенно искренними.

Наталья вздохнула:

– Жаль, что Исидор не дожил.

Вера вскинулась и резко сказала:

– И ничего не не дожил.

Фраза получилась настолько несуразной, что она внезапно осеклась и вдовьим жестом промокнула глаза:

– Вот о чем я по-настоящему жалею, что тогда, ну, когда он тебя, Наташа (они уже давно перешли на ты), к нам домой привез, я его к тебе не пустила. Он так рвался, бедный... А я ему говорю: «Лежать!» Ну, прям как собаке.

– Что ты, Вера, да если бы он и пришел, я бы его к себе тогда не допустила.

– А сейчас? – с неожиданным интересом спросила вдова. – А сейчас допустила бы?

– Сейчас? – переспросила Наталья и задумалась. – Сейчас… может быть.

И хотя теперь уже глаза обеих женщин были полны слез, они понимающе улыбнулись. Мол, конечно, допустила бы. Ведь кому, как не им знать, что прекрасный пол не в силах устоять перед знаменитыми, успешными и богатыми мужчинами…

А нынче Исидор Рувинский полностью этим требованиям отвечал. И свою личную пирамиду он все-таки построил. Вот только ее торжественного открытия чуть-чуть не дождался.

Иерусалим

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Роджер Смит

Несколько слов о проф. П. А. Сорокине

Питиримом Сорокиным (1889–1968), русско-американским социологом и социальным философом, я увлекся в последний, двенадцатый, год средней школы. В местной библиотеке я натолкнулся на его книгу *The Crisis of Our Age* («Кризис нашего времени», НЙ, 1941). Это было чрезвычайно стимулирующее и увлекательное чтение для семнадцатилетнего молодого человека, интересующегося историей и, в частности, философией истории. Эта книга несла в себе такой грандиозный размах и, казалось, объясняла многое. Она была написана в характерном для Сорокина стиле – он писал талантливо и убедительно.

Я продолжил читать Сорокина – его *Leaves from a Russian Diary* («Страницы Русского дневника», 1950, Бостон), где он детально описал свой опыт работы в недолговечном правительстве Керенского и антибольшевистскую деятельность, арест и тюремное заключение во время большевистского режима. Я не мог оторваться от этой книги. Это был учебный курс с погружением в русскую историю – конкретно, в революционные события 1917-го.

И еще одна книга П. Сорокина – *Russia and the United States* (1944) – среди тех, что я прочел первыми. Была середина 60-х, когда Холодная война находилась – или приближалась – к своему зениту. Главное, что сказал Сорокин в своей книге – которая была написана в то время, как СССР стал нашим союзником в войне, – тщательное изучение отличительных черт этих двух стран обнаруживает, что они в действительности имели много общего как страны и общества и что две нации, в конечном счете, способны стать со временем менее враждебными друг для друга из-за наличия этих общих черт.

Сам я всегда был увлечен Советским Союзом – не в качестве политического «образования», а как страной с широкими просторами – подобными нашим – и с соединением национальностей и этнических групп с богатой, постоянно развивающейся культурой, от Толстого и Достоевского до Чайковского и Шостаковича. Совершенно как Америка. Громадная, разнообразная, всеохватывающая, культурно насыщенная – и с динамичной экономикой.

Именно Сорокин подвиг меня на изучение русского как спецкурса в колледже после завершения моего курса по французскому. А

также – к выбору специализации по социологии (перед тем как переключиться на историю). Я находился под впечатлением от того, что он возглавлял факультет социологии в Гарварде. Я же сам вырос в Кэмбридже, шт. Массачусетс, и среди членов моей семьи, моих друзей и классных товарищей были учившиеся в Гарварде. Мой отец, еще студентом в Гарварде, учился у Сорокина два семестра – Social Relations 1-a and Social Relations 1-b (Социальные отношения, курсы 1-a и 1-b).

И вот, в 2017 году я создал специальный сайт, посвященный Питириму Сорокину[1].

Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) родился в местечке Турья, маленькой деревушке в Вологодской губернии (нынешняя Республика Коми). В детстве он даже говорил на языке коми, который потом забылся. Он учился в Санкт-Петербургском Императорском университете, где получил диплом по криминологии. Две главные его работы по социологии, опубликованные в России, принесли ему известность – «Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали» (СПб., 1914) и «Система социологии» (Пг., 1920). В 1923 году он иммигрировал в США. В США в 1920-х годах он опубликовал две свои известные конструктивные работы – *The Sociology of Revolution* и *Social Mobility*. С течением времени Сорокин стал известен не только своими научными работами, но и как защитник мира во всем мире и борец за ядерное разоружение; он известен как основатель и директор Harvard Research Center for Creative Altruism (Гарвардский Исследовательский центр созидательного альтруизма).

Молодым человеком двадцати лет я прочитал мой первый известный роман Льва Толстого – «Воскресение». Я не мог оторваться! Затем я прочитал биографию Толстого, написанную Henri Troyat. Конечно, я знал о младшей любимой дочери писателя, Александре: о ее поддержке отца в спорах с матерью, Софьей Андреевной; как Александра встала на сторону отцовского адепта Владимира Черткова... Troyat пишет: «В 1918 Саша (Александра) отправилась в Ясную Поляну и обнаружила на месте ее врага (матери Софии) согбенную маленькую старушку с дрожащим подбородком, безжизненными глазами и надломленным голосом. Упав друг другу в объятья, мать и дочь воссоединились».

В Америке, куда Александра Толстая (здесь ее называют Tolstoy, она обычно опускала свой титул «графиня») иммигрировала в 1931 году, она познакомилась с Питиримом Сорокиным. Их переписка показывает, что она навестила Сорокина и его семью в Кэмбридже. Однако их взгляды на политические и другие животрепещущие

вопросы расходились, – что можно видеть и в их переписке в сентябре 1958 года.

Сорокина часто резко критиковали в американской коммунистической прессе как антикоммуниста и реакционера – как и Александру Толстую за то же. Но их взгляды существенно различались. О расхождениях между этими двумя людьми можно судить по сюжету о московских судебных процессах, которые Толстая осуждала открыто. Позиция Сорокина не так ясно выявлена в его публикациях и корреспонденции.

Как видно из его работы *Russia and the United States* (1944), Сорокин – сторонник так называемой теории конвергенции. Он продолжал развивать и пропагандировать эти взгляды в 1950-х и добровольно предлагал свои консультационные услуги Госдепартаменту. Он писал: «...средство против коммунистической диктатуры – не война, но мир... Готов, при необходимости, посвятить себя этому делу». Без стремления получить государственную должность, он предлагал свои знания и опыт в распоряжение правительства США[2].

Взгляды Сорокина, без сомнения, были хорошо известны Александре Толстой, которая не колебалась в своей антибольшевистской и антисоветской позиции. В качестве примера: когда советский государственный функционер Анастас Микоян посетил Соединенные Штаты в 1959 году, Толстая написала в своем письме в *The New York Times*[3], что его заявлениям не следует верить или доверять и что «если простые американцы могут легко достичь понимания с русскими, то невозможно прийти к взаимопониманию с советским правительством».

---

1. Портал о Питириме Сорокине – URL: https://pitirimsorokin.com
2. P. Sorokin to James S. Crutchfield, March 24, 1953. Sorokin archives, University of Saskatchewan.
3. *Alexandra Tolstoy*. Letter to editor / *The New York Times*, January 29, 1959, – P. 24.

Перевод с английского – М. Адамович

Переписка Александры Толстой и Питирима Сорокина

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ – ПИТИРИМУ СОРОКИНУ

1.

Нью-Йорк Сити,
Риверсайд Драйв, 524

1 мая 1939

Многоуважаемый Питирим Александрович.

Большое Вам спасибо за согласие принять участие в Tolstoy Foundation[1]. Мы Вас выбрали в качестве sponsor, если Вы ничего не имеете против. На днях совсем оформим наш Комитет и приступим к работе. Очень было приятно снова Вас и Вашу милую семью повидать. Осенью, Бог даст, приеду в Бостон и тогда всё расскажу Вам про нашу организацию. Листовки и проч. материал вышлем, как только будут готовы. Привет.

С уважением,

А. Толстая

P.S. М.б., Вы найдете возможным и удобным посылать помощь через Foundation, как это сделал Ростовцев[2]?

Тогда Вы только посылаете чек нам с указанием, кому он предназначен, и Foundation через своего treasurer'a Traphagen, president the New York Bank, переводит деньги, а мы указываем этому лицу, кому они посылаются, что эти деньги жертвуются Вами. Это удобно в том отношении, что мы не посылаем этим лицам помощь в одно время с Вами, и будет более правильное распределение средств в этой же Праге. Мы послали сейчас туда £530.

С уважением,

А.Т.

Письмо напечатано в: *Сорокин, Питирим*. Избранная переписка / Под ред. П. Кротова // Вологда: Древности Севера, 2009. – С. 159.

1. Благотворительный Толстовский Фонд (Tolstoy Foundation) был основан А.Л. Толстой и Т. А. Шауфус 15 апреля 1939 года в шт. Нью-Йорк. Целью фонда, некоммерческой общественной организации русских эмигрантов,

была поддержка общественных и культурных программ русской диаспоры и оказание помощи дипийцам после войны и беженцам от коммунистических режимов. В Совет директоров Фонда вошли лидеры русскоязычной диаспоры А. Толстая, И. Сикорский, С. Рахманинов, Т. Шауфус, Б. Бахметев, Б.Сергиевский. Экс-президент США Герберт Гувер был избран почетным председателем Фонда (оставался на этом посту до своей кончины в 1964 году). О послевоенной деятельности ТФ см.: *Кулен, Елена*. Толстовский Фонд в Германии / НЖ, № 294, 2019.

2. Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952), эмигрант первой волны, историк-эллинист, академик Российской Императорской и Берлинской АН, профессор Йельского университета. В эмиграции с 1918 года, работал в Комитете освобождения России. С 1935 года – президент Американской исторической ассоциации.

2.

5.05.1946

Глубокоуважаемый Питирим Александрович,

Сегодня утром получила Ваше милое письмо и чек для ученых в Германии. Только что организовалось Общество, выделившееся из American Council of Voluntary Agencies[1], в которое Толстовский фонд вошел членом, имеющим право посылать продовольствие в Германию. Возможно, что организация, со всеми разрешениями на посылки в Германию, займет около месяца. Но зато на эту сумму денег, которые Вы прислали, вероятно, можно будет послать в пять раз больше продуктов, чем обыкновенной почтой. Пришлите мне открытку с указанием, как поступить. На днях мне пришла мысль организовать при Толстовском фонде Профессорский фонд[2]. Я сейчас занята составлением письма, которое отдам мимеографировать, с обращением к русским и американским профессорам. Каждому профессору, список которых у нас имеется, мы пошлем по пять экземпляров такого письма, с просьбой дальше его распространить. Есть ряд американских профессоров, заинтересованных в русских ученых, которые с удовольствием придут нам на помощь, как в финансовом смысле, так и предоставлением аффидевитов. К этому обращению мы приложим список наиболее известных ученых в Германии, Франции и Австрии. Думаю, что создание такого Профессорского фонда сильно облегчит задачу как отдельным лицам, оказывающим помощь профессорам, так и Толстовскому фонду.

Письмо опубликовано в: *Дойков, Юрий*. Питирим Сорокин, Человек вне сезона: Биография, Том 2 (1922–1968 годы) / Архангельск, 2009. – Сс. 330-331.

1. American Council of Voluntary Agencies – группа из 22 американских организаций, объединившихся для оказания помощи Европе во время и после Второй мировой войны. В послевоенные годы занималась мониторингом обеспечения существования Ди-Пи в Германии, Франции и Италии.
2. Официальное название – Комитет по оказанию помощи русским ученым и профессорам, бедствующим в Европе. В состав Комитета вошли П. Сорокин, И. Сикорский, В. Ипатьев и др.

3.

Нью-Йорк, Нью-Йорк
Фонд Толстого
Восьмая авеню, 989

Господину П. Сорокину
Гарвардский университет
Центр исследования созидательного альтруизма
Винчестер, Массачусетс

25 сентября 1958

Многоуважаемый Питирим Александрович.

Спасибо за пожертвование и за добрые пожелания, относящиеся к моей ежедневной работе.

Ваше несогласие с моей политической работой я просто не понимаю. Министр иностранных дел Советского Союза 75 раз возражал против введения союзных войск в Ливан[1].

С другой стороны, Советы в Венгрии убили 65000, ранили 100000 и принудили 200000 мужчин, женщин и детей искать приюта в беженстве[2].

«Кто же, – спросила я одного венгра, – помогал вам в вашей борьбе?» Ответ был: «Русские красноармейцы, которые всей силой своей души сочувствовали нам». Из 24000 советских солдат 9000 перешли на сторону восставших, и это были люди подневольные, рискующие своей жизнью. Это были представители русского народа.

Борясь с советской властью по мере своих слабых сил, я считаю, что я стопроцентно солидарна с 200 миллионами русского народа против 6 миллионов коммунистов. Очень хотелось бы, чтобы Вы мне объяснили, почему моя политическая установка ошибочна.

С искренним к Вам уважением,

Александра Толстая

Письмо опубликовано в: *Сорокин, Питирим*. Избранная переписка / Под ред. П. П. Кротова // Вологда: Древности Севера, 2009. – С. 160.

1. Речь идет о т.н. «Ливанском кризисе» 1958 года, периоде обострения ливано-египетских отношений. С началом гражданской войны по просьбе действующего президента Ливана США ввели войска – операция «Голубая летучая мышь», первое применение доктрины Эйзенхауэра о вмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела стран, попавших под коммунистическую угрозу.
2. Речь идет о Венгерской революции 1956 года, когда началось восстание против коммунистического правительства Венгрии. Подавлено с военной помощью СССР.

ПИТИРИМ СОРОКИН – АЛЕКСАНДРЕ ТОЛСТОЙ

27 сентября 1958 г.

Глубокоуважаемая Александра Львовна,

Сердечное спасибо за Ваше письмо. Я не согласен с Вашей политической деятельностью по следующим причинам:

Западный союз наций, в особенности U.S.A., в международной политике не лучше, а скорее хуже (морально и социально), чем Советский блок наций.

Англия, Франция и С.А.С. Штаты не менее жестоки и бессердечны к ряду колониальных народов (Малайзия, Мао-Мао, Бикини и другое островное население, Алжир, etc.), чем Советы к венграм и другим народностям.

Запад не менее агрессивен и опасен для человечества в его «политике», чем Советский восток.

Творческий центр истории, который до 15-го века был в Азии и Африке и который только последние пять столетий был в Европе и Западе, опять переносится в направлении Азии, Америки и Африки. Древние, великие цивилизации Азии и Африки опять пробуждаются и начинают играть творческую роль. Западные правительства не принимают до сих пор этого основного процесса и потому продолжают свою безнадежную и глупую политику.

В объективной исторической жизни разница в системе ценностей, культуре и общественно-политических учреждениях Советской России и С.А.С. Штатов постепенно уменьшается: обе нации двигаются к какому-то среднему типу, который не является ни капитализмом, ни коммунизмом, ни «демократией», ни «тоталитаризмом».

Уже теперь нет ни одной великой ценности в целой культуре и укладе России и Америки, которая оправдывала бы не только войну между этими странами, но даже продолжение «холодной войны».

В современном, чрезвычайно опасном положении человечества

все творческие силы должны быть направлены на умиротворение вражды и ненависти этих стран, а не на разжигание конфликта. Если бы Запад смог победить Россию, Россия была бы разделена на кусочки и русский народ был бы превращен в колониальный эксплуатируемый народ.

Если война разразится между Россией и U.S.A., ее жертвами будут не Эйзенхауэр, Даллес и Хрущев с Политбюро, а десятки миллионов американского и русского народов.

Эти соображения объясняют, почему в данное время человечество нуждается не в разжигании войны и ненависти между Западом и Востоком, а в умиротворении страстей и конфликтов и, в особенности, в установлении настоящего мира.

С искренним уважением

П. Сорокин

Впервые опубликовано в: *Дойков, Юрий.* Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Том 2. (1922–1968 годы) / Архангельск, 2009. – Сс. 439-441.

Публикация – Roger W. Smith

Ираида Легкая

(1932–2020)

В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения поэта Ираиды Легкой. Ее первая публикация в «Новом Журнале» появилась в 1952 году. И до конца своих дней она оставалась нашим автором – печатая на страницах НЖ стихи, мемуарную прозу, эссе.

Ираида Иоанновна Легкая (это ее настоящая фамилия) родилась в семье священника в Латвии. Отец Иоанн Легкий сыграл значительную роль в истории Православной Церкви за границей (РПЦЗ). О нем Ираида Иоанновна опубликовала в НЖ главы из книги воспоминаний «Летающий архиерей».

В 1944 году семья бежала от Красной Армии в Германию. Жила в лагере Ди-Пи Шляйсхайм (об истории лагеря можно прочитать уникальные материалы на страницах НЖ). В 1949 году Легкие иммигрировали в США.

Ираида окончила Колумбийский университет и с 1963 года начала работать на радиостанции «Голос Америки» в Вашингтоне, затем в Калифорнии и, позднее, в Нью-Йорке. Помимо «Нового Журнала» она активно печаталась в «Возрождении», в «Гранях» и др. С «Гранями» и НТС она была связана и через второго мужа – Бориса Пушкарева, одного из лидеров движения, сына известного историка Зарубежья Сергея Германовича Пушкарева.

Она была среди тех, кто стоял у истоков и была членом редколлегии американского альманаха русской зарубежной поэзии «Перекрестки» (1977–1982), автором четырех сборников стихов. Первая ее книга «Попутный ветер» вышла в 1968 году в Вашингтоне в русском книжном издательстве Victor Kamkin, Inc. О сборнике тепло отозвались два «русских харбинца» – один из лучших поэтов эмиграции Валерий Перелешин и известный американский литературовед Саймон Карлинский.

Сборник «Попутный ветер» Ираида Иоанновна подарила мне с таким инскриптом: «Марине Адамович – с авторскими поправками и с благодарностью. Ираида Легкая. Декабрь 2012 г.» Поправленных стихов было несколько. Я предлагаю читателям НЖ два из них.

Первая поправка – совершенно замечательная. К стихотворению добавлено посвящение «И.Е.». Это – Иван Елагин. По понятным причинам, посвящение не могло появиться в сборнике 68-го года, это вызвало бы разнотолки, для которых не было никаких оснований. Я

вспоминаю рассказы Ираиды Иоанновны о ее дружбе с Елагиным, окрашенной в светлые пастельные тона легкой влюбленности пожилого поэта, для которого молодая начинающая поэтесса стала музой, а годы их общения заполнились и запомнились встречами и творческой перепиской двух понимающих друг друга сердец.

Вторая поправка – это поздняя переделка стихотворения, показывающая, сколь придирчива была Ираида Легкая к своим стихам, не давая оброненному слову просто встать в строку – не будучи погруженным в отделку, в «теску алебастра». В ее стихах много ритмической инверсии, практически всегда отсутствуют знаки препинания, важна графика. Версификация стихов Ираиды Легкой во многом сориентирована на традиции американской поэзии, что понятно (и, кстати, нечасто встречалось у поэтов диаспоры той поры. Может быть, чаще – влияние на уровне лексическом). Тем интереснее оказывается в стихах Ираиды Легкой встреча «русского текста» с приемами западного стихосложения.

Она была необыкновенным собеседником и умела создавать вокруг себя атмосферу доверительной – но интеллектуальной – беседы. По-журналистски четкая, с нелегким характером – и такая *легкая*, притягательная, увлекающая за собой.

Марина Адамович

* * *

(*От руки вставлено посвящение*) – *И. Е.*

Слов не расточаю бесцельно
Вот сейчас читаю
Тоску на твоем лице
Потому что я
        Одна гуляю
А ты живешь с другой
Потому что ветер
        Мой товарищ
А не твой
Потому что тебе знаком
Мелким бисером страх
Потому что мне не бывать
В твоих
        Четырех
                Стенах

* * *

(*Книжный вариант*)

Луна была полной и новой
А ночь все-таки мутной
И сбила меня безусловно
С толку
        И всё перепутала
Ежеминутная утварь
Казалась странной под утро
И чье-то чужое тело
Зарыто было в постели
А в стороне несмело
Стояла я и смотрела

(*Исправлено, начиная со строки «И чье-то чужое тело...»*):

Не своим становилось тело
Зарытое в постели
Со стороны несмело
Я на него смотрела

ИЗ АНТОЛОГИИ «СОДРУЖЕСТВО». 1966

* * *

Я брожу среди твоих улыбок
(есть и у шипов цветы)
Страшно оступиться по ошибке
Вдруг упасть
        И вдруг не схватишь ты
Ветер удивления и страха
Треплет волосами непокрытыми
Холодно от ветра
        Ахают
Дамы над стихами и открытками
Песнями и сплетнями
        Заранее
Превращая жизнь в воспоминания

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ
Картина Сассеты

Насущней воды и хлеба
Приятней чем дом и дела
Дорога волхвов древняя
Раскаленная добела

По небу треснуто-синему
Птицы
(шесть или пять)
Такая простая линия
Что глаз не оторвать

А чистым сердцем и детям
На желтой скале справа
Иглы звездного света
Золотая колючая слава

Публикация – М. Адамович

Татьяна Фесенко

Антология «Содружество». От составителя

О ТАТЬЯНЕ ПАВЛОВНЕ ФЕСЕНКО (1915–1995)

В связи с 90-летием Ираиды Легкой хотелось вспомнить и изданную в 1966 году Виктором Камкиным антологию «Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья». Составителем антологии была Татьяна Павловна Фесенко, поэт, библиограф, эмигрантка второй волны. В свое время в американском Русском Зарубежье она была хорошо известна и стихами, и своей общественной культурной деятельностью. Долгие годы она дружила с Валентиной Алексеевной Синкевич – разница в возрасте не мешала, их связывала общая судьба дипийцев и поэзия; еще по Киеву Фесенко хранила и дружбу с Иваном Елагиным и Ольгой Анстей – война их разбросала по разным дорогам, встретились они неожиданно в дипийском лагере и до конца дней, уже в США, не теряли друг друга.

Татьяна Павловна Фесенко (в девичестве Святенко) родилась в Киеве 7 ноября 1915 года, окончила Киевский университет, факультет иностранных языков, работала в Институте языкознания. В 1943-м остарбайтером была вывезена в Германию. После войны Фесенко с мужем попали в американскую зону, в лагерь для перемещенных лиц. Дипийские лагеря старались не просто выживать, но жить в полное дыхание: работали школы, литературные кружки, издательства. В одном из них Фесенко выпустила пособие для украинцев, изучающих английский язык, «First Step». В 1947 году, получив разрешение на въезд в США, Фесенки оказываются в Вашингтоне, где Татьяна Павловна с 1950-х начинает работать в Библиотеке Конгресса. Она – автор поэтических сборников и мемуаров; она стояла у истоков альманаха «Перекрестки» (совместно с Ираидой Легкой, Валентиной Синкевич и другими), печаталась в альманахе «Встречи» (редактор – В. Синкевич), с 1967 года была автором «Нового Журнала».

Задуманная ею и воплощенная антология «Содружество» – действительно представляет практически всё поэтическое содружество послевоенной Зарубежной России, 75 поэтов, – от Георгия Адамовича, Лидии Алексеевой, Нины Берберовой, Нонны Белавиной, Владимира Вейдле, Юрия Иваска, Глеба Струве, Странника, Екатерины Таубер, Юрия Терапиано, Игоря Чиннова, от Ольги

Анстей, Ивана Елагина, Ирины Бушман, Олега Ильинского, Глеба Глинки, Николая Моршена – до юной Елены Матвеевой. Есть в антологии и подборка Ираиды Легкой – восемь стихов (первое – двучастное). Все участники антологии предоставили составителю свои короткие биографические справки – и сегодня это уникальное автобиографическое свидетельство; в книге воспроизведены и факсимиле автографов поэтов, что в 21 веке воспринимается с особым восторгом, ибо в этих росчерках пера видишь характер человека, давно канувшего в Лету. Но – лучше прочитать предисловие самой Татьяны Павловны Фесенко.

* * *

Предлагаемый сборник – не антология в обычном понимании этого слова. Его нельзя рассматривать, как «Розовый букет, составленный из лучших цветов русской поэзии» – такое название носила антология, изданная в 1839 году. Этим как бы подчеркивалось, что и сам термин ведет свое начало от двух греческих слов, обозначающих «цветок» (anthos) и «собирать» (legein).

В этом году исполняется как раз тридцать лет со времени выхода первой антологии, в которой были собраны стихотворения русских зарубежных поэтов. Мы имеем в виду сборник «Якорь», выпущенный Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором в 1936 году. За ним в 1948 г. (в книге дата не указана) последовала «Эстафета» – сборник стихов русских зарубежных поэтов под ред. Ирины Яссен, В. Андреева и Ю. Терапиано (Нью-Йорк – Париж). В 1953 г. Издательство имени Чехова в Нью-Йорке выпустило антологию русской зарубежной поэзии «На Западе», составленную Ю. П. Иваском.

В сборник «Литературное Зарубежье», вышедший в Мюнхене (Изд[ательство] Центр[ального] Объединения Полит. Эмигрантов из СССР) в 1958 г., вошли избранные произведения не только поэтов, но и прозаиков, однако лишь бывших советских подданных. Антология была составлена из произведений авторов, печатавшихся в предшествовавшее появлению книги десятилетие, т. е. в 1947-57 гг.

В 1959 г. в «Гранях» № 44 появились подобранные Ю. К. Терапиано «Избранные стихотворения зарубежных поэтов, 1920–1960 годы», вышедшие отдельным сборником в следующем же году под названием «Муза Диаспоры».

В подготовленную нами книгу не вошли стихи, отстоявшиеся годами на страницах индивидуальных сборников поэтов, известные читателю как наиболее мастерские произведения, иногда неоднократно представляющие своих авторов в изданиях разного рода. Все стихи, собранные в этой книге, присланы составителю самими поэ-

тами в результате приглашения, сделанного от лица издателя нынешним участникам сборника, и последовавшей за этим переписки. Иногда же сами поэты привлекали к участию своих собратьев по перу.

Особенностью книги является то, что на ее страницах представлены либо нигде еще не опубликованные, либо напечатанные только в периодических изданиях произведения. Во всяком случае – таковы «правила игры», доведенные до сведения всех участников сборника, на слово которых мы вполне полагаемся.

Не исключена возможность, что кто-либо из участников выпустит свой собственный сборник раньше выхода в свет данного издания, и какие-либо стихи, вошедшие в наш сборник, окажутся включенными и в книгу поэта.

Построение сборника на неопубликованном или опубликованном только в периодических изданиях материале является, как мы уже сказали, своеобразной чертой предпринятого нами издания и в то же время это необычайно усложняет задачу составителя.

Чаще легче найти книги, чем установить местопребывание их авторов. Проще спокойно выбрать из уже напечатанных сборников приглянувшиеся строфы, чем строить книгу из вложенных в письма листков, зная при том, что от определенного решения зависит не только пополнение книги, но и развитие взаимоотношений между лицами, осуществляющими издание этой книги, и самими поэтами.

К чести участников нашего сборника следует подчеркнуть, что все они проявили большую чуткость и понимание стоящих перед составителем трудностей и всячески облегчили его задачу.

Необходимо отметить, что наш принцип подбора материала создал затруднения и для поэтов. К сожалению, лица, часто издающие свои сборники или же выпустившие книгу своих стихов незадолго до того, как мы начали работу над данным сборником, располагали очень ограниченными стихотворными запасами или даже совершенно исчерпали их. Поэтому, к огорчению составителя, некоторые поэты представлены в этой книге с недостаточной полнотой, другие же просто отсутствуют.

В сборник включены произведения только и поныне здравствующих поэтов*. Среди них люди разного возраста – так, старейшему из участников сборника, Д. И. Магуле, – восемьдесят шесть лет, самой молодой участнице, Елене Матвеевой, – двадцать один год. Это не могло не сказаться на тематике и манере каждого из поэтов, тяготеющих к той или иной школе даже в чисто хронологическом разрезе.

---

* Печальная весть о смерти В. Л. Корвин-Пиотровского пришла после того, как сборник был уже сдан в печать. (*Т. Ф.*)

Однако мы не задавались целью создать сборник из произведений, написанных только в господствующей теперь манере. Как пишет Кира Славина в одном из своих произведений:

Всё сказано ? Нет, не сказано –
У каждого есть свое.

Предлагая вниманию читателя стихи представителей трех поколений русских людей, живущих в разных странах русского рассеяния, мы с удовлетворением отмечаем, что в нашем сборнике приняли участие поэты, живущие в США, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Англии, Канаде и далекой Австралии. Читая их строки, можно повторить слова Ю. П. Иваска, участника нашего сборника и составителя интересной и ценной антологии «На Западе», уже упоминавшейся выше:

«Эмиграция всегда несчастье... Но эмиграция не всегда неудача. Творчество, творческие удачи возможны и на чужбине».

* * *

Сведения, сообщенные поэтами о себе в следующем за их стихами разделе, нельзя назвать био-библиографическими справками, поскольку в большинстве случаев в них даже не раскрываются псевдонимы поэтов. Они только как бы создают определенный климат, тем более, что присланные поэтами данные (иногда в первом, иногда в третьем лице) не подвергались каким-либо изменениям – этим сохранялась непосредственность разговора поэта с читателем, который сразу может почувствовать, что именно тот или иной автор считает для себя важным, к чему он относится юмористически... И всё же, несмотря на краткость и неполноту сведений, любому, задержавшемуся взглядом на этих скупых строчках, становится ясным то, о чем писала Екатерина Таубер в одном из включенных в сборник стихотворений:

Твой чекан, былая Россия,
Нам тобою в награду дан.
Мы – не ветви твои сухие,
Мы – дички для заморских стран.

По возможности мы старались удовлетворить все пожелания участников сборника, в частности, оставили без изменений пунктуацию авторов, так же как и не добавляли каких-либо разделительных знаков в стихах поэтов, настаивавших на их полном или частичном отсутствии.

В зависимости от желания авторов, под стихами либо поставлены, либо опущены даты. Иногда тот или иной автор, вообще не ставящий дат под своими стихами, выражал желание, чтобы какое-либо из присланных им стихотворений было датировано.

Нам не удалось установить живую связь со всеми поэтами, участие которых было бы желательно в нашем сборнике, а также познакомиться с творчеством ряда других, чьи стихи могли бы оказаться ценным и интересным вкладом в создаваемую нами книгу. Однако мы считаем, что объединение 75 поэтов разных стран русского рассеяния в результате дружественного общения участников и составителя сборника – явление само по себе необычайно положительное и отрадное.

Издатель и составитель предлагаемой книги приносят свою глубокую благодарность всем лицам, любезно согласившимся участвовать в сборнике, а также всем, оказавшим нам помощь в получении адресов и установлении связи с поэтами, в частности М. Е. Вейнбауму, Р. Б. Гулю, Ю. К. Терапиано и Б. А. Филиппову.

Апрель 1966
Татьяна Фесенко

Вступительное слово

«Вступительное слово Татьяны Павловны Фесенко» было мною обнаружено в экземпляре альманаха «Содружество», доставшегося мне от Валентины Алексеевны Синкевич (1926–2018), близкого друга, завещавшей мне свою библиотеку, – богатейшее собрание книг, в том числе – практически полную коллекцию изданий Зарубежья, начиная с послевоенного периода. Рука Валентины Алексеевны заботливо вложила отпечатанные семь страничек «Слова», которое Т. П. Фесенко подготовила как ведущая творческий вечер Ивана Елагина, состоявшийся в честь выхода в свет его книги «Дракон на крыше» в Издательстве Камкина в 1973 году. Очевидно, что Татьяна Павловна, понимая, как тяжело воспринимать на слух долгое выступление – однако о вещах очень важных, принципиальных, дорогих и болезненных как для нее самой, так и для многих присутствующих в зале, – понимая это, отпечатала экземпляры своего выступления. Очевидно также, что на вечере была и Валентина Алексеевна – дружившая с Елагиным и Анстей долгие десятки лет, с того самого совместного путешествия на корабле «General Balou» из Германии в США в качестве дипийцев, получив-

ших разрешение на въезд в Штаты. Они были, в общем-то, одного военного поколения – не по возрасту (разница в десять лет; В.А. была угнана подростком на работы в Германию, она – самый молодой поэт второй эмиграции), но по судьбе. Девочки их – Лиля и Аня – играли на палубе, они же... им было о чем говорить, мир они воспринимали одинаково, жизнь их текла в одном русле, с одними и теми же смертельными порогами. Валентина Алексеевна – помимо поэтического и издательского наследия – оставила для нас на страницах НЖ бесценное описание этой трагической истории послевоенной эмиграции, в лицах и событиях. Вот и еще один подарок от нее мы получили – заложенное в томик «Содружества» выступление ее подруги Т. П. Фесенко.

Марина Адамович

Дорогие устроители сегодняшнего собрания,

Дорогой виновник торжества,

Дорогие друзья книги, читатели и слушатели!

Сегодня, по желанию Виктора Петровича и Елены Андреевны Камкиных, я приняла на себя почетную обязанность представить всем собравшимся дорогого гостя, автора нового и столь изящно изданного фирмой Victor Kamkin Inc.[1] сборника стихов «Дракон на крыше» поэта Ивана Елагина[2], так сказать «в миру» доктора Матвеева, профессора Питтсбургского университета. Иван Венедиктович по скромности своей всегда ежится при упоминании его академического звания, но, так или иначе, ему на роду было написано стать доктором, если и не врачом на нашей родине – его почти завершенное медицинское образование прервала война, – то доктором философии Нью-Йоркского университета. И стать поэтом ему также в полном смысле написано на роду: его дед, Николай Петрович Матвеев (Николай Амурский) – издатель и журналист, автор книги «История города Владивостока»; его отец, известный под именем Венедикта Марта, – поэт-футурист, чьей трагической судьбе в страшную пору «ежовщины» – судьбе наших отцов – посвящено замечательное стихотворение или, вернее, небольшая поэма Елагина «Звезды». Двоюродная сестра Ивана Венедиктовича – Новелла Матвеева – одна из известнейших и оригинальнейших поэтесс Советского Союза; его дочь, Елена Матвеева, – самая молодая участница сборника стихов поэтов Русского Зарубежья «Содружество», изданного Виктором Петровичем в 1966 году, где ее самостоятельный и свежий голос зазвучал, не заглушаемый голосами таких мастеров, как ее отец и мать, – поэты Иван Елагин и Ольга Анстей[3].

Конечно, я не могу пообещать вам, что и семилетний Сергей

Иванович пойдет в отца – пока из всех книг его больше всего волнует каталог игрушек «Сирса»[4], но сборник «Дракон на крыше» посвящен именно ему, и пока что он проявил себя как образцовый слушатель отцовских произведений.

Итак, предполагается, что я представлю собравшимся поэта Ивана Елагина, но это, по сути, совершенно не нужно – имя автора четырех больших сборников достаточно известно и в Зарубежье, и у нас на родине, куда волны «Голоса Америки», «Радио-Свободы» и «Радио-Канады» доносят его стихи и куда всё же проникают его книги[5].

Как сообщило «Новое Русское Слово» еще 31 декабря 1966 года, Евгений Евтушенко, выступая в Нью-Йорке (перед самым своим отъездом в СССР) на съезде преподавателей славянских и восточноевропейских языков, после чтения своих стихов предложил задавать ему вопросы.

Кто-то из участников съезда спросил:

– Кого Вы считаете самым талантливым из эмигрантских поэтов?

Уточнив, что речь идет о еще здравствующих поэтах, Евтушенко ответил, не задумываясь:

– Самым талантливым я считаю Ивана Елагина,

– но тут же осудил его «Политические сатиры». Далее он отметил творчество поэта Николая Моршена и, как он выразился, «батюшки-архиепископа Сан-Францисского Иоанна»[6].

В 1972 году, выступая в Питтсбурге в Haim Hall перед многотысячной аудиторией, тот же Евтушенко сказал: «Зачем вы приглашаете такого спорного (по-английски – controversial) поэта из Сибири, как я, когда у вас тут в Питтсбурге живет русский поэт Иван Елагин?»

Вместо представления поэта я лучше расскажу вам в нескольких словах о рождении Елагина. Не о том, как 1 декабря 1918 года он появился на свет во Владивостоке – даже если бы я присутствовала при этом знаменательном событии, то по крайней молодости лет вряд ли бы его запомнила, – а о рождении и становлении поэта, которые происходили у нас на глазах, – ведь связаны мы верной дружбой уже 33-ий год, помним друг друга еще молодыми и стройными, во что уже трудновато поверить. Впрочем, о жизненном пути Ивана Елагина от берегов Днепра до берегов Гудзона лучше меня рассказывают его собственные стихи.

* * *

Страшная зима сорок второго года. Вымирающий от голода, вымерзающий, затемненный, опустошенный Киев. Ни воды, ни элек-

тричества. В маленькую железную печку – «буржуйку» – подбрасывают странное топливо, недоступное воображению американцев даже во времена топливного кризиса: в соседском дворе обнаружили склад противогазов, брошенных каким-то советским учреждением, и запах горящей резины забивает в комнате чад от пекущихся на этой же печурке лепешек из полусгнившего картофеля.

Тут же у огня сидит частый и желанный гость – очень молодой, очень худой, большеглазый. Иногда он нараспев читает еще нигде не напечатанные горькие стихи о Киеве времен немецкой оккупации[7]:

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча,
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча...

За окном, покрытым толстым слоем льда, за одеялом, отделяющим нас от мира, от пустынных улиц, где иногда потрескивают выстрелы, звучит для поэта жуткая «Камаринская»:

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.

В эту необычайно суровую зиму

Не помышлять, не думать об уюте,
Не отогреть чернила на столе
.....
И долго мы признательны минуте,
Случайно пересиженной в тепле.

Еще несколько месяцев, и у нас не будет уже своего угла – ни холодной комнаты, ни раскаленной печурки, ни стола, ни даже томика Софокла:

Родина! Мы виделись так мало
И расстались. Ветер был широк.
И дорогу песня обнимала,
Верная союзница дорог.

Дальше и дальше уносит нас судьба от «города юности»:

От полустанка до полустанка,
То водокачка, то вагонетка...
——
Ветер бреющим полетом
Бьет по спинам поездов
И поет, поет по нотам
Бесконечных проводов.
.....
Ветер нищих! Ветер вдов!

Поезда разные, доля одинаковая:

А мы уже в сотом доме
Маемся кое-как.
Нет для нас дома кроме
Тебя, дощатый барак.

Идут дни, недели, месяцы. Сменяют друг друга русские, английские, американские бомбардировщики:

...Смерть уже свистит над головой,
Смерть уже от лопасти крылатой
Падает на землю по кривой...

И все-таки нам суждено дожить до тех весенних дней, когда

Встал на дороге первый
Бронированный ихтиозавр,
Горячий, отяжелелый,
Он грузно пополз по песку,
Сверкая звездою белой
На обожженном боку.

И мы, на него глазея,
Стояли ошеломлены,
В этом страшном музее
Окончившейся войны.

В лагере для перемещенных лиц, где луна, заглядывая в окна, чертит «на голом полу тоску двухэтажных кроватей», где люди ютятся за перегородками из серых одеял, встретились киевские друзья. На дорогах войны растерян весь скудный скарб, взятый с собой в путь,

но зато найдены чудесные стихи. И вот, весной 1947 года выходит в Мюнхене маленькая книжечка – «По дороге оттуда» Ивана Елагина, включавшая, однако, стихотворение «Уже последний пехотинец пал», ставшее впоследствии чуть ли не самым широко известным произведением поэта.

Интересно, что в 1962 году, ровно через 15 лет после выхода своей первой книги стихов, Елагин прочтет именно это стихотворение на пятьдесят втором ежегодном торжественном обеде The Poetry Society of America, на котором чествовали знаменитого американского поэта Роберта Фроста и где сам Иван Елагин присутствовал в качестве почетного гостя. На английском языке это стихотворение прочел известный переводчик Дэвид Росс.

В 1948 году в Мюнхене рождается еще одна малютка – сборник «Ты, мое столетие». Обе эти книги «подрастут», объединенные в один том, изданный под общим названием первого елагинского сборника Издательством имени Чехова в Нью-Йорке в 1953 году.

В те же далекие времена вот как откликнулся на выход первых книг молодого поэта Нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин. В письме, датированном «Villa de Journal, Juan-lee-Pins, 12 января 49 г.», Бунин пишет:

«Дорогой поэт,

Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки, Вашей смелости, находчивости, но порой Вы неумеренны и уж слишком нарочиты в этой смелости, что, впрочем, Вы и сами знаете, и отчего, надеюсь, Вы скоро избавитесь.

Желаю Вам всего доброго и прошу извинить меня, что так поздно отвечаю Вам, – был долго нездоров в Париже, нездоров и сейчас, пишу с трудом еще и потому, что лечу глаза, очень утомленные.

Ив. Бунин»

В том же 1949 году, опять-таки в Мюнхене, была напечатана наименее известная, но, пожалуй, по своему возникновению, самая удивительная из всех книг Елагина. Эта недооцененная и критиками, и самим автором веселая и остроумная комедия-шутка – «Портрет мадемуазель Таржи» – писалась в страшное время – в период насильственной репатриации, жертвами которой стали не только власовцы и казаки, но которая грозила и всем Ди-Пи – бывшим советским гражданам, как это наглядно показала трагедия Кемптена[8]. По лагерям поползли зловещие слухи, люди с ужасом ожидали прохождения комиссий, и вот именно тогда зазвучали задорные и забавные строки Елагина, вызывавшие улыбку на хмурых лицах, а позже послужившие доказательством разностороннего таланта их автора и дающие ключ к пониманию психологии этого поэта.

В своеобразном варианте «разговора у театрального подъезда», вложенном лишь в «подарочные экземпляры» пьесы, Елагин, обращаясь к заокеанскому «залетному гостю», говорит:

Вам жути хочется, а мне всё время жутко,
Меня от гибели спасала только шутка.
И как голодного не понимает сытый,
Так не понять и вам, что смех нам был защитой.

Вспоминая всё страшное, пережитое и на родине, и в годы беженства, Елагин указывает:

И если смерть и страх вплотную к нам стоят,
То вправе мы от них обороняться смехом...

Но вот, наконец, благополучно пройдена и репатриационная комиссия. Писательница Ирина Сабурова[9] в своей юмористической «Дипилогической азбуке» так изобразила этот трудный момент:

«– Ммм, – обычно отвечает Дипи на вопрос комиссии, кто он такой. – Я, собственно говоря, югослав, но родился в Литве, проживал до 1938 года в Румынии, а по национальности и религии – штатенлос, польский подданный. Из иностранных языков, кроме русского, разумею украинский.»

Я не буду утверждать, что и мы, и семья Матвеевых придерживались именно этого варианта, но результат оказался положительным. Было еще немало всяких треволнений, но, наконец, из вод океана встал перед глазами

Мой город грозный, город грандиозный,
Под небом звездным, сам как небо звездный.
В прожекторах, в светящихся рекламах
Он полыхает, как волшебный замок.
И Млечный Путь не возгордился чтобы,
Есть Встречный путь – ночные небоскребы...

В Нью-Йорке жизнь для Елагина сложилась нелегко. Вначале были обычные для новоприбывших осложнения – незнание языка, невозможность получить подходящую работу, бытовая неустроенность, которую с таким юмором изобразил сам поэт в «Оде с воздыханиями» на покупку нами дома в 1957 году (напечатана в 1960 г. в четвертом номере альманаха «Мосты»[10]):

...Я тот, кто караулит ванну!
Кто, вставши в очередь чуть свет,
Стремится в ванну, как в нирвану...
А в ванне – бреется сосед!
Я – коридорный проходимец!
Кухонный выкидыш! Я тот,
Кого хозяин-лихоимец
По четвергам в засаде ждет...

Но и этому периоду «незаземленности» в жизни Ивана Елагина пришел конец. Его вторая жена Ирина не только окружила его теплом, уютом и заботой, но и не нарушила его крепкой человеческой и творческой дружбы с Ольгой Анстей, руками которой и отпечатаны на машинке все стихи только что вышедшего сборника.

Зато пришли трудности иного порядка. После утомительного дня в редакции «Нового Русского Слова» и самоотверженной работы в Правлении Литературного Фонда, отнимавшей долгие часы, – напряженные занятия в университете и всё более интенсивная литературная деятельность. Чаще всего Иван Елагин печатается в «Новом Журнале», но сотрудничает также в парижских изданиях – «Возрождении» и «Русской Мысли», в канадском «Современнике»[11], в альманахе «Мосты» и в «Новом Русском Слове». В 1959 году выходят его «Политические фельетоны в стихах», в 1963 г. в издании «Нового Журнала» появляется сборник «Отсветы ночные», в 1967 году за ним следует сборник «Косой полет». Кроме этого, Иван Елагин завершает огромный труд – он переводит поэму выдающегося американского поэта Стивена Винсента Бене (Stephen Vincent Benet) – «Тело Джона Брауна» в 12.000 строк. Этот перевод входит органической частью в его докторскую диссертацию, а первая глава поэмы – всего их восемь – была напечатана в журнале «Америка» в феврале 1970 года.

В свою очередь, творчество Елагина привлекает к себе внимание переводчиков. Так, в *Art International – The Lugano Review* появляется перевод «Амнистии», сделанный Бертраном Вульфом, в *Russian Literature Triquarterly*, № 5, 1973, напечатано стихотворение «Черновик» в переводе Р. Моррисона. В антологию *Russian Modern Poetry*, составленную профессором Владимиром Марковым и напечатанную в Англии в 1966 г., вошли «Мне незнакома горечь ностальгии» и «Уже последний пехотинец пал».

Иван Венедиктович является также автором статей на английском языке, помещенных в специальных изданиях и касающихся вопроса перевода поэтических произведений и места Эдгара По в поэтическом наследии Блока.

Несмотря на то, что Иван Елагин долго не мог оправиться от последствий тяжелой автомобильной катастрофы[12], он много выступает с чтением своих стихов в высших учебных заведениях и общественных организациях Америки. Так, за период 1971-73 гг. таких выступлений было уже около двадцати. Елагин читал свои произведения в Йельском, Принстонском, Колумбийском, Мичиганском, Питтсбургском, Мерилендском и других университетах, а из писем и газетных сообщений нам известно, что выступления Елагина в Калифорнии прошли с большим успехом и при переполненных залах.

Здесь не место заниматься подробным разбором творчества Елагина – это уже сделано во многих статьях и послужит темой еще многих работ. В заключение я хочу только остановиться на одном стихотворении, посвященном дочери Лиле, где Иван Елагин изложил свое поэтическое credo, поделился с ней как бы рецептами своей творческой кухни. Там он говорит:

Бойся благоустроенных слов,
Слов-чиновников, слов-бюрократов,
Слов без выступов, слов без углов,
Гладко выбритых, щеголеватых.

Чтобы стих по-степному был дик,
Как душа, был широких размахов –
Напусти в него слов-забулдыг,
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов.

И в словах оставляй сквозняки.
Если схватит читатель простуду,
Значит, ветер качает стихи,
И стихи уподобились чуду.

Сочиняй с разумением в лад,
Никогда не гоняйся за звуком;
Сочиняй, как хозяйка салат:
Чтоб запахло укропом и луком.

Стихи Ивана Елагина полны оригинальных мыслей и удивительной изобретательности, иронии и грусти, раздумий и юмора, ярких красок и неповторимых образов, цветов и запахов. Предоставим же слово самому поэту и с благодарностью прислушаемся к его стихам в выразительном чтении их автора.

Татьяна Фесенко

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Корпорация Victor Kamkin Inc. включала книжные магазины и издательство. Виктор Петрович Камкин (1902–1974) родился в Санкт-Петербурге в семье русского чиновника, работающего в программе столыпинских реформ. В Гражданскую войну воевал в Армии Колчака, эмигрировал в Харбин в 1923 году. Окончил Русскую школу правоведения в 1928-м. В 1929 уже в Шанхае стал сооснователем книгоиздательства «В. П. Камкин и А. П. Малык» и совладельцем библиотеки. В 1936 году учредил «Издательство Камкин и Попов», затем издательство «Слово». С мая 1937-го в Тяньцзине заведовал книжным магазином «Знание» («Наше знание»), библиотекой и книгоиздательством «Наше знание». Был избран председателем Российской эмигрантской ассоциации Циндао. Работал в американских организациях. Перед вступлением в 1949 году коммунистов в Шанхай был выбран председателем Русского эмигрантского общества по выезду из Китая на Филиппины при помощи организации UNRRA. Вместе с супругой Еленой Андреевной переехал на постоянное жительство в США, в штат Теннесси, где занялся фермерским хозяйством. С 1952 года в Вашингтоне. В 1953 году открыл первый в городе магазин русской книги «Victor Kamkin Bookstore». Через советскую организацию «Международная книга» получал издания из СССР и продавал в своих магазинах. Камкины создали самую крупную в мире русскую книготорговлю и самое большое книжное дело в Америке. В 1959 году Камкин начинает издательскую деятельность. Его магазин стал местом, где собирались русские эмигрантские писатели и поэты, устраивались вечера, сюда приезжали писатели из СССР. К началу 1970-х годов его книгоиздательское и книготорговое предприятие становится одним из крупнейших и известнейших в мире издательств русской книги за пределами СССР. Только на вашингтонских складах хранилось около 12 млн книг, а всего было издано около 70 авторов. Предприятие имело отделения в Сан-Франциско, Рочестере (шт. Нью-Йорк), Чикаго, Лос-Анджелесе, Хартворде (шт. Коннектикут), Филадельфии, Нью-Йорке. Основанная Камкиным книготорговля после его смерти продолжалась под руководством его вдовы Е. А. Камкиной, затем магазин перешел к внуку. Предприятие перестало существовать в 2002 году.

2. Елагин Иван Венедиктович (Уотт-Зангвильд-Иоанн Матвеев, 1918, Владивосток, – 1987, Питтсбург), поэт, переводчик, вторая волна эмиграции. Сын поэта Венедикта Марта. После смерти матери и ареста отца бродяжничал, потом жил у родственников в Киеве. В 1937 году женился на поэтессе Ольге Анстей (Штейнберг). До войны учился в Киевском медицинском институте. В 1943 году при наступлении Красной Армии покинул Киев, оказался в Германии. После войны находился в лагере Ди-Пи Шляйсхайм. В 1950 году получил визу в США. Учился в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, защитился. Преподавал в Питтсбургском университете.

Публиковался в «Новом Журнале» с 1949 года, еще находясь в дипийском лагере. Один из самых известных поэтов второй волны эмиграции. Автор более десятка поэтических сборников, драматического текста «Портрет Мадмуазель Таржи», Собрания сочинений в 2-х тт. (Составитель, автор предисловия – Е. Витковский. 1998).

3. Анстей Ольга Николаевна (Ольга Николаевна Штейнберг, 1912, Киев, – 1985, Нью-Йорк), поэт, переводчик, вторая волна эмиграции. Окончила Киевский техникум иностранных языков. В 1937 году вышла замуж за поэта Ивана Елагина. В 1943 году бежала с мужем из Киева, находясь на последнем месяце беременности. Дочь Инна родилась в Германии, скончалась в том же году. В «Новом Журнале» начала печататься в 1949 году, одновременно с Елагиным. В 1949 году в Мюнхене вышел ее первый поэтический сборник «Дверь в стене». С 1950-го в США, работала в ООН. В 1951 году второй раз вышла замуж на литературоведа и писателя второй эмиграции Бориса Филиппова (Филистинский, 1905–1991). Переводила с немецкого, английского, украинского.

4. Торговая фирма Sears, сеть магазинов по всем США.

5. Как вспоминал российский историк литературы эмиграции, писатель Евгений Витковский, в самиздате стихи Ивана Елагина широко распространялись и были хорошо известны. Косвенно славе поэта в литературных советских кругах послужили и его встречи с Евгением Евтушенко и Даниилом Граниным в их приезды в США. (Оба предлагали Елагину вернуться – Евтушенко, якобы, мимоходом, «для отчета», Гранин – убежденно, с описанием всех советских «преимуществ». Елагин отказался.) На самом деле при жизни Ивана Елагина его стихи не были напечатаны в СССР, публикации появились лишь с 1988 года в связи со смертью поэта (скажем, в журналах «Нева» и «Огонек»), но до середины 1990-х поэзия второй волны эмиграции так и не была доступна советскому читателю. А вот перевод Елагиным поэмы «Тело Джона Брауна» С.-В. Бене (за что он получил докторскую в Университете Нью-Йорка) был опубликован в ж. «Америка» в 1970 году, а в 1972, как опять отмечает Е. Витковский, в «Известиях» Евгений Евтушенко фактически процитировал елагинские известные строки: «Кто не убьет войну / Того война убьет». Надо признать, что Е. Евтушенко, высоко ценивший Елагина, и впоследствии делал всё, чтобы стихи поэта-эмигранта стали доступны читателю в России.

6. Странник (архиеп. Иоанн Сан-Францисский, в миру кн. Димитрий Алексеевич Шаховской. 1902–1989), поэт, богослов, первая волна эмиграции.

7. Цитируемые стихи вошли в сборник «По дороге оттуда», изданный в 1947 году в дипийском лагере. В книге впервые использован псевдоним «Иван Елагин» (о происхождении псевдонима существует несколько убедительных версий, однако сам поэт никогда не уточнял, как именно возник псевдоним).

8. 12 августа 1945 года произошла выдача союзниками беженцев в лагере

Кемптен. Было насильно вывезено больше сотни жителей лагеря, несколько человек погибло. Вот как описывал ген. В. Г. Науменко произошедшее: беженцы столпились в церкви, «...Хватали женщин за волосы и выволакивали из церкви, мужчин, кого за грудь, кого за бороду, кого пинками в спину или ударами колена выбрасывали вон. Били прикладами… Когда некоторые пытались выбрасываться из церкви через окно, то по ним стреляли и сбрасывали с подоконников. Один отец бросал своих детей в окно, а там внизу какой-то литовец из соседнего лагеря их подхватывал. Солдат выстрелил в него и смертельно ранил в живот... Было вывезено пять грузовиков. Сколько всего людей, пока никто не знает! Кто говорит – 120, кто – 150 человек! Увозимые плакали, молили о спасении, но спасти их было некому!» (*Науменко, В. Г.* Великое Предательство. Казачество во Второй мировой войне. Выдачи в Кемптене, Дахау и Платтлинге / Нью-Йорк. 1962)

9. Ирина Сабурова (1907, Рига, – 1979, Мюнхен), поэтесса, прозаик, первая волна эмиграции.

10. «Мосты» – литературно-художественный и общественно-политический альманах. Издавался в ФРГ и США с 1958 г. – издательством ЦОПЭ (Центральное объединение политических эмигрантов из СССР), затем два номера были выпущены «Товариществом зарубежных писателей», а последние три номера (1968–1970) – в США Г. Андреевым (Хомяковым), членом редколлегии альманаха.

11. «Современник» (1960–1980), «журнал русской культуры и национальной мысли». Издавался в Торонто под редакцией профессора Л. И. Страховского.

12. 31 декабря 1971 года Елагин вместе с семьей – женой и сыном – попал в автокатастрофу по дороге из Чикаго. Все остались живы, однако Иван Елагин сильно пострадал и долго лежал в больнице.

Публикация – М. Адамович

Марина Адамович

Заштатная муза Ивана Елагина

Пожалуй, из всех поэтов послевоенной волны эмиграции Ивану Елагину повезло более других. Сегодня он известен широкому кругу читателей. Однако при жизни поэта, мечтавшего о российском читателе (по признанию его друга, поэта Валентины Синкевич), не было ни одной публикации его стихов в Советском Союзе. Лишь в экзотичном журнале «Америка» вышли его переводы да Евгений Евтушенко всячески старался сделать имя Елагина узнаваемым в кругах интеллигенции. Безызвестность – участь практически всей литературы второй волны эмиграции. В годы перестройки казалось, что ситуация начинает меняться и русская литература XX века обретет, наконец, свое подлинное лицо, искаженное советскими пропагандистами, но уже на втором десятилетии нынешнего века власти предержащие вновь достали из сталинских закромов списки «врагов народа» и, похоже, что тема «второй» закрылась на ближайшее будущее.

«Новый Журнал» публиковал Ивана Елагина с 1949 года, еще из дипийских лагерей; много писал о нем на протяжении десятилетий. Образ трагического лирика представлен на страницах журнала объемно и достаточно полно; столь же подробно описана и биография поэта, хотя многое еще предстоит узнать и ввести в исследовательский литературоведческий контекст. Знатокам известны и поздние публицистические стихи Елагина. Публикуемое в этом номере выступление Татьяны Фесенко, дипийки и давнего, по юности в Киеве, друга Елагина, дает емкий и выразительный портрет поэта-лирика.

Нынешняя же публикация раскрывает совершенно иной образ Елагина – сатирика, пародиста, весельчака. «Альбом своих домашних и шуточных стихов мой отец озаглавил: ‘Заштатная муза. Домашние, шуточные, легкомысленные вирши. Письма в стихах. Эпиграммы. Стихи для детей и внуков.’ В этом альбоме собраны очень разнородные стихи – от веселых домашних дразнилок до афористично сжатых эпиграмм», – писала дочь поэта Елена Матвеева в статье «Муза в домашних тапочках» в *Canadian-American Slavic Studies*, специальном номере, посвященном Ивану Елагину и собранном его студентами (№ 1-4, 1993). Большинство этих шуточных стихотворений сохранилось только в семейном архиве, хотя отдельные стихи иногда появлялись в печати (например, стихи на 70-летие прозаика Л. Д. Ржевского

«Тебя поздравляю сегодня, друг, с итогом высоких дней» включены в сборник «В зале Вселенной»; стихи Андрею Седых напечатаны в сборнике «Три юбилея Андрея Седых»; в книге мемуаров Т. Фесенко «Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным» опубликована «Ода с воздыханиями на случай покупки дома друзьями»); какие-то стихи появлялись в дипийских изданиях – но где они, эти скромные журналы и газетные листки?..

Да, несмотря и вопреки полной драматизма судьбе, дипийцы оставались в центре «живой жизни» – может быть с особым наслаждением выживших вдыхая ее аромат, ее краски и парадоксы и оценивая ее Божественную комедию. Домашний альбом Елагина в этом смысле – документ уникальный! Поэт включил в него стихи еще киевского, добеженского, периода, – когда юные Иван Матвеев (настоящая фамилия Елагина) и Ольга Штейнберг (Анстей – выдающийся поэт второй эмиграции!) еще не знают, что они будут вместе и вместе же пройдут по дорогам военных испытаний; затем мы листаем страницы дипийских стихов Елагина – полные горькой иронии и сарказма обреченного, но не сдающегося человека. Скажем, вот эти строки – очевидно, написанные после проваленного интервью на получение выездной визы из Германии или на скрининге (проверка на «чистоту» от коллаборационизма; не прошедшим скрининг грозила выдача СМЕРШУ и возвращение в СССР – что было равносильно смерти):

В раю,
как известно, –
бананы и финики,
Паровое отопление
и прочие богатства.
Но я
провалился в раю
на скрининге,
И теперь
не знаю
куда податься...

Поэт обыгрывает ситуацию и разворачивает картинку своей «загробной жизни», полную ядовитой иронии и отчаяния.

Или стихотворение «Маяковский об эмиграции» (стилистическая пародия на «горлана-главаря» – которого, кстати, как поэта Елагин ценил):

...Калачом
не заманите
к папуасам,

У
папуасов
тоже
вожди!..

И как разительно меняется стиль и качество юмора, когда страдания апатрида позади, когда любые бытовые испытания вызывают, после пережитого в войну, лишь иронию и легкий, добрый, а то и гомерический смех.

Я слов двадцать знаю по-английски,
Ты по-русски знаешь слова три.
Я под вечер пью с тобою виски
И с тоской смотрю на словари...

Или вот такое «Послание Юрию Большухину от Сашки-кота в ответ на поздравление с днем рождения» (Ю. Большухин – коллега Ивана Елагина по «Новому русскому слову»):

Большухин, я печалюсь неспроста,
Жаль, очень жаль, что нет у вас хвоста.

Ни цвет волос, ни красота, ни рост,
Для личности всего важнее – хвост...

Большухин, чаще думайте о том,
Что будущее мира – под хвостом,

Что и Шекспир, и Рафаэль, и Фрост,
И Дант, и всё – пойдет коту под хвост...

Е. И. Матвеева пишет: «В шуточных стихах Елагина, как и в его поэзии вообще, ясно видна его любовь к слову, любовь к языку со всеми его особенностями, шероховатостями, даже нелепостями. Он любил игру слов и игру словами, жонглирование оттенками звука и смысла. С ним всегда было весело играть в буриме, состязаться в переводе и в стихах на заданную тему, сочинять акростихи и полиндромы (‘те, что туда дадут отчет’) и подбирать смешные рифмы. Помню, как подъезжая к Бостону, отец обяснял, что вся разница между оптимистом и пессимистом упирается в ударение: оптимист восклицает ‘Массачузеттс масса чудес!’, а пессимист возражает: ‘В Массачузеттсе масса ужасов!’» В альбоме много стихов, посвященных домашним Елагина, в частности, его детям – Елене-Лиле и

Сергею (сын от второго брака). Потеряв в страшные беженские годы своего первенца – дочь Инну (так возник первый сборник стихов Елагина – «По дороге оттуда», по дороге с кладбища, на котором в 1944 году молодые родители навсегда оставили дочь, не имея возможности вернуться на дорогую могилу), Елагин был особенно заботливым отцом; страх потерять ребенка не оставил его до конца дней (об этом пишет Елена Матвеева в публикуемом в этом номере эссе об отце «Рыцарь духа»). А под посвященным ей стихом она сделала следующую запись: «У Лильки был только один цветной карандаш – синий. Ее мать вспоминала, как Лилька, раскрашивая картинку, вслух рассуждала: ‘У Лёвы, думаю, бывают зубы синие?..’»... В этом детском воспоминании отражена вся трогательная, нежная забота родителей-беженцев, старающихся оградить ребенка от страшной реальности.

В 1950-м Матвеевы выезжают в США на корабле «Генерал Балу». В середине 1960-х Елагин нашел работу в «Новом русском слове», в отделе рекламы (тогда любая работа была хороша, жили критически бедно, Елагин заканчивал образование в университете и устроиться в газету – это было почти удача). В альбоме есть страничка с примерами таких объявлений: «Всё отдашь за наш БАНДАЖ!»; «Где ни ищи – на земле, на небе ли / Нет элегантнее нашей мебели!»; «Теософ-йога! / Последняя мода! / Впускаю к Богу / С черного хода». В альбоме сохранилось четыре шуточных послания-пародии на коллег Елагина по НРС, мы предлагаем два из них – на главного редактора Андрея Седых. Несколько стихов написано от лица елагинского кота; многие домашние вирши посвящены второй жене Елагина – Ирине, «ханум» (она была русской эмигранткой из Персии) или «пуделю» (как вспоминает Елена Матвеева, у Ирины была копна вьющихся золотистых волос).

В альбоме есть стихи, посвященные друзям Елагина, – Сергею Голлербаху (1923–2021) (это шуточное четверостишие об «уродах голлербаховской породы» широко разошлось по эмиграции), Борису Нарциссову, Владимиру Юрасову и Николаю Моршену. Поэт Борис Нарциссов (1906–1982), химик по образованию, познакомился с Матвеевыми – Иваном и Ольгой – еще в дипийском лагере Шляйсхайм. Там же он получил визу в Австралию (выездные визы принимались любые, главное было – уехать из Германии), с течением времени Нарциссов переехал в США – в Нью-Йорк и, затем, найдя постоянную работу, – в Охайо.

Владимир Юрасов (1914–1996), о многочисленных псевдонимах которого стихотворение «Четверо жило в Нью-Йорке саврасов...» – прозаик, журналист Радио «Свобода», известный своим романом «Параллакс» (первоначальное название – «Враг народа»).

В «Письме Николаю Моршену», одному из самых талантливых поэтов второй эмиграции, известному своими стилистическими поисками и особой игрой со словом a'la В. Хлебников, Елагин с иронией напишет: «...И хоть язык костра и заплетался, / Но всё же был он на язык остер».

К данной публикации отдельных стихов из альбома мы присоединили и два стихотворения Ольги Анстей, спутницы Елагина на протяжении самых тяжелых лет его жизни. Глубокий лирик уровня Ахматовой, Ольга Анстей неожиданно представлена в этой публикации пародистом, виртуозно владеющим формой, и блестящим переводчиком – каким ее знала литература второй волны. Перевод Оскара Уайльда тем ценнее для исследователей, что, по признанию дочери Анстей и Елагина, Елены Матвеевой, – это последнее, что написала ее мать перед смертью.

Талант Анстей и Елагина высоко ценил и Иван Алексеевич Бунин. Сегодня мы предлагаем его письмо Ольге Анстей – отклик на ее первый сборник стихов «Дверь в стене» (1949). Почти все стихи сборника написаны в 1930-х годах еще в Киеве. Название же отсылает нас к рассказу Герберта Уэллса – «The Door in the Wall», о чем написала в свое время, заметив эту связь, друг Ольги Николаевны и исследователь культуры послевоенной волны эмиграции поэт В. А. Синкевич. С ее предположением трудно не согласиться – помятуя о глубокой погруженности и знании Ольгой Анстей английской поэзии. Псевдоним «Анстей» начинающий поэт Ольга Штейнберг взяла по имени английского писателя Thomas Anstey Guthrie (1856–1934).

Атмосферу семьи Елагиных, конечно же, дополняет и шуточное стихотворение самой Елены Матвеевой, поэта малоизвестного, но чрезвычайно талантливого, – которого отмечали старшие товарищи по перу из второй волны. Мы также предлагаем читателю ее небольшой очерк об отце – легкая нотка, заставляющая зазвучать всю партитуру этой неизвестной, ушедшей от нас, практически потерянной жизни послевоенной творческой русской диаспоры.

В Приложении к семейной публикации Елагина-Анстей-Матвеевой мы предлагаем письмо Владимира Шаталова к Ивану Елагину. Владимир Шаталов (1917–2002) – один из ведущих художников второй волны эмиграции. В узкий круг признанных в США художников русской послевоенной волны входили Сергей Бонгард (Бонгарт), друг Елагина еще по Киеву, Владимир Шаталов, Сергей Голлербах, братья Михаил и Виктор Лазухины – пять академиков Американской Национальной академии дизайна. Владимир Шаталов известен и стихами. Он публиковался в эмигрантских альманахах «Перекрестки» (был одним из учредителей и членом редакционной

коллегии) и «Встречи» (гл. редактор В. А. Синкевич). Высказанная Шаталовым идея синкретичности культуры, гипертекст которой работает на стыке искусств, безусловно, выразила то общее настроение творческого круга послевоенных литераторов и художников, создавших удивительную атмосферу созидания и высокой духовности, что по праву вносит их имена в списки подлинной русской культуры XX века.

Мы выражаем глубокую благодарность Елене Матвеевой за предоставленные материалы из семейного архива.

Иван Елагин

Заштатная муза

Домашние, шуточные, легкомысленные вирши. Письма в стихах. Эпиграммы. Стихи для детей и внуков.

* * *

Живою ниткой шита плоть:
Порвется – только потяните!
Была ли глина в дефиците
Или обмерился Господь –
Но матерьял для рук и ног
Весь израсходовался на нос.
Махнул рукой на это Бог!
И заключить я сразу мог,
Что с этим носом и останусь:
Иной заметит мне дурак:
– Да-с, носик ваш, не слишком много ль?
Но утешение мне Гоголь
И Сирано де Бержерак!

Киев

СКАЗКА О ЛЮШКЕ*

Не за дальними горами,
Не за синими морями,
Не за тридевять земель,
А близехонько отсель,
На той улице Подвальной,
Не хрустальный, коммунальный
Дом стоит, а в доме дверь;

Остановимся теперь.
Пробуй днями и ночами,
Не открыть ее ключами,
Ей отмычки нипочем, –
Открывается плечом!
А за той, за самой дверью
По народному поверью
Люшка сохнет от тоски
И сморкается в платки!
Есть у Люшки той собака
Наподобье вурдалака:
Выйдет из дому – бела,
Возвращается – смола.
Окромя собаки скверной
Был жених у Люшки верный.
Образован, скромен, тих,
Замечательный жених!
А каким он был умелым!
Чуть светает – занят делом:
То он ходит на базар,
То он ставит самовар!
Чудо, мастер на все руки,
До чего ж любил науки,
Двадцать лет, а посмотри –
Все читает буквари!
Но на счастье иль на горе
Он сбежал от Люшки вскоре.
Как и что и почему
Не понравилось ему?
Не стервятники соседи,
И не дворники медведи,
Не ехидна управдом,
А причиною был в том
Страшный Люшкин недостаток:
Не умела класть заплаток!
А жилец ли в наш-то век
Без заплаток человек!?
С этих пор горюет Люшка,
Под головкою подушка,
Под подушкою платок,
А в платке-то слез поток!

Тут и кончить мне пора бы,
Но уста поэтов слабы,
И поэтому поэт

Вам поведает секрет:
Хоть и Люшка неумела,
Хоть и Люшка похудела,
Хоть и Люшка и больна,
Хоть и Люшка сатана,
Всё равно я эту Люшку
Не сменяю на царь-пушку!

Киев

* Люша – так звали друзья Ольгу Штейнберг-Анстей.

* * *

Лилька* ела и болела
И меняла города.
Ах, как Лилька постарела
За последние года!

Ей ничто уже не мило,
Утомила беготня.
Ей за два перевалило
Вот уже четыре дня!

Западная Германия

* Лилька – это Елена Матвеева, дочь Елагина и Анстей. Родилась в 1945 году в Западной Германии.

* * *

Проживает волк в шкафу.
У него больная лапа.
Что за глупости, фу-фу,
Распускает этот папа.

Волк бывает на картине,
Если в книжке есть зима.
Хвост у волка синий-синий,
Лилька красила сама.

А гулять в шкафу по полкам –
Надо быть преглупым волком,
Этот папа бестолков,
Всюду видит он волков!

Хорошо, изменим планы
И поедем на луну,

На луне большие ванны,
В каждой ванне по слону.

На слонах косоворотки
И баварские штаны,
Целый день читают сводки
Эти самые слоны.

Разве можно слушать папу?
Папа мелет чепуху.
Это вечер вешать шляпу
Гвоздь вбивает наверху!

Папа, видно, выпил водки
И здоров он не вполне,
Если папа эти сводки
Видит даже на луне.

ПРОЕЗДОМ С ТОГО СВЕТА

В раю,
как известно, –
бананы и финики,
Паровое отопление
и прочие богатства.
Но я
провалился в раю
на скрининге,
И теперь
не знаю
куда податься.
Мечты о рае,
как говорится,
по боку...
Хоть заново,
с горя,
в гроб ложись.
Шляюсь,
как тень,
от облака к облаку –
Это ли,
спрашивается,
загробная жизнь?

И вдруг
в газете
«Голос покойника»
Мне
попадается
дельная хроника:
Принимает
какая-то там
планета.
Отчего ж
не поехать?
многие едут.
И вот я
проездом
с того света
Решил
еще раз
заглянуть на этот.
В небе хаос,
развал,
беспланoвость.
По дороге в Москву
потерпел аварию.
Треснулся
лбом
о какой-то занавес –
И
отшвырнуло меня
в Баварию.
Смотрю –
полгорода
разворочено...
А я
стою
перед книжным
киоском.
Книги!
Да это ж –
моя
вотчина!
Недаром
при жизни
я был Маяковским!
А тут еще
вижу
по-русски пишется,

Прилавок
журналами русскими
пыжится,
И ну я
листать
все эти книжицы
От А
до, извините за выражение,
ижицы!
В политике
был
калачом я тертым,
Любую
книжку мою
возьмите-ка,
Но
поскольку
давно уже
числюсь мертвым –
Не интересует
меня
политика.
А вот,
что касается,
господа,
искусства,
То
прямо скажем –
у вас не густо!
Ну вы,
по совести,
мне ответьте –
На что
вы тратите
ваши пфенинги?
Кому,
скажите,
нужны
все эти
Автомоно-
вяновые
упеники?
Иль тот,
с позволенья сказать,
Мизар?

Да таких
еще в детстве
убивают ножом...
Зачем
его
не бросили
в Изар
Со всем
смердящим
его тиражом?!
А
вот еще
хлам
ножевого покроя,
Где
на каждой странице –
выстрелы.
Или
взломщики –
ваши герои?
Или
сами
рецидивисты вы?
Или
ваши
духовные пастыри
Вас
усердно
готовят
в гангстеры?
Или
земля
одряхлела
уже,
И в душе
человеческой
мерзко и пусто?
И
нет
уже места
в этой душе
Для
подлинного
искусства?
А если

искусство
пошляками разменено
И нету
больше
книг
настоящих.
То
я
очень
доволен,
что заблаговременно
Догадался
сыграть
в ящик.

Западная Германия

МАЯКОВСКИЙ ОБ ЭМИГРАЦИИ

Стою
себе
над речушкой
Изáром
И
наслаждаюсь
руинами Мюнхена.
А
по соседству,
разя перегаром,
Растекаются
речи
дипишника Мухина,
Ему бы
куда-нибудь
в Папуасию,
Он
относительно
Европы –
пасс !
Ему
папуасовское
согласие
И он
завтра же
папуас.

Я
тоже
брат
папуасским массам!
Но лично
меня
там
только и жди!
Калачом
не заманите
к папуасам,
У
папуасов
тоже
вожди !
Ехать в Панаму?
Ищите лысых!
Не
нравится
мне
этот панамский канал:
Сегодня
канал он,
а завтра
высох,
Высох,
и,
следовательно, –
доканал!
Скажем,
там
революция
у арапов,
А ты
к Панамскому перешейку
прирос.
Канала-то нет
и вопросы драпа
Становятся
под
большой
вопрос.
Ехать в Аляску?
Тоже мне родина!

Этот
трест
несомненно
дут.
Однажды
Аляска
была уже
продана,
А если
обратно
ее
продадут?
Десять
раз
на день
Глазами
по карте
бегаю.
До обеда
торчал
в Канаде,
Пообедал –
смотался
в Бельгию.
В Канаде
пшеница,
в Канаде
валютчики,
Но
ехать
в Канаду
не рады мы,
Знаем
эти
канадские
штучки
Складывать
и раскладывать
разные
атомы,
В Бельгии
у всех
глаза
навыкате.
– Куда вы прете?

Страна
у нас
бедная!
Ди-Пи,
изобретай
ракетный
двигатель,
И шпарь
в пространство
междупланетное!
Но только
шпарь
не слишком-то
шибко.
Неровен
час,
дошпаришь
до Марса,
А
что
если
там
орфографическая ошибка –
И это
планета
имени
Карла Маркса?
Вот
тогда
получится
скверненько.
Лучше
не соприкасайся
с планетами и звездами.
Летай
и
плюй
на законы
Коперника
И на
прочие
соглашения
в Потсдаме.

Западная Германия

* * *

Свет лихоимства –
Лавочник, здравствуй!
Лавка – твое государство.
Ты исполняешь гимн свой,
Ты подымаешь флаг свой.
Под ним ты торгуешь ваксой!

А я – бродяга.
Живу без флага.

Может быть для блезиру
К двери подвесить лиру?

Да, говорят, старинка –
Антиквариат.
Пишущая машинка
Витеснила, говорят.

Что ж, традиции
Всюду рвут.
Вместо тряпицы
Виси ундервуд!

Дескать, стучу по клавишам,
Всё что ни есть прославивши!

Или пойду на отчаянный шаг –
Пеленку бежевую,
Как флаг
Над крышею вывешиваю!

По крайней мере
Каждому так вдолдонишь,
Что у меня в пещере
Есть человечий детеныш.

Он, в пеленки какая
И писая,
Поглощает всякую
Провизию!

А я рассказываю
Неустанно
Про его топазовые
Фонтаны!

Нью-Йорк

ПИСЬМО ДОЧЕРИ

Дорогая Лилюка!
Вот какая штука:
Это письмо – крик сердца,
У которого вельт шмерца...
Нам не хватет Лилюки
И мы горюем в разлуке!
Про лосанджелесскую местность
Нас никто не ставит в известность!
Сообщите нам попроворнее,
Что делается в Калифорнии?
Как там лихая тройка
Лазит на пальмы бойко?
Слыхал я, что эти пальмы
Мамаша хотела напальмом
Сжечь, а потом по-плану,
У дома сажать по каштану!
Не знаю верны ли слухи,
Но это в мамашином духе.
У нас всё как будто в порядке,
Стареем во все лопатки.
Мужает Сережкина личность,
Появилась в голосе зычность,
Сережка уже с успехом
Смеется тем самым смехом,
Что зовут по нормам клиническим –
Вредно-физиологическим.
Чонкер по-прежнему прыткий
И Пашкины все попытки
Поймать его – неудачны,
Кот от этого мрачный.
Бобка с ажиотажем
Бегает по распродажам
И покупает втридешево
Очень много хорошего!
Однако без Лилькиной рожицы
Жить нам совсем не можется!
Пришлите хоть фотографию.
Снимите всю вашу мафию!

В начале 80-х годов Лиля с мужем и 3-мя детьми – Марьяной и близнецами Аленой и Анной – жила в Лос-Анджелесе. Лилиной матери, О. Анстей, не нравилась южная природа Калифорнии. Чонкер – белка Chunky, которую Елагины кормили орехами в саду. Пашка – второй Елагинский кот. (*Е. М.*)

БАЛЛАДА О СТРАХОВАЛЬЩИКЕ АНДРЕЕ СЕДЫХ

Не спит по ночам страховальщик Седых,
Не спит он и мучит котов молодых.

Он слушает целую ночь напролет,
Как ходит под окнами кот и орет:

– Седых, страховальщик, мой жребий зловещ,
Хотят мне отрезать ту самую вещь!
Седых, защити от судьбы роковой,
На вещь эту полис мне дай страховой!

Ему отвечает коварный Седых:
– Терпеть не могу я клиентов худых,

Не дам я, не дам я страховки коту,
Пускай ему срежут штуковину ту!

Да что говорить с неимущим котом,
Сначала наличность – страховка потом!

Кот долго и жалко еще лепетал,
Известно, какой у кота капитал!

Зловещие звезды сверкают вверху,
Раскаянье спать не дает Седыху.

В оконную раму всю ночь напролет
Глядит на него забинтованный кот!

Глядит и взывает, тоску затая:
Ответь мне, Седых, где страховка моя?

Ответь мне, Седых, как продолжить мне род,
Когда уже среднего рода я кот?

И смотрит Седых на котовьи меха
И кошки скребут на душе Седыха!

Нью-Йорк

ПОСЛАНИЕ АНДРЕЮ СЕДЫХУ К ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ

До нас докатывают сплетни,
И ходят слухи всё сильней,
Про ваш восьмидесятилетний
Великолепный юбилей!

Я присоединюсь к салюту!
Пою почтенные лета!
(Но я, Седых, ни на ми-ну-ту
Не за-бы-ва-ю про кота!)

Седых высоко держит знамя,
Служа добру и красоте!
(Но я замечу, между нами,
Что не забуду о коте!)

Седых! Он в Новом Русском Слове
Громит врагов в передовых!
(Однако, о судьбе котовьей
Я помню, господин Седых!)

Я знаю, дело мести свято!
Злодея козни не спасут!
Сурово за кота-кастрата
Накажет вас верховный суд!

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью
Вам не поможет клевета!
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Кровь холощенного кота!

НА ВЫСТАВКЕ КАРТИН СЕРГЕЯ ГОЛЛЕРБАХА

Угловатые уроды
Голлербаховской породы
Наклоняются со стен,
В них чувствительность антенн.
Эти задницы и шеи
Попадут еще в музеи,
И потом столетий пять
Будут публику стращать!

Нью-Йорк

ОДА С ВОЗДЫХАНИЯМИ

На случай покупки дома с камином Андреем Владимировичем и Татьяной Павловной Фесенко и Натальей Семеновной Святенко.

О ты, пространством бесконечный
И бесконечный платежом –
О купленный в рассрочку дом –
Да веселится пламень вечный
В камине дружеском твоем!

Что я? Бродяга. Погорелец,
Судьбой затурканный вконец...
Пошто я не домовладелец,
А презираемый жилец?!

Пошто по комнатам дешевым
Цвет юной жизни трачу я?
И словом «моргедж» – нежным словом –
Не озарилась жизнь моя?

Минувшей славы прихлебатель,
Поисписавшийся талант,
Я – не квартиронаниматель,
А только жалкий квартирант!..

Я тот, кто караулит ванну!
Кто, вставши в очередь чуть свет,
Стремится в ванну, как в нирвану...
...А в ванне – бреется сосед!

Я – коридорный проходимец!
Кухонный выкидыш! Я тот,
Кого хозяин-лихоимец
По четвергам в засаде ждет!

Я тот, кого клянут почтамты
За перемену адресов:
«То здесь ты, сукин сын, то там ты!»
Кричит мне сотня голосов...

Хозяйской алчностью гонимый,
Переменил я комнат сто...
О, собственностью недвижимой
Не обладаю я пошто?!!!

О ты, пространством бесконечный!
Покоев, так, на пятьдесят!
О дом, где в кухне безупречной
Под Пасху шкварят поросят!

О дом – хозяйская услада
С родной березкой у крыльца.
Господь храни тебя от глада,
Потопа, мора и жильца.

Нью-Йорк

* * *

Окончился литературный праздник!
Рыдай, Анстей! И Браиловский – плачь!
Несется вновь коварный Свещеглазник,
Как блоковская кобылица, вскачь!

О расторжитель дружеских обетов!
Уже он предал братьев по перу,
Когда сменил шляйсгаймовских поэтов
На грязных австралийских кенгуру.

Нью-Йоркский штат презрительно охая,
Он из Охайо сотворил кумир.
«Что он Охайо? Что ему Охайо?»
Не про него ли восклицал Шекспир!

Но помни раб химического найма:
Тот славный клуб, чьи узы ты расторг,
Нью-Йорку дал утонченность Шляйсгайма –
И центром мира сделался Нью-Йорк!

Нью-Йорк

Стихотворение написано Борису Нарциссову. Прозвище «свещеглазник» он получил из-за своего стиховорения (*Е. М.*):

Пыльники, пауки и свещеглазники
Населяли серый чердак;
Третьесортная нечисть – грязненькая,
И страшная – не так.

* * *

Четверо жило в Нью-Йорке саврасов:
Панин, Жабинский, Рудольф и Юрасов.

По холостяцки жили, по свински,
Панин, Юрасов, Рудольф и Жабинский.

Крепко Жабинский амуром был ранен,
С ним и Рудольф, и Юрасов, и Панин.

Что же вы с сердцем играете в гольф,
Панин, Юрасов, Жабинский, Рудольф?

Нью-Йорк

Стихотворение посвящено Владимиру Юрасову. Юрасов писал под несколькими псевдонимами (*Е. М.*)

ПИСЬМО НИКОЛАЮ МОРШЕНУ
В ответ на ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ, ГРАММАТИКА ОГНЯ*

Я, Николай, стихами восхищался!
Меня совсем заворожил костер,
И хоть язык костра и заплетался,
Но всё же был он на язык остер.

Он обращался с ветками со злостью,
Ломая их на тысячи частей,
И хоть трещал он подъязычной костью,
Язык костра был всё же без костей.

Пишу стихами письма я не часто,
К презренной прозе больше я привык,
Но захотелось быть мне языкастым,
И ради шутки высунуть язык!

---

* Название известного стихотворения Н. Моршена.

АСПЕКТЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

БИБЛЕЙСКИЙ

Кругом вода как малахит.
И, сидя на подводном троне,
О сосуществованьи кит
Читает лекцию Ионе.

ФИЛОСОФСКИЙ

Вампир завыл в глухом лесу,
Наруша тишину ночную.
Завыл пронзительно – «сосу,
А значит я сосуществую».

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ

Когда нас поливают грязью,
Должны мы примириться с тем
И это звать культурной связью
Сосуществующих систем.

СЕМЕЙНЫЙ

– Существованье, а не жизнь, –
Ты повторяешь сквозь рыданья.
Ах, дорогая, отвяжись.
Существованье – это жизнь,
Беда от сосуществованья!..

ДЕЛОВОЙ

К чему нам это окончанье?
Какой для нас в нем интерес?
Где пишут «сосуществованье»,
Пора писать нам «С.О.С.»

ФАКТИЧЕСКИЙ

Бежит событий колесо,
Сменяя эру новой эрой,
И мы живем под знаком со-
существования с холерой.

* * *

Литература обернулась бредом.
Какая-то сплошная кутерьма.
Есть отчего литературоведам
Свихнуться окончательно с ума.

От возмущенья Достоевский черен.
Подумать – ни с того и ни с сего
Влюбляется безудержно Печерин
В Настасию Филипповну его!

[*Зачеркнуто*: Всё происходит вовсе не по плану.
Высокая забыта всеми цель.
И пушкинскую верную Татьяну
Толстовский Вронский затащил в постель!]

Я говорю, и знаю, не слукавлю –
Обломов всех нас за собой увлек,
И вот уже Пшеницыну Агафью
Прекрасной Дамой объявляет Блок.

А я бы всё устроил без заминки.
Зачем живут Обломов с Ольгой врозь?
Я Штольца бы убил на поединке,
Когда б пролезть в роман мне удалось!

Онегин, хватит вечно бить баклуши,
Пора оставить мелкую возню,
Я вас спасу – на Масловой Катюше,
Онегин, непременно, вас женю.

Как много неженатых есть героев,
Как много незамужних героинь,
Их жизни окончательно устроив,
Скажу я с облегчением: аминь!

В литературе всё угомонится,
Конфликты все рассеются как дым,
И вот тогда к Поприщину в больницу
Переберусь я с узелком моим.

О МЕСТЕ ПОЭТА ИЛИ О МЕСТИ ПОЭТА

И по виду я нелеп,
И по нраву нелюдимый.
А снискать насущный хлеб
Как никак необходимо.

Вот и прыгаю как заяц,
Где придется, подвизаясь.
Весь изнервничался аж,
И зубами клацаю:
Всюду спрашивают стаж
И квалификацию!

Говорю, что я поэт.
Говорят мне что в ответ?

Говорят мне змеи те
Голоском галантным:
– Срифмовать умеете
Масло с прейскурантом?

Ну, а я – совсем простак,
С мордой как у мерина!
Я рифмую просто так,
А не преднамеренно!

Говорю, что я – поэт.
Говорят мне что в ответ?!

Раз поэт – лети с гитарой
Прямо в поднебесие!
А у нас по циркуляру
Нет такой профессии.

Раз судьба особая,
Кто же позаботится?
Дайте хоть пособие
Мне по безработице!

Отвечают змеи те:
– Требовать не смеете
Ни пособия от нас,
Ни в дальнейшем пенсии:
Адресуйте на Парнас
Ваши все претензии!

Или уходите-ка
К нашим конкурентам:
Будете политику
Рифмовать с моментом.

Нету места мне на свете,
Ни к кому я не примкну!
Из протеста я в ракете
Улетаю на луну.

Буду в лунном кратере
Жить я, как затворник,
И пошлю всех к матери –
Белых, красных, черных!..

ПРИМЕЧАНИЕ* К ПОСМЕРТНОМУ СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ: Под красными поэт, проживавший в США, подразумевал кучку краснокожих ренегатов, предавших своих черных братьев за жалкие серебренники американских империалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПОСМЕРТНОМУ ЭМИГРАНТСКОМУ ИЗДАНИЮ: Под белыми поэт, проживавший в США, подразумевал белое население, подстрекаемое к резолюции красными коммунистами вкупе с черными преступными элементами.

---

* Примечания сделаны Иваном Елагиным как часть единого со стихотворением текста.

Ольга Анстей

ПОПЫТКА ПАРОДИИ НА МАРИНУ

Се перед вспыхнувшей Суламифью –
Ахнувший Соломон...

Марина Цветаева

Книгу всех Книг разверни: не улика ли?
Так же как мы, – посмотри! –
Охали, эхали, вякали, пикали
Воины и цари.

Всей наготой подноготной, красавьей,
Пойман, пленен и овит,
Се перед визгнувшей в ванне Вирсавией
Ухнувший царь Давид.

Быль ли то, творчество ль пращуров мифье –
Сказка святая жива:
Се перед крякнувшею Юдифью
Булькнувшая Олофернова голова.

Но из всей Библии, больше всего там
Вгоняет в озноб и в зной –
Это – перед матюкнувшимся Лотом
Чвякнувший столб соляной!

13 июля [19]50

Оскар Уайльд

ЦВЕТОК ЛЮБВИ

В переводе Ольги Анстей

Друг – упреков нет: я сам виновен,
Если б я не так как все страдал,
Поднялся б к вершинам недоступным,
День полней и шире увидал.

Из моей опустошенной страсти
Я сковал бы верный чистый звук,
Чтобы пламенеть вольнее воли,
Биться с чудищем когтистых рук...

Если мука вылилась бы в песню
С губ моих, придавленных в крови –
Ты б ходила, с ангелами, с Биче, –
На лугу нетронутой любви.

Я б тогда пошел дорогой Данте –
На семь солнц – в сияющих кругах.
Мне б, как Флорентинцу, мог открыться
Свет зари в небесных воротах...

И тогда б народы увенчали
Скромного, безвестного меня...
Я б склонил колени в Храме Славы,
В полосе восходного огня.

Я б сидел на мраморных подмостках,
Где равны душой и стар, и юн,
Где свирель исходит сладким медом
И стекают звуки с лирных струн...

Китс отвел бы кудри из фиала
Макового брачного вина,
Амброзийным ртом чела коснулся,
Сжал бы руку, что была верна.

А весной, когда летит цвет яблонь,
Задевая перья голубей –
Двое юных в зарослях плодовых
Повторили б повесть наших дней,

И прочли б сказанье нашей страсти –
Горькой тайны несказанной тьмы,
Повторили б наши поцелуи,
Но не разлучились бы как мы...

Ибо червь, грызущий цвет надежды,
Подточил побеги корешков,
И никто не соберет увядших
Свежей розы первых лепестков.

Нет – не жаль, что я любил и плакал:
Что я мог? И что я, мальчик, смел?
Бремя гложет, годы убегают
И скользят бесшумно за предел...

Без руля, несет нас по теченью,
И, как буря юности пройдет, –
Без хорала, без напева лютни –
Смерть, безмолвный кормчий, руль берет.

А в могиле нету утешенья:
Роет червь и капает вода,
И Желанье сыплет серый пепел,
Древо страсти не дает плода.

Что я мог? Любить тебя – и только...
Не была родней мне Божья Мать...
Не могла Киприда драгоценней
Серебристой лилией сиять!

Выбор сделан, песни перепеты.
Догорела юность до конца.
Предпочел венок из мирт любовных
Я лавровому венку певца.

ИВАН БУНИН К ОЛЬГЕ АНСТЕЙ

«Maison Russe»
Juan-les-Pins,
Alpes Maritimes

28 марта 1949 г.

Дорогая Анстей,

Я был долго болен, потом очень слаб – вот причина того, что я так долго собирался написать Вам, поблагодарить за Вашу книжечку[1]. Теперь наконец благодарю и совершенно искренно говорю Вам, что Вы меня порадовали, что Вы истинно талантливы и что дай Вам Бог не сбиться с пути, а всё развиваться и развиваться благородно, серьзно (и больше никогда не писать «листьё», «воздух невероятен», «В тянетах кислых досад»...). Вы оба – и Вы и Елагин – так резко выделяетесь в несметной толпе так называемых поэтов и поэтесс парижских и нью-йоркских!

На правах старика целую Вас и жму руку Елагину. Мне прислали его стихи «Европе»[2]. Это нечто совершенно редкое по таланту, по блеску, великолепной «ударности»!

Ив. Бунин

P.S. «Дверь в стене». А где же еще бывают двери?

Письмо впервые опубликовано в НЖ, № 235, 2004.

1. Сборник «Дверь в стене» – Мюнхен, 1949. 48 страниц.

2. Стихотворения «Европе» у И. Елагина нет. Часто цитируют строку «Чтобы сгинуть в беззвездной Европе...» из «Подводила к высокому вязу...». Однако именно первое стихотворение в «Заштатной музе» носит название «История Европы».

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Всё началось с пикантного быка.
Всё кончится грузинским пошлым усом.
Тебя уже которые века
Берут завоеватели со вкусом.

Твой нрав и острожен и пуглив,
С тех пор, как безо всякого настила
Тебя на голый камень повалив,
Насиловал по-варварски Аттила.

То в панике хваталась ты за меч,
То с книгою садилась ты за парту,
Пока не удалось тебя увлечть
Отважному безумцу Бонапарту.

Он был в тебя, действительно, влюблен,
Когда уткнув тебя лицом в подушку,
В твои врата вкатил Наполеон
Свою наполеоновскую пушку.

Когда же Гитлер спать тебя повел,
Ты шла с лицом довольно невеселым.
Но он легко задрав тебе подол,
Твое лицо прикрыл твоим подолом.

Теперь с тобой грузинский старичок.
Ты в панике, ты заломила руки,
А он уже и двери на крючок
И по-хозяйски складывает брюки.

Он с тонкими приемами знаком.
Такой любовник доведет до смерти

И станешь ты кавказским шашлыком,
Насаженным на волосатый вертел.

Всё началось с пикантного быка.
Всё кончится грузинским пошлым усом.
Тебя уже которые века
Берут завоеватели со вкусом.

ПИСЬМО-ШУТКА ЕЛЕНЫ МАТВЕЕВОЙ К ОТЦУ

7/21/71
Аккорд

Многоуважаемый профессор Елагин!

Я есть студентка русского языка, и я изучаю русскую природу, как она описана у Достоевского. На эту причину я приехала на русскую дачу в Аккорд Фармс и много хожу гулять в лес. На одном дереву я нашла написанные на коре древние знаки. Я думаю, что они происходят от славянских жрецов. Вот что там написано:

СТИХИ О ТЕНЮРЕ[1]

Был Елагин богат культурой,
Одарен был щедро натурой;
Щеголял доротной фигурой
И стихи он писал с цезурой!

Только плохо было с тенюрой
И ходил Елагин понурый,
Озабоченный, мрачный, хмурый,
Он не строил студентам куры,
А кричал, что все они – дуры.

Песен он не пел под бандуру;
Слушал он, потирая тонзуру,
Лишь «Трагическую увертюру»,
Часто мерил температуру,
То и дело глотал микстуру
И писал он с горя халтуру!

Но теперь, получив тенюру,
Стал Елагин ученым гуру,
Отрастил себе шевелюру,
Стал усердней служить Амуру,
И добыв сию синекуру
Респекает всю профессуру...

Мораль:
Если нету у вас тенюры –
С вас сдерут последние шкуры,
Но зато, получив тенюру,
Можешь жить под стать Эпикуру.

Я заметила, что в этих древних славянских стихах есть имя Елагин. Это, наверное, ваш давний предок.

Дорогой профессор Елагин, я очень много ценю русскую литературу, особенно вас и А. С. Пушкина. А. С. Пушкина я очень люблю стих «Сквозь волнистые туманы» и «Белеет парус одинокий», а ваши стихи я люблю больше всего «Ах, Арбат, мой Арбат» и «Станция Зима»[2]. Я надеюсь осенью слушать ваш курс!

Ваша любимая студентка
Susan Brainless[3]

---

1. Tenure – постоянная профессорская позиция в университетах США.
2. Упоминание этих стихов доказывает, что в семье Елгиных хорошо знали поэзию Б. Окуджавы и Е. Евтушенко.
3. Безумная, дурочка (*анг.*)

Елена Матвеева

Рыцарь духа

Иван Елагин и его первая жена Ольга Анстей развелись, когда мне, их дочери, было пять лет. Я вспоминаю этот год, как время ломки и больших перемен. Вскоре после развода моя мать вышла замуж за Бориса Филиппова, у меня появилась строгая «новая бабушка» – мать Бориса, – и я поступила в первый класс нью-йоркской городской школы, не говоря ни слова по-английски. Стремясь сохранить мою русскую речь, мама продолжала заниматься со мной дома только по-русски, в уверенности, что английский мне дастся легко.

Но, очевидно, пытаясь как-то проявить свою самостоятельность, я наотрез отказывалась говорить по-английски. Тогда мама изменила тактику: начала читать со мной английские книжки, и вскоре я стала бегло читать сама.

Хорошо помню, как я плакала над последней главой книги о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола и спрашивала маму, почему больше нет рыцарства на свете. На это мама ответила, что и сейчас есть, и всегда будут на свете «рыцари духа». Это люди, сказала она, которые стараются жить по чести и совести, в которых храбрость сочетается с мягкостью и учтивостью, которые всегда будут защищать слабых, готовы поделиться всем, что у них есть, с бедными и не способны на низкий или непорядочный поступок. «А если хочешь увидеть современного живого рыцаря, – добавила мама, – то посмотри на своего отца – он всегда был настоящим рыцарем духа.»

Я отнеслась тогда к маминым словам с интересом, но немного скептически. Отца я горячо любила, но героической фигуры в нем не видела. Правда, в его чести и порядочности у меня сомнений не было, и я понимала, что его неизменная мягкость и учтивость выделялись на фоне отцов большинства моих друзей, среди которых встречались и придирчивые педанты, и раздражительные самодуры. В отличие от них, мой отец никогда не произносил напыщенных речей, не делал вид, что он непогрешим, и даже когда он критиковал мое поведение, я никогда не слышала от него злых или обидных слов. Отзывчивость и готовность помочь другим отличала обоих моих родителей даже в те времена, когда сами они были очень бедны. Но я сомневалась в его храбрости. Мне казалось, что отец вечно и безосновательно чего-то боится. Он боялся, когда я переходила улицу, когда стояла близко к краю платформы метро, а что касается плавания, то тут и говорить не о чем... Ходить на пляж с папой было одно мучение – он безумно боялся, что я утону, и хотел, чтобы я плескалась на мелководье, как все остальные маленькие бэбэшки.

«Какой же он рыцарь, если он всего боится? – возразила я тогда маме. – Сэр Ланселот, без всяких сомнений, позволил бы своей дочке заплывать, куда ей захочется.» Мама в ответ засмеялась и ответила, что сэр Ланселот держал бы дочку взаперти в башне, где она скучала бы, занимаясь вышиванием. Затем наш разговор перешел на женское равноправие, но, как любил говорить Киплинг, это уже другая история.

По мере того, как я росла, время от времени я извлекала из глубин своего сознания предложенный мне мамой рыцарский образ отца, смахивала с него пыль и рассматривала его заново в свете своих меняющихся мировоззрений. Когда у отца и его второй жены, Ирины,

родился сын Сергей, мне вновь бросилось в глаза, что отец чересчур оберегает Сережу, воображая опасности там, где их и быть не может. Однако, повзрослев, я стала понимать, что иррациональные страхи за безопасность своих детей простительны человеку, перенесшему раннюю потерю матери, арест и расстрел отца, сталинский террор, гитлеровскую оккупацию, войну, беженство и пребывание в лагерях Ди-Пи под постоянной угрозой насильственной выдачи в сталинский ГУЛаг.

Я поняла также, что хотя отец и был подвержен множеству страхов, он, тем не менее, имел мужество не отступать от своих убеждений. Его пугала физическая опасность, но я помню, как однажды в Нью-Йорке он один ринулся в темный подвал, откуда раздавались крики о помощи, в то время как все остальные прохожие спешили пройти мимо.

Мой отец любил жизнь и боялся ее потерять. За несколько лет до своей смертельной болезни отец написал несколько сумрачных и грустных стихов о старости и смерти, но когда ему поставили диагноз неоперабельного рака, все мы, его близкие, были потрясены кротким мужеством, с которым от встретил и боль, и смерть.

Теперь, когда я читаю моим дочерям о рыцарях и драконах, я так рассказываю им о рыцарстве духа:

– Ваш дед Иван был храбрый, нежный и веселый, и хотя иногда ему и бывало страшно, он не позволял страху властвовать над собой, всегда старался помочь людям и жил по правде и справедливости. Он был поэтом и настоящим рыцарем духа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ШАТАЛОВА К ИВАНУ ЕЛАГИНУ

7.1.87

Дорогой Ваня!

А. Седых[1] веротно уже получил мою пересылку. К сожалению, не мог передать ему лично, когда я с Валей[2] и Таней[3] навестил его в Нью-Йорке. Забыл портфель у Пети Муравьева[4]. Твои стихи на всех слушавших произвели огромное впечатление. Мой друг отрочества Вячеслав Ордынский[5] (ныне в Лос-Анжелосе) передал тебе привет, поздравление и пожелание. Его особо поразило:

«О Русь, какой ты дашь ответ
На гоголеву исповедь?

Иль у тебя ответа нет
Кто грешник, а кто праведник.»[6]

Да, Ваня, страшные слова. Ни упрека в них, ни гнева, а – пространство времени. До Гоголя, с ним и ныне. Великое тебе спасибо за стихи. За слово друга и современника. За слово – Поэта. И еще спасибо тебе – за простанство, которое ты мне подсказал, которого в моем «Гоголе»[7] не было.

Сейчас на станке 6-й уже по счету «Гоголь» – елагинский. Работаю. Сдается мне, у нас, прошедших одну дорогу, остается о ней память. Сказал бы – исповедальная. Она и есть – ответственность в нашем творчестве. Сдается мне, она и оберегает нас от соблазна «отражения в разбитом зеркале», как ты замечательно определил состояние большинства искусства конца нашего века. Безответственность отражения, доходящая до глумливости над красотой и возвышенным. Часто видел снимок, изображающий Афродиту из Милоса и перед ней распахнувшего накинутый на голое тело плащ – выпячивающегося босяка. Что он выпячивает – понятно. И это и есть знак отношения к красоте и возвышенному в конце 2-го тысячелетия хр[истианской] духовности. И этот знак сплошь да рядом в стихах и повествованиях на русском языке в Зарубежье. И «веды» пытаются доказать, что эта площадность – искусство слова. Тут, конечно, ссылки на р[усских] поэтов пр[ошлого] века, в частности, на Лермонтова, которым приходилось заменять точками то, что полагалось писать прямо. Но теперь иное понимание «задачи образа». И «тянуть резину», заниматься «ханжеством» значит отставать от «повестки дня». От повестки безответственности. Ибо в искусстве слова всякое низведение его к разнузданности, пошлятине, снижает строй и настрой произведения. Оно утрачивает поручение высокого нравственного назначения, становится низменным, оскорбительным, в первую очередь, нашей сестре, жене и матери – женщине. А ведь женщина и есть вдохновительница лучших творений искусства. В изоискусстве такая «повестка дня» еще возможна. Она не читается, а смотрится. В этом случае рисунок, цвет, умение выражения – т. е. как сделано – может увести от грязи содержания, от жестокости его. Роковая особенность изобр. искусств и музыки.

Но я слишком зарассуждался, отошел от своей повестки дня. А она в том, что творческое объединение – кислород для творчества. И, на мой взгляд, он тем лучше, чем больше общения в различных творческих занятиях. Скажем – поэт с художником, с музыкантом, с ваятелем или наоборот. Но не непосредственно с «товарищем по оружию». Одноименный заряд всегда будет – «а я на твоем месте – так

бы сделал». Плохого в этом ничего нет, но есть исключение претворения одного образа в другой. Ибо не совет надобен, как этот образ сделать, а – как его углубить. Вот ты и помог мне не советом, словом – Поэта. С приветом всем твоим пенатам. Привет от Вали.

Твой Володя Ш.

---

1. Андрей Седых – Яков Моисеевич Цвибак (1902–1994), журналист, публицист, мемуарист, гл. редактор газеты «Новое русское слово».

2. Валентина Алексеевна Синкевич (1926–2018), поэт, исследователь истории второй волны эмиграции, мемуарист, основатель и гл. редактор альманаха «Встречи»; близкий друг В. Шаталова.

3. Татьяна Фесенко (1915–1995), поэт, мемуарист, библиограф.

4. Петр Александрович Муравьев (1922–2009), инженер, писатель, художник; первая волна эмиграции (Югославия).

5. Вячеслав Леонидович Ордынский (1916–2000), вторая волна эмиграции.

6. Из стихотворения И. Елагина «Пока что не было и нет...» («Гоголь». Посвящение Владимиру Шаталову)

7. Известный портрет «Гоголь» работы В. Шаталова после смерти художника находился в коллекции В. Синкевич.

Публикация – Е. Матвеева

СО СТРАНИЦ НЖ

Федор Степун

Родина, отечество и чужбина

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаем нашим читателям забытую статью философа-эмигранта Федора Августовича Степуна «Родина, отечество и чужбина». В гипертексте «русская культура», включающей и текст «русскоговорящая многонациональная диаспора», все эти понятия – родина, отечество, чужбина – принципиальные и основополагающие. В разные эпохи в разных политических государственных системах каждое из этих слов наполнялось своим содержанием и подпитывалось своей идеологией. С другой стороны, на этих столпах выстраивалась любая нация; опираясь на них же, она нередко губила себя.

Первые статьи Федора Степуна в НЖ появились в 1951 году. К этому моменту философом был пройден огромный путь мыслителя и долгая дорога эмигранта.

Родители Федора Августовича – немецко-скандинавского происхождения, из «обрусевших». И детство свое он провел в знаковых для русской культуры местах – Кондрово, Полотняный завод, Калуга; Пушкин, Гончаровы, Гоголь, Киреевские... Центр России, ее исконая история – его родина. Учился Степун в Москве и Гейдельберге (докторская – по Владимиру Соловьеву) – там, как водится, проникся социальными и социалистическими идеями. Февраль 1917-го не только принял – но и участвовал: в Советах и во Временном правительстве. Был деятелен и известен. За что, собственно, и выслан в ноябре 1922-го большевиками – ибо свободная мысль его стала опасна для государства диктатуры. Дальше жизнь протекала в Германии, в новом отечестве. Был профессором социологии, в 1937-м изгнан из университета и лишен права преподавать и печататься. К концу войны из разрушенного до основания бомбардировками союзников музейного Дрездена перебрался в Мюнхен, где и служил профессором в университете до конца дней своих. Его философское наследие лежит в парадигме русской культуры и принадлежит всей мировой – «О свободе», «Религиозный социализм и христианство», «Освальд Шпенглер и ‘Закат Европы’», «Любовь по Марксу», «Чаемая Россия», «Задачи эмиграции» – круг тем можно продолжить...

Публикуемая в номере статья о родине и чужбине – текст, который не может не взволновать современную диаспору. Разве замеченное философом Федором Степуном не отражает болезнь наших последних волн миграции?

Степун пишет: «...новой эмиграции роль консультантов по русским делам оказалась еще менее по плечу, чем старой. Выросшая в стране, абсолютно отрезанной от всего остального мира, она не вывезла и не могла вывезти в Европу ни более или менее солидных исторических знаний, ни живого ощущения души и бездушия Запада...» Конечно, сказано это о послевоенной эмиграции, массово представленной поколением советских «невозвращенцев». Но лежит на поверхности, что современная диаспора, в подавляющем своем большинстве сформированная в 1970–2000-е годы, – тоже «советская» по происхождению и наполнению. России до 1917-го она не знала – и не могла знать, и родиной ее (в определении Степуна) был Советский Союз, отторжение от которого понятно и психологически, и культурно, но не отнологически. Государство «Советский Союз» было и отечеством для этой массы эмигрантов. Степун верно замечает: «Но кто стал бы голосовать за пьянствующее, бесстыдно-грешащее и ханжески-молящееся (Добавим: авторитарное. – М. А.) правительство? Ясно, что никто. Такое·правительство ни для кого не было бы отечеством», – и приводит слова Вольтера: «Отечество возможно только под добрым королем, под дурным же оно невозможно». Так, в своем отторжении от т.н. «России» современная диаспора клеймит, на деле, не ее, а всё тот же Союз Советских Социалистических Республик.

Впрочем, философ, размышляя по поводу советского патриотизма, замечает: «Излюбленным средством сращения советского патриотизма со старо-русским являются размышления о том, что если окинуть пройденный большевиками путь с той высоты, с которой его видит история, то нельзя будет не признать, что история России с покон веков шла тем страдательским путем, каким ее ведут большевики». Оставив в стороне «патриотов», заметим, что этот аргумент – «с покон веков шла тем страдательским путем» – звучит часто и сегодня, даже возводится в формулу: «нация рабов». Но и не вспоминая о традиционно многонациональной природе российского населения (кто же из них – нация рабская?), вряд ли возможно проводить параллель между Российской Империей и Советским Союзом, между естественно развивающимся государством (со своими проблемами) и придуманным государством-идеократией. (Это преемство было заявлено лишь нынешним путинским правительством современной Российской Федерации, работающим на дикой смеси имперских старых символов и сталинских приемов управления, – но данная тема лежит вне нашего разговора.)

Природа новой русскоязычной многонациональной диаспоры, «не помнящей старой России и несущей на себе, несмотря на вражду к большевизму, всё же его отпечаток», практически не изучена. В этой проекции статья Ф. Степуна оказывается весьма полезным чтением. Разве замеченное философом несовпадение понятий «эмигрант» и «беженец» не описывает природу и состояние современной диаспоры? Он пишет о родине и оте-

честве, о нации и культуре, о памяти и псевдопатриотизме – и опять, как семьдесят лет назад, его слова бьют по нам. «Эмигрант – это активный борец за свою родину-мать против предавшего ее отца», т.е. предавшего ее отечества-государства, замечает Степун. Если задача борьбы не стоит – то точнее, с точки зрения философа, было бы определять представителя диаспоры как беженца: беженца-идеалиста, не способного справиться со своими негативными воспоминаниями, или беженца-рационалиста, одержимого естественным для человека желанием лучшей жизни, но отказывающегося от памяти (сегодня, очевидно, «беженца» стоит заменить на «мигранта», но классификация остается той же). Онтологическое различие между феноменами «память» и «воспоминание», предложенное Федором Степуном, кажется точным и академически важным – как и следующий вывод: «Помнить прошлое – значит нести его в себе как свое наследство и во всех своих чувствах и помыслах постоянно излучать его», – при этом не хватаясь за поверхностный слой воспоминаний.

Еще в охваченной массовой миграцией народов послевоенной Европе Степун, дав краткий экскурс в историю человечества, замечает: «...наша судьба российских эмигрантов уже не покажется нам столь непостижимой и необычайной, какой она нам представляется». В нынешней серьезной ситуации развязанной путинской правящей кликой войны против Украины – события, потрясшего всё мировое сообщество, – стоит задуматься над опытом прежних эмигрантов и беженцев. В многонациональной русскоязычной диаспоре широко идет обсуждение необходимости ревизии (отмене-запрете) русской культуры. Посыл этот напрямую связан с т.н. коллектив-ной ответственностью нации как общины (в предложенной трактовке Степуна). Однако стоит признать, что Советский Союз, даже на терроре и пропаганде, не сумел слепить массу «советских человеков» в общинное объединение, в общность (о чем свидетельствовали, в частности, и собы-тия 1990-х годов в России и в наицональных республиках); следовало бы понять, что коллективная ответственность возникает лишь после того, как отдельный человек, личность, сделает свой свободный индивидуальный выбор и отождествит себя с данным государством-отечеством, – тогда из суммы этих индивидуальных решений возникнет чувство вины коллектива как общины. Пример послевоенной Германии для современной России не работает: Германия была реальным отечеством для немцев, в котором нация вполне представляла собою общину. Но выяснено, что ни в самой России, ни в диаспоре нет подобного отождествления себя с политикой правящего авторитарного правительства. Ни советскую, ни путинскую Россию не признают отечеством в определении, данном философом.

Остается лишь добавить, что человек не управляет гипертекстом культуры; участвуя в его творении, мы не властны над этим своим созданием – как не властен был Пигмалион над ожившей Галатеей; гипертекст

культуры развивается самостоятельно, согласно собственной логике, он живет и структурируется вне зависимости от наших целеположений, политических толкований и костров, гипер- и суперинтерпретаций. Культура наднациональна, экстерриториальна и – ***созидательна*** *по природе своей. В любом национальном ее выражении. Да, каждый из нас может отказаться от культуры – и погибнуть. Потому что вне ее текста человек самоуничтожается. Да, каждый из нас может воспользоваться в любом национальном исполнении богатством ее мысли, проникнуться величием ее духа. И не истребить друг друга. На оба выбора у нас есть право свободных людей, которым можно воспользоваться. Но лишь ее, культуры лица необщее выражение, ее интертекстуальный характер связывает нас в единое человечество, в жизнеспособную цивилизацию, опирающуюся на принципы гуманизма на этой, объективно жестокой, земле. Вне культуры мы рассыплемся и исчезнем – жалкие карлики, крошки цахесы, злобно покусывающие ее совершенное тело. И, как пишет Ф. Степун, «главной задачей эмиграции... [является] сохранение образа русской культуры». Запрещая и охаивая, мы не можем* ***отменить*** *культуру, но можем* ***разрушить себя****. И опять, как в 1922-м, таком далеком и таком судьбоносном для Федора Степуна, будет блуждать по просторам брошенный Философский пароход-призрак, которому негде пристать.*

М. Адамович, гл. редактор НЖ

* * *

Не помню точно, в каком это было году. Гитлер, со свирепым отчаяньем всё еще завоевывал Россию, а по Дрездену с лихими солдатскими песнями бодро маршировали взводы ладно скроенных и крепко сшитых русских парней. Так и хотелось поздороваться: «Здорово, молодцы!» В построенной в память посещения Александром II Дрездена просторной православной церкви рядом со мною истово молился по-маскарадному переодетый в немецкий мундир широкоплечий русак, который оказался, когда мы с ним ближе познакомились, народным учителем с Дона. По окончании службы он приложился к кресту и, выйдя в прицерковный сад, сел на скамеечку. Я подсел к нему, предложил папиросу и, желая выяснить, что, собственно, происходит в душах советских людей, сражающихся с Гитлером против Сталина, провокационно спросил: «А вам не больно, не стыдно в немецком мундире сражаться против нашего отечества?» Посмотрев на меня удивленно и мало дружественно, мой собеседник, помолчав, ответил: «Видно вы давно из России, а то знали бы, что воевать против своего отечества нам не приходится, потому что папаша Сталин давно его у нас украл». «Так ли? – попытался я возразить. – Поначалу красноармейцы, действительно, сдавались, а

теперь, как слышно, живота своего не щадят.» «Это правда, – ответил власовец, – когда мы поняли, что нам от Гитлера спасения не будет, мы перестали сдаваться, только дрались мы, пока были в России, не за отечество, а за могилу в родной земле. Она многого стоит. Я вот и сам начинаю подумывать, не вернуться ли мне домой? Пускай меня лучше Сталин расстреляет, чем гитлеровский нацист. На Дону и покойнику легче дышать, чем на Эльбе...» Этот разговор произвел на меня в свое время большое впечатление не только своей душевной взволнованностью и глубиной, но и отчетливостью высказанных моим собеседником взглядов, сводимых, без особой натяжки, к следующим трем положениям: 1. необходимо делать различие между отечеством и родиной, 2. измена своему отечеству ради спасения родины не только допустима, но, быть может, и обязательна, 3. пребывание на чужбине без борьбы за родину, наоборот, недопустимо. Если на чужбине невозможно жить родиной, то лучше возвращаться домой, хотя бы лишь затем, чтобы умереть у себя.

Думаю, что этих трех положений вполне достаточно для построения социологии эмиграции, науки, над которой ныне работает целый ряд выдающихся ученых. Самочинно размышлять над разницей между родиной и отечеством – не приходится. Она полностью содержится в корнях слов: Родина – начало материнское. Отечество – начало отчее. В мирные, благополучные времена мы родины от отечества не отделяем. Живем под родительским кровом: чувствуем тепло материнской любви и силу отца, который нас с матерью в обиду не даст. Но вот период благополучия кончается и начинается семейная драма. Сначала протесты матери против угнетений со стороны отца, а потом мстительное усиление отчего насильничества над матерью.

Определяя революцию как трагическое расхождение между родиной и отечеством, необходимо описать тот круг переживаний, который мы ощущаем родиной, и тот иной, который связываем с понятием отечества.

РОДИНА

Тоскуя о своей родине, всякий человек, прежде всего, тоскует по образу своей земли: по ее восходам и закатам, по ее горизонтам и дорогам, по ее рекам и песням, по ее безбрежным долинам и горным цепям, по ее древним городам и тихим деревням, по запахам ее лесов и полей. Тоска по родине не зависит от того, покоится ли она в объятиях своего государства или страдает под вражеской властью. Как правило, можно считать, что порабощенную родину мы любим глуб-

же, чем свободную. Для немцев завоеванная большевиками Восточная Пруссия – лодки и сети у моря, кровные лошади в лугах, деревни под соломенными крышами – остается такой же родиной, какой она была до войны. Родиной она будет еще и для их детей и внуков. Любовь, порождаемая ненавистью, – очень сильное чувство.

Если бы судьбе было угодно вырвать Украину из состава Государства Российского, мыслимого в будущем, конечно, лишь в образе свободной федерации, – это никак не могло бы погасить в русских людях ее ощущения как родины.

Надо ли говорить, что в исторической памяти России хранятся не только картины всероссийской природы, народного быта и обихода, но и образы великих исторических событий и созданной Россией культуры: ее искусства, ее философии, мудрости и веры. Столетиями в непрерывной смене поколений длящееся объединение людей, связанных между собою созданием и исповеданием общей всем им культуры, мы называем нациями. Моя нация – это моя духовная родина. Не подлетит сомнению, что в создании национальной культуры могут участвовать люди разных племен, рас и даже люди, говорящие на разных языках (Швейцария).

Россия была крещена в Киеве. Среди угодников, святителей, старцев и иерархов единой Русской Православной Церкви было много украинцев. Украинец Гоголь был величайшим русским писателем, из которого, вышла, как было сказано, вся русская литература. Его шалая птица-тройка в гораздо большей степени является символом России, чем Украины. Гоголем же была открыта и с непостижимой гениальностью описана не только романтика, но и мистерия Невского проспекта. Украинец Короленко на дальнем севере в нищей великорусской деревне ощутил себя подлинно русским человеком. Всё это и еще многое другое дает всякому русскому человеку неоспоримое право считать Украину своей духовной родиной. Быть может с меньшим, но всё же с бесспорным правом причисляем мы к своей родине и воспетый Пушкиным, Лермонтовым, Глинкой и Врубелем Кавказ. Но, конечно, из того, что русский человек в праве ощущать Украину и Кавказ частями своей родины, отнюдь не следует, что всякий украинец и грузин должен ощущать своей родиной Москву и Волгу. Не следует потому, что родина не есть внешний факт, к признанию которого можно кого-нибудь принудить, а есть в живом и личном опыте обретаемый мир, глубина и широта которого никому не может быть предписана.

Если перечесть больших русских писателей и поэтов, то нельзя будет не увидеть, что для них Россия была живым, любимым существом. Особенно трогателен образ родины-матери у Достоевского:

«Разлегшаяся на многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать», она вдруг встает и смиренно и твердо выговаривает всенародно прекрасное свое слово. Близок к Достоевскому и Блок, для которого «нищая Россия» – и «мать», и «бедная жена». Еще глубже тютчевский образ, для которого Россия только потому и Россия, что в ее смиренной наготе светится образ Спасителя.

Искусство, конечно, не наука, но всё же познание, которого никакой науке не следовало бы игнорировать.

ОТЕЧЕСТВО

Отец – кормилец и защитник жены и семьи. Мистическое тело родины, образ национальной культуры, таинственное дыхание и красота матери-земли – всё это было бы открыто вражьим ветра и налетам, если бы жизнь родины не протекала в формах государства. Лишь его справедливыми, но и строгими законами, его умным миролюбием, но и вооруженной решимостью защищена родина от превратностей и неожиданностей судьбы. Отечество – это меч и щит родины. Не в историческом, но в иерархическом порядке родина первичнее отечества. Если бы у нас не было что защищать, нам не были бы нужны ни меч, ни щит.

Научная концепция известного немецкого социолога Tönnies'а построена на противопоставлении общины (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Пользуясь этой терминологией мы можем определить родину, прообразом и формой которой является Церковь, как общину, а отечество – как общество. Община по Tönnies'у возникает и развивается органически; она по существу организм, т. е. нечто, что не может быть организовано. Договорной теории общины никогда не существовало. Другое дело – государство. Уже в средние века, в связи с борьбой между папой и императором, было создано учение, согласно которому император пользуется своей властью лишь на основании договора с народом, почему эта власть и может быть у него отнята, если бы он начал ею злоупотреблять. Впоследствии эта мысль была развита Руссо в его «Contrat social» (1762) и легла в основу государственно-правовых размышлений Шиллера, Канта и других мыслителей. Верна или не верна договорная теория общества – вопрос сложный и решать его мимоходом нельзя. Важно лишь то, что она постоянно защищалась видными учеными и практиковалась эмигрантами, порывавшими всякие отношения со своим отечеством, уходившими из своего государства и менявшими свое подданство. Возможность перемены подданства проливает новый свет

на глубокое различие между родиной и отечеством. Сознательная, волевая и быстрая перемена родины для человека невозможна. Приобретение новой родины – процесс очень длительный и возможный лишь для детей или даже внуков эмигрантов. Уйти от своей родины нельзя. Даже и видя ее недостатки, нельзя перестать ее любить.

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И с головой, от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.
.....
Да и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Это всем понятно, как понятна нам и готовность Лермонтова до полуночи смотреть:

На пляску с топотом и свистом
Под говор пьяных мужиков.

Но кто стал бы голосовать за пьянствующее, бесстыдно-грешащее и ханжески-молящееся правительство? Ясно, что никто. Такое·правительство ни для кого не было бы отечеством. Его сыны чувствовали бы себя сиротами, а родину-мать – вдовой. Правильно потому говорит Вольтер: «Отечество возможно только под добрым королем, под дурным же оно невозможно». Ту же мысль высказывает и La Bruyère: «В деспотиях невозможно отечество».

С осознания этой невозможности всегда и начинались революции. Перед революционерами сразу же вставал вопрос: правильнее ли защищать родину на территории поработившей ее деспотии или извне – на территории чужбины. Те, которым второе решение представлялось более целесообразным, – эмигрировали. История эмиграции, история полупринудительных и полудобровольных разлук с родиной, несмотря на ее давность и на то, что ряд выдающихся людей подолгу пребывал вне своего отечества, еще не написана. Вот несколько имен и дат. Уже Платон жил некоторое время в эмиграции. Одна из самых замечательных книг мировой литературы «De Civitati Dei» Блаженного Августина порождена беженским вопросом IV столетия: падением Рима и бегством римлян в Северную Африку и Малую Азию. Эмигрант Данте был трижды приговорен к смертной казни, в последний раз с ее распространением и на его детей.

Американцы, поскольку они не туземцы, – все эмигранты. XVII век – классический век эмиграции. Менониты бегут из Голландии, а гугеноты – в нее. Великая Французская революция залила все европейские страны своими аристократическими emigres и протестантскими refugies. Спустя 15 лет после четвертого раздела Польши ее душа переселилась в Париж: князь Чарторийский, Мицкевич и историк Лелевель. Если еще вспомнить, что в 1922-23 гг. 35000 турок были из Греции переведены в Турцию, а полтора миллиона греков из Малой Азии в Грецию, то наша судьба российских эмигрантов уже не покажется нам столь непостижимой и необычайной, какой она нам представляется. О том, какой хаос поднимется в Европе, пророчествовали многие зоркие люди: Токвиль, Ницше, Достоевский, Яков Бургхардт. Быть может самые вещие слова, которых нельзя не вспомнить, размышляя о нашей эмигрантской судьбе, принадлежит Герцену:

«Вся Европа выйдет из своих берегов, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся... национальности будут сломлены и оскорблены. Города обеднеют, образование падет... земля останется без рук... усталые, заморенные люди покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность... Тогда победители начнут драться из-за добычи. Испуганная цивилизация, индустрия побежит в Америку, унося с собой от гибели деньги, науку, начатый труд».

Поразительно. Но довольно истории. Вернемся к самим себе и постараемся разобраться в своих собственных делах.

ЭМИГРАНТ

Люди, покидающие родину под давлением революционных смут, могут быть разделены на эмигрантов и беженцев. Характеризуя эмигрантов и беженцев, я подчеркиваю, что даю «воображаемые портреты» или, по более научной терминолологии одного из самых значителыных социологов XX века Макса Вебера, – идеал-типические образы. В конкретной жизни идеал-типических эмигрантов, как и идеал-типических беженцев мало. Кроме того бывает и так, что человек, годами живший и работавший, как закаленный в борьбе эмигрант, вдруг превращается в беженца-обывателя. Эмигрант – это активный борец за свою родину-мать против предавшего ее отца. Но с кем и какими средствами возможно ведение этой борьбы? Ясно, что без помощи организованного общественного мнения и государственной власти той страны, в которую эмигрант попал или которую он себе выбрал, никакая борьба невозможна. Для ее успешного ведения эмигранту необходимо освоить чужбину, превратить ее в свое второе отечество, стать до известной степени своим среди изначально чуж-

дых ему людей, вызвать их доверие, склонить к себе их ухо. К совсем чужому человеку они прислушиваться не станут. Вопрос о перемене подданства для эмигранта малосущественен и даже больше: в сущности, он для него беспредметен. Покинувший свое отечество эмигрант не может продолжать считать себя сыном своего отца и гражданином государства, против которого он борется. Теряя свое подданство, он тем самым лишается и возможности его смены на другое.

Сложнее вопрос о праве политического эмигранта защищать свою родину вооруженной рукой чужого государства или, что по существу одно и то же, сочувствовать успешному наступлению чужой армии на государственную территорию своей родины. Вопрос этот отвлеченно – неразрешим. То или иное разрешение зависит от того, кто наступает и в каких целях. С занятой мною точки зрения освобождение родины хотя бы и вооруженной рукой дружественного государства надо считать лишь в принципе допустимым, фактически же всегда и очень опасным и маложелательным. Не революционное минирование своей родины и не подготовка интервенций является поэтому главной задачей эмиграции, а защита России перед лицом Европы и сохранение образа русской культуры.

К сожалению старая русская эмиграция успешно исполнила лишь эту вторую задачу. Нет сомнения, что всё созданное ею в научной, философской и художественной сфере со временем весьма ценным вкладом прочно войдет в духовную жизнь пореволюционной России.

Гораздо меньшего достигла эмиграция в области защиты русских интересов среди общественных и политических деятелей Европы. Я отнюдь не жалею, что она по примеру других стран не создала своего эмигрантского правительства. От таких правительств – избави нас Бог! Но она не создала и никакого организационного центра, никакого печатного органа, который авторитетно разъяснил бы иностранцам миросозерцательную, психологическую и политическую суть происходящих на родине событий. В хоре иностранных голосов ежедневно столь же самоуверенно, сколь и беспредметно размышляющих о России, о ее правительстве и народе, о ее прошлом и будущем, – русского голоса не слышно.

В 20-х годах дело всё же обстояло лучше. Разбитый большевиками либерально-социалистический фронт Временного Правительства располагал довольно прочными связями с политическими центрами Европы. Голос порабощенной большевиками России в то время еще имел некоторый вес. Но с годами он ослабел и затих. Самую большую роль в этом печальном процессе сыграли годы, т. е. старость, болезнь и смерть прежних вождей революционной демократии, но

немалую роль сыграли и ослабление духа бодрости и потеря необоснованных надежд: большевизм оказался явлением гораздо более сложным, значительным и судьбоносным, чем это поначалу казалось деятелям Февраля.

Новой эмиграции роль консультантов по русским делам оказалась еще менее по плечу, чем старой. Выросшая в стране, абсолютно отрезанной от всего остального мира, она не вывезла и не могла вывезти в Европу ни более или менее солидных исторических знаний, ни живого ощущения души и бездушия Запада. Достаточного же времени, чтобы осмотреться и во всём разобраться, продумать своим умом и окинуть своим глазом ей не было дано, так как сразу же по окончании второй войны на Западе поднялась борьба между «свободным миром» и советской Россией. Победы в этой борьбе Запад надеялся добиться собственными силами и средствами. Ни в каких идеологических и стратегических советах эмиграции он не нуждался. Нельзя сказать, чтобы Европа и Америка новую эмиграцию игнорировали, отнюдь нет. С нею много носились, гораздо больше, чем со старой, но с нею мало считались. Западу были нужны не политические советники, а свидетели советских ужасов, эксперты по определенным вопросам, агитаторы и т. д.

Хотя эмигрант, главным образом, политик, он всё же и частный человек, стоящий перед трудною задачей настолько хорошо устроиться в чужой земле, чтобr прокормить себя и свою семью, чтобы вырастить детей добрыми европейцами или американцами, но и подлинно русскими людьми. Осуществление этой задачи – дело трудное. Уберечь детей от влияния чужой страны, их второго отечества, нельзя, а потому и противиться ему бессмысленно. Школа, среда, улица, театр, товарищи и, главным образом, язык, – всё это факторы громадного значения, которые, если им ничего не противоставлять, неизбежно приводят к быстрой и полной денационализации детей. Чтобы этого не случилось, необходимо подсказать детям определенную тему для общения с западным миром. Этой темой и может, и должна быть Россия. Русский по происхождению ученик немецкой гимназии, читающий со своим немецким товарищем «Бориса Годунова» Пушкина, студент Сорбонны, пишущий работу о роли Герцена в европейском революционном движении, окончивший берлинскую консерваторию внук старого русского эмигранта, не дающий ни одного концерта без исполнения русских композиторов, европейски образованный православный священник, мальчиком выехавший из советской России, окончивший парижский Богословский институт и смиренно раскрывающий католикам и протестантам мистическую глубину и благоухание православного богослужения – вот несколько образов и примеров того органического сращения верности своей

покинутой родине с творческим освоением второго отечества, в котором, вдали от всякой политики, таится смысл нашей эмигрантской жизни, эмигрантской – не беженской.

Беженскую жизнь устроить и осмыслить очень трудно, а быть может и невозможно.

БЕЖЕНЕЦ

Беженец в моей социологической конструкции представляет собою полную противоположность эмигранту: он не способен на то, в чем, как было выяснено, центр и сущность эмигрантского сознания и эмигрантской жизни. На органическое соединение жизни с родиной с жизнью на чужбине. Беженец, обыкновенно, или с такою силой одержим тоскою по родине, что оказывается не в силах хоть как-нибудь устроиться в чужой стране, или наоборот: он с такою быстротой забывает покинутую родину, что в два счета недурно устраивается в любой среде. Беженец первого типа – беспочвенный лирик, беженец второго типа – зубастый мещанин-делец. Говорить о дельцах много не приходится. Существенной социологической проблемы Русского Зарубежья они собой не представляют, так как уже во втором поколении утрачивают, по крайней мере на поверхностный взгляд, свой национальный облик, а в третьем – и язык.

Было бы нетрудно описать ряд головокружительных беженских карьер, но не стоит вдаваться в беллетристику. Для меня важны не образы беженской жизни, а ее исходные точки зрения – простые и ясные: не за тем мы бежали от холода и голода, чтобы здесь мерзнуть и голодать. Не за тем покидали добро, чтобы жить нищими. У себя обязательно сели бы в тюрьму за буржуйство, а здесь, Бог даст, в люди выйдем. Надо сказать, и впрямь выходили.

Гораздо сложнее проблема беженцев-лириков. Говоря о них, я, главным образом, имею в виду те слои Зарубежья, что попали в Европу после ликвидации Белого движения. Среди новых эмигрантов поэтов много, но беженцев-лириков мало.

Человек не может жить, не помня своего прошлого. Только памятью, учит Платон, осуществляется человеческая личность. Но человек также не может жить, не забывая ничего из того, что довелось пережить. Пережив страшную трагедию, ничего не забывающий человек мог бы лишь претерпевать, но не строить, свое будущее; всё сидел и плакал бы у рек Вавилонских. Не умея правильно сочетать права на память с долгом забвения, эмигрант-лирик не только что льет слезы, но словно кровью истекает мучительными воспоминаниями о своем незабвенном прошлом.

Помнить и вспоминать – не одно и то же. Помнить можно и бессознательно, бессознательно же вспоминать нельзя. Помнить прошлое – значит нести его в себе как свое наследство и во всех своих чувствах и помыслах постоянно излучать его. Когда Шаляпин·пел в Париже Годунова, он о России, конечно, не вспоминал. На сцене, со свойственной ему осмотрительностью, следил за своей игрой и за своим пением. А в паузах думал об успехе у публики и у прессы, быть может даже и о повышении гонорара. Но всё это происходило на поверхности его сознания. В глубине же своего бессознательного творчества он жил, конечно, Россией. И не вспоминая ее – он помнил ее. Потому и мы, слушая его, возвращались памятью в Московское Царство.

Старо-эмигрантские воспоминания – нечто совсем иное и даже обратное. Они не жизнь в прошлом – традиция, а возврат настоящего в прошлое – иллюзия: реки, как известно, вспять не текут. Живя надеждою, что это чудо рано или поздно всё же случится, типичные беженцы оказываются неспособными к уразумению смысла, а потому и к осмысливанию своей собственной трагедии. Вместе с тоскою по своему светлому прошлому в них на чужбине быстро вырастает ненависть к новому окружению. Так незаметно подкрадывается к ним тяжелое душевное заболевание Зарубежья – ностальгия, классическим выражением которого мне представляется запись марсельского самоубийцы: «А в Туле небо было ярче». Это яркое тульское небо – одно из тех типичных эмигрантских преувеличений, которыми с первых же лет искажались почти все старобеженские воздыхания. В разговорах между собой, а в особенности с иностранцами, русские дворяне-помещики инстинктивно преувеличивали число десятин в родовых имениях, а высшие чины русской армии – свою близость к петербургскому Двору. Но, конечно, преувеличивали не только дворяне, но и другие сословия, даже и революционерам жандармские офицеры представлялись, в сущности, довольно приятными людьми.

Трудно преодолеваемая враждебность к новой эмиграции, не помнящей старой России и несущей на себе, несмотря на вражду к большевизму, всё же его отпечаток и, что еще мучительнее, постоянные нелады и размолвки с детьми, которых жизнь неудержимо сносит не только в чужую, но и в ненавистную родителям среду – постоянные спутники ностальгии. «За русскую книгу их не засадишь, говорить между собой по-русски не заставишь, уважение к сытой, чистой, заграничной жизни в них не погасишь и, что самое главное, бессознательного презрения к нам – неустроенным, нищенствующим беженцам – не победишь. Какие же они русские, когда они России и знать не хотят; да и·какие же они нам дети, когда они нас стыдятся?» Кто не слышал таких жалоб, не чувствовал их горечи?

Странным образом, но такие настроения порождают иногда как будто бы невозможный для беженцев вопрос: «Да не зря ли мы бежали? Как-никак, а люди ведь и дома живут. Конечно, страдают, но знают за что и знают, что родина их слышит. А мы тут за что страдаем? Никому наши страдания не нужны и никому они не слышны. Вот уже 20 лет на одном месте живем, а всё равно всем чужие. Были бы помоложе, быть может назад бы вернулись!»

Это как раз то, что собирался сделать мой учитель-власовец. Допустимо ли такое решение, правильно ли оно? Думаю, что говоря принципиально, т. е. не входя в рассмотрение индивидуальных обстоятельств каждого отдельного случая, на этот трудный вопрос надо отвечать утвердительно. Пребывание на чужбине оправдывается только борьбою за родину. Если бороться нет ни возможности, ни сил, то почему не ехать домой, если тебя земля зовет? Против такого тихого возвращенчества никто возражать не вправе.

Совсем другое дело – громкая возвращенческая проповедь советских патриотов.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ

Советские патриоты появились и громко заговорили в Зарубежье только по окончании Второй мировой войны, хотя в эмбриональном состоянии они существовали и раньше. При первых встречах с ними в Париже и Швейцарии я недоумевал: как понять и чем объяснить, что убежденные антибольшевики вдруг начали восхвалять Сталина как спасителя родины, как ее доброго гения. Лишь после многих размышлений я понял, что вновь испеченные сталинофилы славословят Сталина за то, что под его маршальским жезлом советская армия разбила Гитлера, что он для них – второй Кутузов, одержавший, как и первый, блестящую победу над самим Антихристом. Возражение, что если уже оперировать этим, не очень односмысленным историософским образом, то можно, пожалуй, и самого Сталина причислить к предтечам апокалиптического героя, их не убеждало, так как самый факт дарования Господом Богом победы Сталину над Гитлером являлся для них доказательством того, что сталинская Россия уже возвращается ко Христу и в Православную Церковь. Против таких пророчеств спорить было бы трудно и отвечать на них нечего, кроме: «Дай Бог, дай Бог, вашими бы устами да мед пить». Но, конечно, не в религиозных пророчествах сущность и сила новоявленных советофилов, а в страстном заносчивом патриотизме: мы русские – какой восторг!

С этим восторгом связаны безоговорочное отрицание эмигрант-

ской миссии и требования эмигрантской борьбы. Не бороться надо по мнению «патриотов» против советского правительства, а, временно закрыв глаза на страдания родины, всеми силами поддерживать воскресшее в силе и славе всероссийское отечество против всех его внутренних и внешних врагов. Где искать корней этого пафоса? Конечно же не в христианстве и уж никак не в православии. В идеологии советских патриотов громче всего звучат мысли Гегеля и его школы с некоторой примесью маккиавеллизма. «Государство есть находящийся в вечном движении мир идей» (Адам Мюллер), «Государство – это Бог на земле» (Гегель). Вот из чего фактически исходят советские патриоты в их проповедях и писаниях. Они в этом не очень сознаются, что и понятно: патриотам, хотя бы и советским, как-то неудобно исходить из учений германской философии. Правда, из того же Гегеля исходили и большевики, но ведь они поначалу были коммунистическими интернационалистами, а никак не русскими патриотами.

Излюбленным средством сращения советского патриотизма со старо-русским являются размышления о том, что если окинуть пройденный большевиками путь с той высоты, с которой его видит история, то нельзя будет не признать, что история России с покон веков шла тем страдательским путем, каким ее ведут бопьшевики. Разве при Иоанне Грозном и Петре не лилась обильно кровь и не свирепствовали пытки? Конечно, и того и другого было меньше, но ведь лишь потому, что и Россия была меньше. Если же учесть увеличение ее площади и прирост населения, то еще неизвестно, кто правил круче. Конечно, соглашаются советские патриоты, большевистская власть подавляет свободу Церкви и принуждает ее служить государству, но разве того же не делал образованнейший юрист Победоносцев? Конечно, крестьянам не сладко в колхозах, но разве им было слаще в аракчеевских поселениях и под помещичьим гнетом? Никто не спорит, распадавшуюся под бессильною властью Временного Правительства Россию большевики спасли страшными мерами, тяжелою рукой в ежовой рукавице, но разве было бы лучше, если бы она погибла, была бы расхищена иностранными акулами и меньшинствующими предателями? Обвинять большевиков в том, что они, как крупные политики всех времен, действовали согласно законам истории, которые никогда не совпадали с требованиями нравственности, бессмысленно и несправедливо. Фридрих Ницше знал, почему он отрицал «моралин» в истории.

Хотя и верно, как уже было отмечено, что советские патриоты, за очень немногими исключениями, прибыли в Европу определенными врагами большевизма и лишь после войны обернулись·советофилами,

было бы несправедливо обвинять их в идеологическом перебежничестве. Изменились, в конце концов, не они, изменилась на их глазах Россия – ее облик, ее строй. Большевики, подписавшие «похабный» бресткий мир, были им ненавистны, как разрушители исторической власти и государственной мощи России. Но вот те же большевики не только восстановили эту власть, но усилили и возвеличили ее. Перед Россией трепещет не только Европа, но весь мир. Не ясно ли, что ненавидеть их больше не за что, что им можно только рукоплескать?

Всё это вполне последовательно, но, как мне кажется, характерно скорее для римско-германского, чем для традиционного русского патриотизма. Уже Киреевский обвинял римлян в том, что их мужской патриотизм не знает теплой любви к матери-родине, что он односторонне питается гордым ощущением величия и славы своего отечества.

Думаю, что эти слова Киреевского верно характеризуют государственный пафос советского патриотизма. Ничем иным, как этим пафосом, объясняется и то, что в отличие от несчастных беженцев советские патриоты живой тоски по родине не чувствуют, что и понятно: славить и пропагандировать силу и талантливую изобретательность большевистской власти гораздо легче и удобнее в Европе, откуда не видны страдания родины, чем среди несчастного русского народа.

Борьба с советскими патриотами возможна, а потому и осмысленна, но спор с ними беспредметен. Для их счастья достаточно сознания того, что над бескрайними просторами России никогда не заходит солнце. Для нашего счастья – этого мало. Нам надо еще знать, какую жизнь освещает это, никогда не заходящее, солнце. Советские патриоты утешены тем, что влияние большевизма в мире растет. Мы же уповаем на то, что Бог видную ему правду хоть и не скоро, а всё же скажет.

«Новый Журнал», № 43, 1955

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Ольга Матич

В. В. Шульгин: противоречия или парадоксальное мышление

Те, кто занимается политическим деятелем, публицистом и писателем Василием Шульгиным, обычно выделяют его монархизм, парадоксально сочетавшийся с участием в отречении Николая II от престола, из-за чего, в свою очередь, многие монархисты провозгласили Василия Витальевича (В.В.) предателем. Он иногда объяснял свое участие в отречении тем, что присутствие истинного монархиста облегчило бы столь тяжелый для Государя поступок. Прожив 98 лет, Шульгин всю жизнь переживал свою роль в отречении, о чем мне известно из семейных рассказов (В.В. – мой двоюродный дед) и из его неопубликованных тюремных записей, которые я читала в ЦГАЛИ в 1991 году. В них он задается вопросом: «…[Я] поступил тогда так из дряблости или джентльменства? Мне кажется, в моей душе было и то и другое. Но не надо об этом, не надо. Это слишком тяжело и трудно для моих старческих переживаний». Джентльменом он называет того, «кто пользуется своим правом только тогда, когда иначе никак нельзя»[1].

Шульгин оказался в тюрьме после Второй мировой войны. По приказу Сталина контрразведка СМЕРШ («Смерть шпионам») арестовала его 24 декабря 1944 года в Югославии, в сербском городке Сремски-Карловцы, где в двадцатые годы находился штаб-квартира П. Н. Врангеля. В.В. шел за молоком, когда его арестовали. Он был арестован за антисоветскую деятельность и отправлен в Москву. После двух лет допросов на Лубянке Шульгин был приговорен к двадцатипятилетнему тюремному сроку во Владимирском централе специального назначения.

В другом месте тюремных записей В.В. пишет: «Ненавидя политику, я всё же был пламенным монархистом», а в «Годах», законченных в 1966 году после выхода из тюрьмы (Хрущев его амнистировал в 1956-м), вот как он описывает начало своей политической деятельности как депутата Государственной Думы: «Крышка гроба захлопнулась. Я был заживо погребен навсегда. Там я лежал – политик,

политику ненавидящий»[2]. Утверждение парадоксальное: В.В. хотел быть просвещенным русским помещиком и писателем[3], но почти всю жизнь занимался политикой.

Монархизм и антисемитизм Шульгина, которыми он славится в среде исследователей его наследия, содержат в себе элементы парадоксальности[4]. Возникает вопрос: являются ли «парадокс» и «противоречие» по сути одним и тем же явлением или нет? Хотя они во многом и синонимичны, политические противоречия обычно состоят из более стандартных элементов, чем парадоксы, которые зачастую основаны на независимом и обособленном мышлении. «Парадокс» по-гречески означает «против того, что принято». В некоторых случаях парадоксальность способствует креативности. Нечто похожее можно сказать и о несовместимости разных личных убеждений.

Отступления Шульгина от своих убеждений – монархизма и антисемитизма, как и проявления его националистической позиции, – однако, не относились к его *антиукраинскому мировоззрению*, столь релевантному в контексте сегодняшних событий в Украине и России (думаю, что киевлянин Василий Витальевич Шульгин был бы против развязанной Путиным войны). Называя себя малороссом, он в то же время последовательно отказывался от украинского национализма своей эпохи. К этой менее изученной теме я еще вернусь.

Некоторые известные поступки Шульгина до и после революции говорят о том, что он не придерживался ортодоксальных идеологических доктрин своей эпохи. Кам мне кажется, это, в основном, происходило, когда он старался поступать, соответствуя «правде» – как он ее понимал; *правдивость* была для него основополагающей поведенческой мотивацией. В схожем контексте можно сопоставить греческие слова «ортодокс» и «парадокс»: Шульгин явно предпочитал ортодоксальности – парадоксальность. В частности, его поведение нередко отражало отклонения от ортодоксальной черносотенской позиции, включая национализм; он называл это своими неожиданными «зигзагами»[5].

Мой подход к Шульгину основан на его «двойственном» отношении и к монархизму и монарху, и к евреям; это отношение способствовало его репутации противоречивой фигуры в российской политике начала двадцатого века. В связи с этим и возникает вопрос о парадоксальности его поступков и изменении во взглядах. В неопубликованных тюремных мемуарах начала 1950-х он напишет: «Да здравствует непостоянство!» – высказывание, которое в первую очередь относится к нему самому. В постскриптуме к более поздним воспоминаниям, изданным историком Н. Н. Лисовым и опубликованным под названием «Последний очевидец», Василий Витальевич

говорит: «Только то интересно, что живо... А всё живое меняется»[6]. Эти слова вполне применимы и к его парадоксальности, и к изменениям политических позиций, а также к риску, который Шульгин любил. Я бы добавила, что он отчасти находил свое место в *непринадлежности:* например, В.В. не был членом ни одной политической партии в течение продолжительного времени.

МОНАРХИЗМ

Как депутат, начиная со второго созыва Государственной Думы, кроме последних лет, Шульгин был правым. Монархист, приверженец самодержавия до конца жизни, он, однако, не считал Николая II умным или хотя бы последовательным правителем. Отношение В.В. к власти стало резко меняться из-за провального ведения Первой мировой войны и неудач на фронте. В первую очередь Шульгин обвинял в этом военного министра В. А. Сухомлинова, но не снимал вины и с самого Николая II. Уйдя на фронт добровольцем в начале войны, где он вскоре был ранен, Шульгин наблюдал, среди прочего, повсеместный недостаток снарядов, который определял российские неудачи непосредственно.[7]

Вернувшись в Думу в 1915 году, Шульгин изменил многие свои установки, первым делом выступив против незаконного устранения пятерых большевиков-депутатов. Став лидером Прогрессивных националистов, он вступил в Прогрессивный блок Государственной Думы, созданный по инициативе кадетов Павла Милюкова и Василия Маклакова, и даже стал членом его руководства. Блок, в основном, состоял из кадетов и октябристов, требовавших либеральных государственных изменений, – в первую очередь, назначения министров в согласовании с Думой, а также постепенного снятия ограничений прав евреев[8]. Шульгин был против назначения премьер-министров И. Л. Горемыкина (на второй срок) и, особенно, реакционера Б. В. Штюрмера, которого он назвал «ничтожеством». 3 ноября 1916-го, спустя полгода после его назначения, Шульгин произнес речь в Думе: «Если мы сейчас выступаем совершенно прямо и открыто с резким осуждением этой власти, поднимаем против нее знамя борьбы, то это только потому, что действительно мы дошли до предела и что произошли такие вещи, которые дальше переносить невозможно. <...> люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу (Немецкому главнокомандующему на российском фронте. – *О.М.*), они затрепетали перед Штюрмером. <...> У нас есть только одно средство: бороться с этой властью до тех пор, пока она не уйдет»[9]. Левые члены Думы и центристы прерывали его речь рукоплескания-

ми, отчасти подчеркивая ее сходство с выступлениями на ту же тему кадетов Милюкова и Маклакова.

В первый же год в Думе (1907) Шульгин прославился оскорбительным и шутливым высказыванием в адрес социалистов-революционеров, применявших террор в своей политической деятельности. Во время закрытого заседания, на котором обсуждались «зверства» власти, Шульгин произнес: «Я, господа, прошу вас ответить: можете ли вы мне откровенно и положа руку на сердце сказать: ‘А нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане?’»[10]. Крайне правый депутат Владимир Пуришкевич позже написал на него соответствующую эпиграмму:

Твой голос тих, и вид твой робок,
Но черт сидит в тебе, Шульгин.
Бикфордов шнур ты тех коробок,
Где заключен пироксилин*.

В целом, отношение Шульгина к царствованию Николая II характеризовалось и изменением взглядов, и парадоксальностью, особенно в свете его участия в отречении. Вспоминая свою роль в отречении Государя, он писал о своих переживаниях как монархиста. Участие в отречении отражало, в частности, и желание спасти жизнь монарху, но, как известно, сделать этого Шульгину не удалось.

Парадоксальность неожиданных отклонений от ортодоксальных идеологических установок создавала конфликт как и в нем самом, так и среди его единомышленников. Возникала своего рода ситуация *pro et contra,* при которой независимо мыслящему человеку приходится выбирать, в том числе и из-за разочарования в собственных ортодоксальных убеждениях. Идеологические ортодоксальность и парадоксальность любопытным образом перемежались в убеждениях и поступках Шульгина и реакциях на них. Так, отречение императора для правых политиков было абсолютно неприемлемо в идеологическом смысле, в отличие от Шульгина, для них отсутствовали сложные промежуточные возможности, лежащие между *pro et contra* и возникающие в исторической ситуации, когда однозначный выбор между ними невозможен. Ортодоксальная идеология не позволяет обособленных промежуточных установок, к которым Шульгин прибегал в сложных для себя ситуациях. Их можно назвать компромиссами – в контексте работы Думы компромиссы оппозиции способствовали бы более эффективному функционированию парламентского органа.

---

* Взрывчатое вещество

Василий Шульгин. 1925

В отличном от традиционного толкования ключе Шульгин анализирует и причины революции 1917-го. В своем первом мемуарном тексте «Дни», написанном в эмиграции (В.В. эмигрировал в 1920 году), он обвиняет в революции выродившееся правящее дворянство: «Был класс, да съездился»[11]. В двадцатилетней переписке с правым кадетом Маклаковым (1919–1938), называвшейся «Спор о России»[12], Шульгин пишет, что «причина постыдного поведения нашего в 1917 г. кроется <...> в вырождении физическом и душевном классов, предназначенных для власти, [напоминавших] *недоносков* и *выродков*»[13]. Вопрос вырождения, шире – теория психо-биологической дегенерации, разработанная во второй половине девятнадцатого века Максом Нордау (*Entartung* / «Вырождение», 1892), оказала значительное влияние на европейское и, отчасти, российское культурное сознание на стыке двух столетий. Понятие вырождения Шульгин применял и к самому себе: во Владимирском централе он назовет себя «вырожденцем». Связывая падение монархической власти с ее вырождением в «Годах», он пишет, однако, что «Столыпин не выродился»[14]. Шульгин был приверженцем столыпинского монархизма (в отличие от других российских премьер-министров).

Иными словами, размышления Шульгина о революции связаны с множеством факторов, имеющих различные источники, которые он обсуждает в своих статьях, мемуарах и дневниках.

АНТИСЕМИТИЗМ

Другим ключевым источником революции в России для Шульгина был так называемый «еврейский вопрос», который особенно остро стоял на юго-западе, на территории современной Украины. Обсуждая общественно-политическую идеологию и черно-

сотенство Шульгина как члена «Союза русского народа» (при том, что он не был «настоящим» черносотенцем), многие исследователи ставят на первое место антисемитизм. Парадоксально он сочетался с активной защитой Шульгиным Менделя Бейлиса.

Приказчик киевского кирпичного завода Бейлис был обвинен в ритуальном убийстве православного подростка Андрея Ющинского («Кровавый навет»[15]) в 1911 году. Это нашумевшее дело, организованное черносотенцами, стало, пожалуй, самым известным процессом дореволюционной России. В семейной газете Шульгиных «Киевлянин», основанной официальным отцом В.В. (о чем ниже) – профессором общей истории Киевского университета Виталием Шульгиным[16], первым, кто начал писать о деле Бейлиса, был Дмитрий Иванович Пихно, редактор газеты к тому времени.

В 1912 году Пихно, ставший антисемитом в связи с еврейскими беспорядками, ведущими к революции 1905 года[17], опубликовал большую статью против фальсифицированного обвинения Бейлиса, российского эквивалента Дела Дрейфуса. Это несмотря на то, что после 1905-го он возглавил черносотенный Киевский отдел Союза русского народа! При этом Пихно осудил процесс против Дрейфуса в «Киевлянине» (№ 239) еще в 1899 году[18]:

Антисемитизм в своем ослеплении и озлоблении принес бы куда больший вред и удар христианскому миру, если б увлек его за собой. <...> если судьба несчастного еврея Дрейфуса привлекает интерес всего мира, то эти факты показывают, что высокие нравственные идеи в христианском мире и среди злобного ослепления являются мощной силой и подвигающей на подвиги.

Публицист и исследователь истории российских евреев Абрам Кауфман в своей брошюре о Пихно («Друзья и враги евреев», 1907) утверждает, что до 1903 года «Киевлянин» и его редактор относились к еврейскому вопросу «в духе справедливости, отстаивая отмену ограничительных законов о евреях и осуждая гонения и преследования евреев со стороны местной администрации» – что не соответствует традиционной антисемитской репутации газеты. К тому же Кауфман пишет, что Пихно дружил с богатым еврейским сахарозаводчиком и меценатом Лазарем Бродским, которого, среди прочего, убедил построить в Киеве Бактериологический институт. Кауфман также упоминает, что Бродский печатался в «Киевлянине» и участвовал в покупке имений Пихно[19]. Возможно, последнее отчасти объясняет слухи о том, что тот построил Волынский сахарный завод на еврейские деньги, а «Киевлянин» «продался евреям».

Брошюра Кауфмана, однако, почему-то не упоминается в работах о Шульгине, хотя в ней много интересных фактов о «Киевлянине» и публиковавшихся там статьях о противостоянии газеты антисемитизму, например: «Антисемитизм с его практическими последствиями приносит народам, среди которых евреи живут, куда больше вреда, чем самим евреям. Надлежит облегчить слияние евреев с русским народом» (1898). В другом номере: «Правительство идет по совершенно ложному пути и вместо того, чтобы дать положительные законы, облегчающие слияние евреев с русскими и тем самым смягчающие скрытое недоверие обеих сторон, создает ряд ограничительных законов, которые еще больше усложняют отношения»[20]. Кауфман дает много таких примеров, которые освещают «Киевлянин» до 1903 года с достаточно положительной в отношении евреев стороны.

В результате выступлений против Дела Бейлиса семейная газета потеряла большое количество консервативных подписчиков. В третий день самого процесса (27 сентября 1913 г.) Василий Шульгин, ставший редактором газеты после смерти Пихно[21] в том же году, посвятил нашумевшей истории передовую статью:

Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса не является обвинением одного человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжелых преступлений, что есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий. <...> Надо было бросить обвинение в сокрытом ритуальном злодеянии против судебного следователя, против прокурора окружного суда, против прокурорской палаты. <...> Вы, твердящие о ритуале, сами совершили жертвоприношение. <...> Вы отнеслись к [Бейлису] как к кролику, который кладется на вивисекционный стол, чтобы доказать виновность евреев в организации погромов против них[22].

Шульгин также пишет, что из-за отсутствия убедительных доказательств обвинения, называя их «лепетом», «мало-мальский защитник разобьет [их] шутя». Номер газеты был конфискован, но те экземпляры, которые успели разойтись, покупались за десять-двадцать рублей. Несмотря на конфискацию, Шульгин продолжал писать о Бейлисе. За его статью националист Михаил Меньшиков назвал его «нашим маленьким Золя».

В результате обвинений киевской прокуратуры, особенно ее главного прокурора Г. Г. Чаплинского и министра юстиции Ивана

Щегловитова, в Деле Бейлиса Шульгина приговорили к трехмесячному тюремному заключению[23]. Но как члена Думы Николай II его вскоре помиловал, написав: «Почитать дело не бывшим»[24].

О роли «Киевлянина» в Деле Бейлиса писали не только в России, но и за границей, потому что газета была известна как антисемитская, которой она и стала. Как я пишу в «Записках русской американки» (2016), на конференции американских раввинов

в 1914 году, например, было принято решение выразить признательность «Киевлянину»: Наша благодарность Василию Шульгину должна быть внесена в книгу протоколов. Шульгин, член реакционной антисемитской партии и редактор ее главного органа «Киевлянин», доказал, что Бейлис явился жертвой абсурдного и зловещего заговора. <...> Поскольку он реакционер, его показание – самое ценное показание из всех. <...> Он – Харбона на киевском Пуриме, чье имя будет помянуто добром[25].

Парадоксальность своих высказываний, как и изменения в отношении еврейского вопроса, Шульгин иногда называл «зигзагами», отражающими антиномичность его меняющихся национальных воззрений. Впрочем, всё это сошло на нет в связи с большевистской революцией.

Шульгин был антисемитом «with a difference». Как и «Киевлянин», он активно выступал против погромов[26], отчасти потому, что они оправдывали революционную и антирусскую настроенность евреев, а в Думе подписал «хартию» Прогрессивного блока, включавшую изменения статуса российских евреев в Российской империи. Как мне рассказывала моя мать, первая жена Шульгина, Екатерина Градовская, была частично еврейкой (со стороны отца). Из семейных рассказов мне известно, что лучшими друзьями В.В. в гимназии, помимо русского Михаила Кульженко, были евреи: братья Сергей и Евгений Френкели, Владимир Гольденберг[27], Евгений Цельтнер и дядя будущего великого пианиста Владимира Горовица Александр. Все они происходили из состоятельных и образованных еврейских семей, но главное – никто из них не придерживался революционных взглядов.

В своих воспоминаниях после советской тюрьмы Шульгин называет почти всех: «Два брата Френкеля, Мишка Кульженко, Владимир Гольденберг, еврей, и я – наша пятерка»[28]. После окончания гимназии Шульгин, Гольденберг и Цельтнер одно время весело путешествовали в Швейцарии, а с Френкелями он много лет дружил в эмиграции. Эти воспоминания под названием «Тени, которые про-

ходят» (2012) издал Ростислав Красюков, познакомившийся с Шульгиным в 1967 году[29].

Шульгин утверждал, что его антиеврейские воззрения были сугубо политического происхождения, впервые они возникли во время его последнего года в Киевском университете (1899) из-за забастовок, в которых участвовало много евреев, то есть за несколько лет до Пихно – это если придерживаться информации Кауфмана о Дмитрии Ивановиче. Законченным антисемитом В.В. стал во время революции 1905 года и связанных с ней вооруженных беспорядков на юго-западе страны, в которых он обвинял евреев.

Современный историк Олег Будницкий пишет, что «неполноправное положение евреев в царской России неизбежно толкало определенную часть еврейства в ряды революционеров <...>. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем[30] председатель Комитета министров Сергей Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего шесть миллионов в 136-миллионном населении России. Если Витте и преувеличивал, то ненамного <...>. Русскому обывателю – от люмпена до интеллигента – роль евреев в русской революции представлялась еще бóльшей, чем она была на самом деле»[31]. Значительно также высказывание Будницкого, что организацией погромов правительство не занималось, опровергающее тех, кто обвинял и продолжает обвинять в них царскую власть. Интересно и его сравнение революционно настроенных евреев с русскими: «Политизированное еврейство было раздираемо теми же противоречиями, что и русское общество», и утверждение, что «говорить о какой-либо единой ‘еврейской’ политике не приходилось»[32]. Шульгин же настаивал именно на *единстве* еврейского революционного движения.

Убийства Ющинского в Киеве 12 марта 1911 года, как и премьер-министра Петра Столыпина 18 сентября того же года, в которых обвинялись два еврея, оказались судьбоносными в российской истории. Впрочем, в отличие от Дрейфуса, Бейлис был оправдан киевскими присяжными (1913) – преимущественно крестьянами, – хотя они и признали ритуальный характер убийства. Одним из главных судебных защитников Бейлиса был известный адвокат и член Государственной Думы Маклаков, с которым Шульгин вскоре подружился, несмотря на их политические разногласия. Другим защитником был Дмитрий Григорович-Барский, тоже кадет и известный киевский адвокат[33].

Столыпин, сопровождавший Николая II с семьей в Киев, был убит в Киевской опере на спектакле «Сказка о царе Салтане». Они приехали на открытие памятника Александру II, установленного в

честь пятидесятилетия отмены крепостного права. Стоит указать, что в 1906 году Столыпин выдвинул законопроект о постепенном уравнивании прав евреев с другими народами в России, о чем подробно пишет Будницкий[34]. Николай, однако, законопроект не поддержал.

Убийцей Столыпина был социал-революционер Дмитрий Богров, из благополучной еврейской семьи и, видимо, тайный сотрудник киевского Охранного отделения, напоминая тем самым более известного двойного агента Азефа. Охранка, выдавшая ему билет в театр, скорее всего знала о политических установках Богрова. Из семейных историй мне известно, что Пихно, большой поклонник Столыпина – как и Шульгин, сидел в четвертом ряду партера рядом с проходом и видел человека, быстро прошедшего в сторону сцены во время антракта, после чего последовал выстрел, смертельно ранивший премьер-министра[35]. Богрова через несколько дней судили и повесили.

Возвращаясь к антисемитизму Шульгина, стоит заметить, что он сильно преувеличивал роль евреев в революционном движении до и после революций 1905-го и 1917 годов. После большевистской революции его антисемитизм обострился. Как он писал в своей антисемитской брошюре «Что нам в них не нравится?» уже в эмиграции (1929), на главные места в большевистском правительстве «как видно по всему, мостятся евреи»[36]; одним из самых «злобных» высказываний в брошюре являются слова: «Научитесь быть добрыми, и вы нам понравитесь!» Парадоксальность Шульгина по отношению к евреям, т.е. его политический антисемитизм, изменилась только после Холокоста.

Не одобряя погромов, В.В., однако, опубликовал антисемитскую «Пытку страхом» в «Киевлянине» (1919), которую Будницкий называет одной «из самых гнусных антисемитских статей в дни погромов в Киеве в октябре 19-го года»[37]. Несмотря на позорный антисемитизм Шульгина, Будницкому (как и мне) В.В. нравится своей честностью, смелостью, как и талантливостью. Он подкупает тем, что не боялся «идти против течения», что «написал, возможно, самые яркие воспоминания о русской революции и Гражданской войне. Я имею в виду ‘Дни’ и ‘1920 год’. Ленин их читал и считал, что надо их читать»[38].

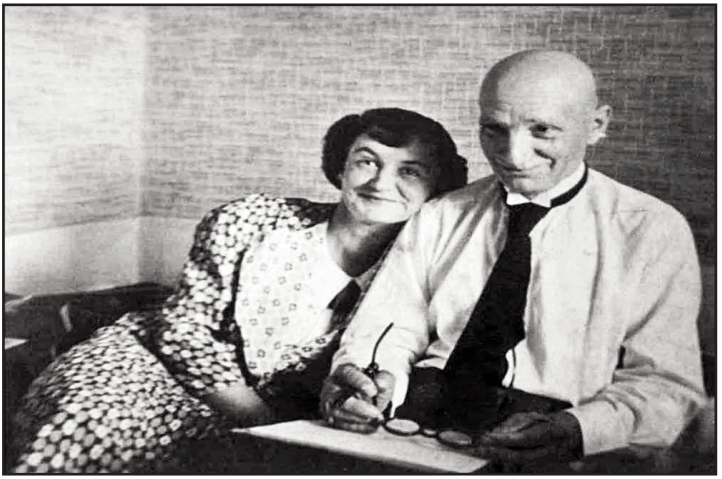
Погромы в Киеве, о которых Шульгин пишет в «Пытке страхом», происходили, когда город был занят Белой армией.

По ночам на улицах Киева наступает средневековая жизнь. Среди мертвой тишины и безлюдья вдруг начинается душераздирающий вопль. Это кричат жиды. Кричат от страха... Русское население, прислушиваясь к ужасным воплям, вырывающимся из

тысячи сердец, под влиянием этой «пытки страхом», думает вот о чем: научатся ли евреи чему-нибудь в эти ужасные ночи? <...> Пред евреями стоят два пути: один путь – покаяния, другой – отрицания, обвинения всех, кроме самих себя. И от того, каким путем они пойдут, зависит их судьба[39].

В статье «Что нам в них не нравится?» Шульгин повторяет последние фразы «Пытки страхом»: «Перед евреями две дороги: Первая – признать и покаяться. Вторая – отрицать и обвинять всех, кроме самих себя. От того, какой дорогой они пойдут, будет зависеть их судьба»[40]. Вместо справедливого и более осмысленного разрешения серьезнейшей проблемы он предлагает евреям, участвовавшим в революции, лишь поляризованные решения: покаяние или полный отказ от него. Иными словами, Шульгин не видит *промежуточных возможностей* решения еврейского вопроса, которые в сложных ситуациях он применял к себе.

«Дядя Вася» (как его называла моя мама – на фотографии тридцатых годов они сидят вместе), Вы мне *не нравитесь* своим антисемитизмом, даже очень не нравитесь!



В.В. Шульгин и его племянница Татьяна Билимович. 1930-е годы

Что касается Белой армии, Шульгин сыграл в ней важную историческую роль: он был одним из организаторов Добровольческого движения и создателем его программы, как и структуры тайного осведомительного объединения «Азбука» (под шифром «Веди») – самой успешной разведки белых на юге. Замечу, что в Белой армии участвовали все национальности, в том числе и евреи. Правда, ситуа-

ция стала меняться со временем из-за антиеврейских установок многих участников Движения.

В Гражданской войне Шульгин вначале находился у Деникина, затем у Врангеля, но в конечном итоге он разочаровался в Белом движении. Вот что он пишет в конце «1920 года» (1921): «...нас одолели Серые и Грязные... Первые – прятались и бездельничали, вторые – крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради садистского, извращенного грязно-кровавого удовольствия»[41]. Заключение экстремистское, основанное на возрастающем убеждении В.В., что Добровольческое движение вырождается, напоминающее его эпизодические разочарования в том, во что он раньше верил.

В отношении основных шульгинских установок о монархизме и антисемитизме возникает всё тот же вопрос: являлись ли отклонения от них парадоксами или изменениями хода мысли в результате конкретных ситуаций? Повторю слова самого Шульгина: «Только то интересно, что живо... А всё живое меняется», а также «Да здравствует непостоянство!»

Парадоксы, как и рискованные приключения, привлекали Шульгина всю его жизнь[42]. Однако его отношение к еврейским участникам Октябрьской революции осталось исключительно отрицательным – промежуточных ответов в этой сфере он не предлагал.

Что же касается его идеологических поисков желаемой государственной власти для России, то в эмиграции у Шульгина появилось еще одно альтернативное предложение. В двадцатые годы он неожиданно (для меня, скажем) увлекся итальянским фашизмом Муссолини, но когда я прочла, что он назвал Столыпина «предтечей» Муссолини в «функции Вождя»[43], этот парадокс стал мне более понятен. Он вполне соответствовал переживаниям Шульгина о вырождении русского правительства. Его привлекали идеологии с установкой на сильного вождя. Как утверждают Александр Репников и другие комментаторы «Тюремной одиссеи Василия Шульгина», «симпатизируя фашизму Б. Муссолини, Шульгин, однако, отделял его от национал-социализма А. Гитлера»; фюрер, как он позднее написал, фашистом не был[44]. При этом нельзя не отметить, что Шульгина сначала привлекла политика Гитлера, о чем он написал в неопубликованной повести «Пояс Ориона» в середине тридцатых; по ее сюжету Германия, Россия и Япония должны объединиться в одно целое, а гитлеровская Германия обязана будет освободить Россию от большевиков (Шульгин позднее пересмотрел свои взгляды на Гитлера и отверг его).

В «Трех столицах» (1927), написанных после его нашумевшей «нелегальной» поездки в Советский Союз в самом конце 1925 года,

Шульгин предлагает синтез коммунизма с фашизмом: «Коммунисты да передадут власть фашистам, *не разбудив зверя* <...> чтобы он [не] разнес последние остатки культуры, которые с таким трудом восстановили неокоммунисты при помощи НЭПа»[45]. И в другом месте: «Фашизм, который сейчас является противником коммунизма в мировом масштабе, несомненно, в некоторой своей части есть наша эманация» (С. 348). Талантливые в литературном смысле «Три столицы» исполнены антисемитскими высказываниями – при том, что В.В. ездил в Советский Союз под еврейским псевдонимом Иосиф Карлович Шварц[46], отрастив бороду и приобретя себе соответствующую маскировку, включая одежду! В этом и состоит один из парадоксов «Трех столиц» и ее автора, вскоре после которых он написал «Что нам в них не нравится?».

Главной целью его поездки были поиски сына Ляли (Вениамина), пропавшего во время Гражданской войны, – о том, что он жив и находится в доме для умалишенных на юге России (в Виннице), ему нагадала ясновидящая Анжелина (Сакко) в Париже. В.В. верил в ясновидящих! Живя у родственников в Польше перед тем, как пересечь советскую границу, он увлекся йогом Рамачарака[47], чьи книги он у них читал (йог упоминается в «Трех столицах»). Шульгин вообще был мистиком, увлекался спиритуализмом (столоверчением), что тоже способствовало его парадоксальности и отличало от других депутатов Думы.

В.В. сына не нашел, но НЭП произвел на него скорее положительное впечатление. (Сам НЭП можно назвать советским парадоксом.) Он пишет: «Я думал, что я еду в умершую страну, а я вижу пробуждение мощного народа» (С. 573); при этом В.В. несколько раз повторяет: «...всё, как было, только хуже» (С. 357). Правда, в конце он говорит: «Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть» (С. 624). И в отношении Ленина проявлялась парадоксальность Шульгина: он то ругает его за жестокость, то хвалит как сильного вождя! Из любопытного: в киевском киоске Шульгин купил свои «Дни».

Как известно, его поездка была организована «антисоветским» подпольным объединением «Трест», выдававшим себя за «контрабандистов», но в действительности связанным с ГПУ (чего Шульгин, разумеется, не знал или не хотел этому верить). Многие эмигрантские читатели оценили «Три столицы» положительно – среди них был посол Временного правительства в США[48] Борис Бахметев, который написал Маклакову: «Три столицы» – «книга захватывающая, любопытная, как живой документ, написанный кровью бесконечно искреннего человека. Несомненная картина России, оживающей силой

самоутверждающейся жизни; бесконечно искреннее срывание покрова с <…> происходящего в России процесса»[49].

Разумеется, это было до разоблачения «Треста», испортившего репутацию Шульгина, после чего он практически ушел из политики, сочтя себя недостойным ею заниматься. Недоброжелатели даже обвиняли его в сотрудничестве с ГПУ[50]. «Трест» разоблачили Н. Опперпут-Стауниц и журналист Владимир Бурцев[51]. Как напишет сам В.В., он «попал в чудовищный просак»!

Отношение недоброжелателей к нему изменилось, когда после войны его арестовал СМЕРШ за антисоветскую деятельность и насильно увез в Советский Союз.

Что касается парадоксальности В. В. Шульгина в области монархизма и антисемитизма, я задаюсь еще одним вопросом: повлияли ли на него семейные парадоксы в сфере личной жизни, особенно связанные с родным отцом? Думаю, что повлияли.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

После смерти В. Я. Шульгина (1878) семейную газету «Киевлянин» возвглавил Д. И. Пихно.

Небольшое отступление. О том, что Пихно был его настоящим отцом, Шульгин написал только в пожилом возрасте: «Я ношу вовсе не ту фамилию, которую я должен был бы носить»[52]; эту семейную тайну он скрывал. Шульгин упоминает этот важный факт и в тюремных мемуарах, в которые вошла его своеобразная автобиографическая трилогия «Сахар», «Мед» и «Мука». Трилогия посвящена семейной помещичьей жизни, в которой хозяйственный Пихно играл основную роль, устраивая поместья Агатовка, Курганы (и ряд других) на Волыни и начав там строить сахарный завод. В «Муке», в частности, В.В. пишет, что в имении Агатовка «достраивался каменный домик, нарочито для меня, заботливой рукой моего отчима, поистине бывшего мне отцом родным»[53]; в другом месте: «Герой моей поэмы, *мой отчим-отец* (Выд. мной. – *О.М.*) Дмитрий Иванович, обладал зорким взглядом». Интересно, что он пишет о своем настоящем отце без всяких деталей, при том, что в тюремных записях, описывая свою личную жизнь и жизнь родственников, он слов не щадил и был велеречив.

Родившийся приблизительно за полгода до смерти Виталия Шульгина, В.В. явно предпочитал держать в тайне роль Пихно в своей биографии. Почему именно – мне не известно. Возможно, чтобы не раскрывать тайны двух «отцов», а может быть и потому, что предпочитал быть сыном Шульгина-старшего. Эта история долго

оставалась семейной тайной, о которой мне рассказала моя мать, но не для обнародования. Я всё же считаю нужным написать об этом, чтобы полнее раскрыть «парадоксы» Шульгиных.

Когда именно Василий Витальевич узнал правду о своем рождении, мне тоже неизвестно. Пихно, сын зажиточного деревенского мельника в Чигирине и неграмотной крестьянки, воспитал мальчика и «направил» его в политику, которую тот не любил. Дмитрий Иванович стал редактором «Киевлянина» после смерти Виталия Яковлевича. К профессиональной «траектории» Пихно применимо понятие «вертикальной социальной мобильности», для России конца девятнадцатого века не совсем обычной[54]. Он начал свою карьеру профессором экономики и статистики в Киевском университете[55] и защитил там же докторскую диссертацию о железнодорожных тарифах, затем стал членом Государственного совета, будучи назначенным на этот пост самим Николаем II. Пихно, в итоге, дослужился до тайного советника – третий чин в Табели о рангах. При этом он оставался официальным редактором «Киевлянина».

Немного о хитросплетениях, чтобы не сказать *парадоксах,* его «любовной» жизни, осложнивших шульгинское семейное существование. Сначала у Дмитрия Ивановича был роман с Марией Константиновной Шульгиной, молодой женой Виталия Яковлевича, на которой Пихно и женился вскоре после смерти Шульгина. А после ранней кончины Марии Константиновны[56] во Франции он завел роман с ее старшей дочерью Павлой (Линой) Витальевной, которая родила ему трех сыновей (добавлю, что в течение многих лет она играла важную роль в редактировании семейной газеты). Чтобы урегулировать их незаконные отношения, Лина Витальевна фиктивно вышла замуж за знакомого Пихно, отставного полковника А. П. Могилевского, сразу исчезнувшего из их жизни. Как и В.В., их младший сын, Иван Могилевский, которого я знала лично, не любил упоминать, что Дмитрий Иванович был его отцом, о чем мне говорила моя мать[57]. Я пишу об этом, потому что несоблюдение традиционных брачных устоев и независимость поступков характеризовали семейство Шульгиных; в первом браке В.В. женился на своей двоюродной сестре с материнской стороны Екатерине Градовской[58]. Из-за близкого родства они поженились в Одессе, потому что в Киеве это оказалось невозможным. Так же поступил и его младший сын Дмитрий, в первом браке женившись на моей матери Татьяне Билимович, дочери Аллы, сестры Лины Витальевны, и профессора экономики Александра Билимовича[59].

АНТИУКРАИНИЗМ

Перед тем, как обсуждать антиукраинские воззрения Шульгина, обратимся к истории его семьи с середины XIX века, когда она раскололась на русских и украинских националистов, что наверняка повлияло на В.В. Старший брат Виталия Яковлевича Шульгина Николай женился на дочери известного врача и поэта Евстафия Рудыковского, писавшего и на русском, и на украинском. Николай и его жена рано умерли, и мой прадед воспитывал их детей[60]. Но сын брата Яков, ученик основателя украинского социализма профессора истории Михайло Драгоманова, стал украинским националистом, тем самым разойдясь с дядей не только в убеждениях, но и в личных отношениях. Сам Яков был автором трудов по истории Украины. Деньги, унаследованные его родителями от Рудыковского, он передал украинским сепаратистам и народнической Старой Громаде, в которую вступил. В 1879 году его арестовали за проукраинскую деятельность и сослали в Сибирь; вернувшись, Яков Шульгин преподавал в Первой киевской гимназии; среди его учеников были будущие писатели Михаил Булгаков и Константин Паустовский. В воспоминаниях «Тени, которые проходят»[61] В.В. говорит, что его двоюродный брат, вернувшийся по ходатайству Виталия Яковлевича, «одумался, порвал с революционерами и стал преподавать русский язык в гимназии»[62]. В. Я. Шульгин, однако, умер в 1878 году и не мог участвовать в освобождении своего племянника; моя мама, у которой была очень хорошая память, рассказывала, что за Якова ходатайствовал Пихно.

Сын Якова Николаевича Олександр Шульгин (1889–1960) стал известным украинским политическим деятелем – не менее известным, чем Василий Витальевич в русской политической истории. Как и его двоюродный дед Виталий Яковлевич, Олександр Якович (Яковлевич по-русски) изучал всеобщую историю и готовился к профессорской карьере в Петербурге, но вместо этого стал политиком. Уже в эмиграции в течение нескольких лет он преподавал общую историю в пражском Украинском свободном университете.

Его политическая карьера была продолжительной, но не столь разнообразной, как у В. В. Шульгина. Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украины после Февральской революции; председателем Рады был Михайло Грушевский, назначивший Олександра Яковича первым главой ее внешнеполитического ведомства, а после Октябрьской революции Олександр Шульгин стал одним из основателей УНР (Украинская Народная Республика) и ее первым министром иностранных дел. Хотя хронологическая последовательность Рады и УНР более-менее ясна, их политические соот-

ношения весьма сложные, и я в них вникать не буду. Во время Первой мировой войны, уже после Октября, когда немцы оккупировали Киев, гетман Павел Скоропадский (ранее – офицер Российской императорской армии) был главой Украины с конца апреля по декабрь 1918 года; Олександр опять работал у гетмана в министерстве иностранных дел, а в 1920-м был назначен главой украинской делегации на первой ассамблее Лиги Наций.

Как и В.В., Олександр Якович эмигрировал – сначала в Прагу, а в 1927 году – в Париж. Он стал министром иностранных дел Правительства УНР в изгнании; отстаивая государственную независимость Украины в течение многих лет, а в конце 1930-х был назначен главой Правительства УНР в изгнании. Долгие годы он выступал оппонентом советской власти в Украине. О. Шульгин написал немало научных трудов по истории Украины, например, «Політика. Державне будівництво України і міжнародні справи» («Политика. Государственное строительство Украины и международные дела», 1918).

После революции 1917-го украинский вопрос стал особенно сложным. Само собой разумеется, те, кто этнически идентифицировал себя как украинцы, политически отличались от тех, кто считал себя русскими; некоторые (Василий Шульгин в их числе), чтобы отличаться от великороссов, называли себя малороссами – при том, что термин этот также применялся к избравшим украинскую идентичность. Не обсуждая сложную историю этих разногласий, я перейду к украинскому вопросу в семье русских Шульгиных, начиная с Виталия Яковлевича[63].

Вскоре после Второго польского восстания (1863) В. Я. Шульгин создал газету «Киевлянин» – с помощью правительственной субсидии, от которой потом, впрочем, отказался[64]. В те годы поляки, включая польских помещиков, живших на юго-западе, имели большое влияние в Киеве, так что газета была задумана и как антипольская. Ее первый номер (от 1 июля 1864 г.) провозгласил: «*Этот край русский, русский, русский*».

В первые десятилетия «Киевлянин» был умеренно либеральным изданием, но в дальнейшем стал бороться и с украинским сепаратизмом. Через какое-то время газета оказалась самой читаемой в юго-западном крае, а в девяностые годы – одной из самых крупных в России. После изменения ее курса вправо, в противовес «Киевлянину», при финансовой поддержке сахарозаводчика Льва Бродского была основана либеральная «Киевская мысль» (1906), ставшая самой большой и финансово обеспеченной газетой в дореволюционной Украине. Обе газеты печатали, в том числе, и литературные произведения. Например, известная повесть А. Куприна

«Олеся» была впервые издана в «Киевлянине» в 1898 году с подзаголовком «Из воспоминаний о Волыни»[65]. В девяностых в газете также печатался И. Бунин и другие.

Что касается Василия Шульгина, то «украинский вопрос» стал для него очень важным непосредственно во время и после революции 1917-го. В Первую мировую войну (5 апреля 1917 г.) он сообщает в передовице семейной газеты: «Нам тяжело будет, если Киев из матери городов русских станет рассадником украинского отщепенства» – при том, что это всё же «несравненно легче, чем если Киев займут немцы»[66]. Восемнадцатого июля того же года В.В. напишет: «Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за существование Руси, которые проливали кровь за русскую землю, решением Временного Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих людей об их желаниях»[67]. В 1918-м в статье «Украинский народ», напечатанной в Ростове-на-Дону, он рассуждает о соотношении Украины с понятиями *окраина* и *пограничность*; в ней же Шульгин утверждает, что «украинского народа» никогда не было и не будет, что сам термин был изобретен поляками[68]. А при гетмане Скоропадском, утвердившем украинское подданство всем жителям Украины, Шульгин демонстративно отказался от украинского гражданства, сопроводив свой ответ высказыванием, что украинской державы никогда не существовало.

Самая известная его работа об украинском вопросе под названием «Украинствующие и мы» была написана и издана много позже – в Югославии в 1939 году. Полемизируя в ней со своим родственником Олександром Шульгиным, с которым он, кстати, ни разу не виделся, В.В. описывает историю Киевской Руси начиная с князя Владимира, затем обращается к «украинствующим» и анализирует т.н. Разделы Польши. Называя события истории, им описываемые, «нелогичными», он задается главным для себя вопросом: «Зачем полякам понадобилось создание особого народа, окрещенного '*украинским*'?»[69] Окончательный вывод В. В. Шульгина в том, что «консолидирован» этот народ был большевиками (С. 233). «Абсолютно принципиальным» для «украинствующих» Шульгин считает стремление к единству, в чем усматривает их парадоксальную близость с русскими идеологами, также желавшими в первую очередь единства русского народа.

О РАЗНОМ

Хотелось бы оставить и живой портрет этого самобытного парадоксалиста. Из необычного: став депутатом Государственной Думы в

29 лет, Шульгин любил между заседаниями кататься на роликах по Марсову полю: «в будни... я забегал на полчаса на скетинг-ринг, чтобы размять бренное тело, совершенно изнывавшее от вечного сидения в ‘курульных’ креслах Думы»[70]. Еще больше он любил ездить на байдарках, иногда строил их сам и сохранил это увлечение в течение всей жизни, в том числе и в эмиграции. Иными словами, в нем жила и совсем другая личность, которая мне нравится и о которой хочется добавить несколько слов, особенно относящихся к его последним годам.

После выхода из тюрьмы к «обломку» Русской Империи и последнему живому члену Государственной Думы началось своего рода «паломничество» советской, независимо мыслящей интеллигенции. Среди «паломников» были виолончелист Мстислав Ростропович, писатель Александр Солженицын, устный историк Виктор Дувакин, который и записал Шульгина, и многие другие. Приезжали и неизвестные молодые люди – такие, как Евгений Соколов, ставший крестником В.В. (позднее Женя эмигрировал в Канаду, работал на Радио Канады и живет в Монреале по сей день).

О музыке. В некрологе о Шульгине в «Вестнике русского христианского движения» (1976) иеродиакон Варсонофий (Хайбулин) пишет о том, «как радовался Василий Витальевич, когда выпадала возможность помузицировать с приезжим другом! Старенькая скрипка служила ему до последних дней: он играл, сидя на кухне, долгие ночные часы...»[71] Ему было в то время за восемьдесят. В.В. с юности любил играть на скрипке, а когда к нему во Владимир приезжали гости, всё тот же Шульгин иногда даже пел им романсы под гитару[72]. В воспоминаниях он пишет, как в молодости однажды спел цыганкам тогда новый романс «Однозвучно гремит колокольчик»[73].

О кино. Шульгин выступил в фильме «Перед судом истории» (1965), последней работе Фридриха Эрмлера, известного по ленте «Обломок империи» (1929), которым В.В. фактически и являлся, – но не красным, а белым. Фильм курировало КГБ, а сценарий, основанный на шульгинских «Днях», написал В. Владимиров (Вайншток), периодически сотрудничавший с «органами» (о чем Шульгин, разумеется, не знал). В любом случае, работа с непреклонным «обломком» была непростой. По замыслу авторов Шульгин должен был покаяться в своих ошибках, но вместо этого он произнес нечто другое: «Разве долголетие дается только для того, чтобы старик повторял слова молодого? Ведь это была бы ужасная перспектива. Дожить почти до ста лет и ничему не научиться?.. Разве я могу сейчас, имея

бороду, говорить, как тот Шульгин с усиками?..» Ему тогда было 85 лет.

Фильм состоит из его диалога и спора с советским «историком» (актер Сергей Свистунов), в котором В.В. побеждает – в основном, защищая свои политические установки. Поэтому «Перед судом истории» воспринимался как работа парадоксальная. В результате фильм через несколько дней сняли с проката.

Правда, Шульгин делает два «реверанса» перед советской властью: независимо от своего отношения к фигуре Ленина, он произносит: «Ленин стал святыней для многих, и потому его прах хранится в мавзолее», а в конце фильма говорит старому большевику: «То, что вы, коммунисты, делаете сейчас для России, не только полезно, но и необходимо»[74]. Замечу, что похожие слова Шульгин ранее произнес Хрущеву! За эти высказывания часть белой эмиграции его назвала предателем; после слов о Ленине моя мать вышла из комнаты и фильма, который я привезла из России[75], не досмотрела.

О стихах. В тюремных мемуарах Шульгин писал и о своей юности, в том числе в стихах. Часто использовавший иронию, в стишке о себе, написанном во Владимирском централе, В.В. произносит:

Он пустоцветом был. Всё дело в том,
Что в детстве он прочел Жюль Верна, Вальтер Скотта,
И к милой старине великая охота
С миражем будущим сплелась неловко в нем.

Шульгин очень любил в ранней юности Жюль Верна и Вальтера Скотта. Арестованный большевиками в Киеве во время Гражданской войны (1918), он просил свою сестру Аллу принести ему в тюрьму романы Жюль Верна. Освобожден он, видимо, был с помощью известного большевика Георгия Пятакова, семья которого дружила с Шульгиными[76].

В «Три столицы» Василий Витальевич также включил ироническое стихотворение о себе, отсылающее к «Нет, я не Байрон, я другой...» Лермонтова:

Нет, я не Бальмонт, я – другой,
Еще неведомый избранник.
«Украйною» гонимый странник
С «малороссийскою» душой…[77]

Шульгин был знаком с Бальмонтом (его младший сын Дима чуть

не женился на дочери поэта Мирре), а также с поэтом Игорем Северяниным, с которым он, например, провел лето в Дубровнике (Югославия) в 1931 году. Еще в двадцатые годы в стихотворном послании ему Василий Витальевич описывает свою «другость»:

Жилец иной эпохи,
Иду своей межой.
Мне нынешние плохи,
И я им всем чужой.

В ответ Северянин послал ему стихотворение под названием «Шульгин» (1934), описывающее парадоксальные или противоречивые стороны личности адресата:

В нем нечто фантастическое: в нем
Художник, патриот, герой и лирик,
Царизму гимн и воле панегирик,
И, осторожный, шутит он с огнем…

Он у руля – спокойно мы уснем.
Он на весах России та из гирек,
В которой благородство. В книгах вырек
Непререкаемое новым днем.

Его призванье – трудная охота.
От Дон Жуана и от Дон Кихота[78]
В нем что-то есть. Неправедно гоним

Он соотечественниками теми,
Кто, не сумевши разобраться в теме,
Зрит ненависть к народностям иным.

Кишинев. 18 февраля 1934 г.

Слова «нечто фантастическое» отсылают к одноименному тексту Шульгина о спасении России после Ленина и Троцкого, изданному в 1922 году. Некоторые считают, что рассказ, возможно, читал Ленин, а в «Трех столицах» В.В. описывает его как сильного, но жестокого вождя. Видимо, сам он впервые читал Ленина во Владимирском централе.

Примечательно и то, что в последней строфе сонета Северянин возвращается к шульгинскому антисемитизму и антиукраинизму.

И напоследок – *о мистическом уклоне Шульгина*. Веря в вещие сны, которые ему снились всю жизнь, он их записывал даже в тюрьме, а иногда делился ими со своим сокамерником философом-мистиком Даниилом Андреевым, сыном Леонида Андреева. Так, в ночь на 5 марта 1953 года ему приснилась смерть замечательного коня; узнав о смерти Сталина в тот день, он понял, что это был вещий сон. В подобных снах Василий Витальевич иногда видел зашифрованные сообщения. В последнем письме от 3 октября 1970 года, которое мама получила от дяди, он пишет, что поездка к Диме в Америку «пошла назад», но что

...усовершенствовались сны. Ночью я живу в другом мире, или лучше сказать – в мирах весьма интересных. А наяву при помощи испорченного зрения я вижу иногда великолепные цветники, заполняющие мою комнату. И не только цветники, а множество всяких видений, в том числе людей. Этому явлению окулисты дают вполне реалистическое объяснение. Существует будто два вида зрения. Глаз способен видеть все предметы, находящиеся вне его. Но он же способен смотреть внутрь себя, и тогда он видит все те зрительные образы, которые проникали в глаз в прошлое время. <...> Вы не только не бойтесь этих как будто бы галлюцинаций, а развлекайтесь ими. Если они кончатся, вы заскучаете.

То же самое ему сказали психиатры!

В связи со своими видениями В.В. упоминает гоголевского Поприщина («Записки сумасшедшего») в виде безумца, говорящего то, что думает, – Шульгин к нему часто обращался еще в тюрьме как к своему литературному двойнику. Вещие сны, как и образ Поприщина, являются примерами парадоксальности Шульгина и в отношении его политической жизни, которая, в основном, превратилась в мемуарные тексты после Гражданской войны. Он ее продолжал описывать в тюрьме и после амнистии, включая фильм «Перед судом истории».

КОДА

В заключение обратимся к тем тюремным записям, в которых В.В. пишет о половой жизни, стараясь разобраться в своих психических переживаниях. Например, называя себя вырожденцем, он говорит: «Природа, обрекая меня на бесплодие, могла иметь две цели. Одна – прекратить род, которому суждено было вырождение. Эта гипотеза опровергнута тем, что мои мальчики совершенно не были похожи на вырожденцев, ни в каком отношении». Размышляя о цело-

мудрии, которое природа ему предназначила, Шульгин цитирует «Жил на свете рыцарь бедный» Пушкина. Но «целомудрию помешало хирургическое вмешательство, сделавшее возможным рождение сыновей». В связи со своими половыми недугами Шульгин упоминает, что родился в праздник Обрезания Господня, но что он имел в виду – неясно; поскольку его половой дефект был замечен только во взрослом возрасте, «телесный шрам никогда не зажил. Фрейд понял бы меня», – говорит В.В. Дата признания – 15 апреля 1952 года. Он несколько раз ссылается на Фрейда в этих очерках. И там же утверждает: «Я был неполноценен на фронте любви»; размышляя о преимуществах целомудрия, В.В. сообщает, что его целью являлась «сублимация (по Фрейду)», превознося платоническую любовь.

В другом месте он пишет: «Нашу праматерь Еву не безобразила кощунственная беременность». В грядущем Царстве Божием на земле «дитя будет рождаться иначе, чем сейчас; от страстного поцелуя; и будет появляться в уголках прекрасных губ; величиной будет оно драгоценной жемчужиной, что мать ребенка носит в ушах. <...> А не идиоты ли те, что покорно мирятся с положением, когда органы, служащие извержению самого низкого, одновременно предназначены для самого высокого? Ибо что есть в мире высшего, чем творение новой жизни?»[79] Можно заключить, что Шульгин покушается на само деторождение, т. е. на законы природы.

Крайне интересно и то, что в тюремных записях он много пишет о различных философских вопросах эпохи *fin de siècle*, к которому он принадлежал[80].

Пусть я всё это и упоминаю, но моя нынешняя статья не об этом, а о феномене «парадоксальной личности» В. В. Шульгина, выраженной, главным образом, в его политических установках, а также о семье, эмоциях и личных убеждениях В.В. Я пишу о них с целью создать личный и *различный* образ Шульгина, чтобы частично объяснить его склонность к парадоксальности в области монархизма и антисемитизма. Если читателю показалось, что я его превозношу, – пусть будет так, хотя я пишу и об отрицательных качествах Шульгина, об антиукраинизме и, в особенности, об антисемитизме. Но его антисемитизм был не расовым («зоологическим», как он его называл), а общественно-политическим.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Фонд 1337, Коллекция воспоминаний и дневников. Теперь они находятся в РГАЛИ. Все мои цитаты тюремных мемуаров Шульгина находятся в этом фонде.

2. *Шульгин, В*. Годы / Годы. Дни. 1920. // Москва: «Новости». 1990. – С. 46. «Годы» были впервые опубликованы в 1979 году, после смерги В.В. Шульгина. В тюрьме он их диктовал сокамернику И. А. Корнееву, музыковеду, но опубликованная книга была сильно изменена брежневской цензурой. О нелюбви к политике В.В. написал своему сыну Диме после выхода из тюрьмы: «В древней Греции существовал разряд людей, которые не хотели заниматься политикой, ну просто душа у них не лежала к этому занятию. Их называли... идиотами! Но в те времена это слово вовсе не было бранным. Наоборот, идиотов считали людьми, склонными к философии. <...> Так вот, я хотел быть идиотом». (Письмо от 3 октября 1968 г.).

3. Его первый исторический роман назывался «В стране свобод. Приключения князя Воронецкого» (1913).

4. Валентин Ерашов назвал свою книгу «Парадоксы В. В. Шульгина» (2004), хотя в ней использование слова «парадокс» и словообразований от него всего лишь три – и они не относятся к парадоксам в интерпретации, которую даю я. К тому же, в отличие от большинства авторов, изучащих Шульгина, Ерашову его герой явно не нравится (он называет Шульгина, например, «махровым русофилом, который ненавидел и презирал свой народ»). В книге множество фактических ошибок и сама она малоинтересна. Я ее упоминаю только потому, что в ней фигурирует слово «парадокс» в названии.

5. *Шульгин, Василий*. Последний очевидец / Изд. Н. Н. Лисовой // Москва: «Олма-Пресс». 2002. – С. 14. В. В. дружил с историком Н. Н. Лисовым.

6. Там же. – С. 567.

7. Об этом он пишет в «Годах». См.: *Шульгин, В*. Годы. – Сс. 276-8.

8. Несмотря на свое движение влево, он оставался консерватором – например, противником отмены смертной казни.

9. Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. Т. IV / Москва. 1995. – С. 49. Как пишет Александр Репников, за несколько недель до своей речи в Думе Шульгин написал в органе прогрессивных националистов «Вечерняя газета»: «Во имя великой цели войны пустим в ход все имеющиеся в нашем распоряжении парламентские средства, чтобы добиться полного обновления власти, без чего немыслимо достижение победы, невозможны насущные реформы». (*Репников, Александр В*. Долгая жизнь Василия Шульгина / Przegląd Wschodnioeuropejski, 4, 2013. – С. 146.

10. *Шульгин, В*. Годы. – С. 64.

11. *Шульгин, В.* Дни / Дни. 1920: Записки / Сост. Д. А. Жуков // М: Современник. 1989. – С. 112.

12. Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. / Составитель О. В. Будницкий // Москва: РОССПЭН. 2012.

13. Там же. Письмо от 10 декабря 1924 г. – С. 211.

14. *Шульгин, В*. Годы. – С. 72.

15. См. о «кровавом навете» – приношение в жертву христианского ребенка

для использования его крови в религиозном обряде – URL: http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Navet.htm

16. Его диссертация называлась «О состоянии женщин в России до Петра Великого». В шестидесятые годы он издал знаменитый учебник по всеобщей истории, по которому учились еще в Советском Союзе.

17**.** Еврейские беспорядки в Юго-Западном крае, отчасти связанные с усилением погромов, увеличились в начале 20 века, повлияв, среди прочего, и на революцию 1905 года. Стихийно возникшие в конце 19 века еврейские отряды самообороны против погромов к нач. 20 века выросли в весьма внушительную и хорошо вооруженную силу сопротивления. Некоторые считают, что самой многочисленной революционной партией еврейских рабочих, особенно на Юго-Западе в период до и после 1905 года, был Бунд, имевший прямое отношение к РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии), т.е. СДП. В революционной деятельности евреев на Юге России были и другие партии и группировки, но я остановлюсь на Бунде в районах черты оседлости. Что касается погромов в 1905-м, самые известные произошли в Киеве и Одессе после провозглашения Царского Манифеста 17 октября.

18. Любопытное совпадение: в 1899 году кинорежиссер Жорж Мельес (Maries-Georges-Jean Méliès), один из основоположников мирового немого кинематографа, сделал первый фильм о Деле Дрейфуса, состоявший из коротких сцен в документальном стиле и защищавший Дрейфуса.

19. *Кауфман, А. Е.* Друзья и враги евреев. Д. И. Пихно / СПб.: Правда. 1907. – С. 31.

20. Там же. – Сс. 11-12.

21. Д. И. Пихно похоронили в его имении Агатовка. Как пишет Николай Коншин, сосед и личный секретарь Шульгина, в 96 (!) лет В.В. получил разрешение поехать в Агатовку, чтобы отреставрировать могилу Пихно. В. В. это удалось, утверждает Коншин (http://russia-today.ru/old/archive/2008/no_03/03_end.htm).

22. *Шульгин, В.* Киевлянин. 1913. 27 сентября. № 266. – С. 1. См. статью: *Шульгин, В. В.* Тени, которые проходят / Составитель и автор предисловия Р. Г. Красюков // СПб.: Нестор-история, 2012. – С. 535.

23. Возможно и поэтому В. В. ушел на войну.

24. Шульгин писал: «Греческая поговорка гласила: ‘И сами боги не могут [смогут] сделать бывшее не бывшим’. Но то, что не удавалось греческим богам, было доступно русским царям». (Разные эпохи Василия Витальевича Шульгин**а** / «Вокруг света». № 3. 2022). Он вообще часто отсылал к греческой истории и мифологии.

25. Central Conference of American Rabbis. Yearbook. Vol. 24. 1914 / Detroit: Jewish Public Society of America. – P. 114. В другой публикации (тоже 1914 года) говорится, что передовая статья Шульгина «произвела сенсацию во всем мире»; приводятся и выдержки из нее (American Jewish Year Book.

Philadelphia, 1914–1915. – P. 34). Сам Шульгин пишет в «Годах», что во Львове (1914) к нему пришел красивый старый еврей и рассказал, что главный иудейский раввин «назначил день и час», приказав евреям «по всему свету <...>, что веруют в бога, [чтобы] в этот день и час они молились за вас!» Это тронуло В. В. «Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне узнали и устремили на меня свою духовную силу» (Годы, – Сс. 157-158).

26. Когда в семидесятые годы эмигрантское «Новое русское слово» назвало «Киевлянин» «погромным листком», моя мать (Татьяна Павлова) написала письмо в газету, которое напечатали в № 25528 («О газете ‘Киевлянин’ и ее редакторах», 6 июня 1981 г.).

27. Отец Гольденберга был управляющим у богатого сахарозаводчика Льва Бродского, который, как и его брат Лазарь, был известным киевским меценатом.

28. *Шульгин, В.* Тени. – С. 27.

29. Часть из них была опубликована Красюковым в № 5 и № 7 «Лиц. Биографический альманах» (Петербург) в 1994 и 1996 гг. Среди них были «Пятна» (1996), воспоминания Шульгина о допросах на Лубянке и во Владимирском централе. Подружившись с издателем, они друг к другу ездили в гости, а поскольку Шульгин стал слепнуть, свои мемуары он диктовал Красюкову. Новые друзья, любившие и ценившие Василия Витальевича как последнего свидетеля дореволюционной русской истории, дорожили этой возможностью записывать его воспоминания.

30. Известный еврейский политический деятель Т. Герцль стал таковым после Дела Дрейфуса. Среди прочего, он был основателем политического сионизма. Его книга «Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса» (1896) была тогда же переведена на русский язык.

31. *Будницкий, Олег*. Евреи и революция 1905 года в России: Встреча с народом / «Неприкосновенный запас». № 6, 2005. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/6/evrei-i- revolyucziya-1905-goda-v-rossii-vstrecha-s-narodom.html

32. *Будницкий, Олег*. В чужом пиру похмелье. (Евреи и русская революция) / Москва: «Вестник еврейского университета». № 3 (13). – С. 33. URL: https://jhist.org/lessons_09/revol.htm

33. Он был дядей Марины Юрьевны Григорович-Барской**,** моей «surrogate mom», которую я так стала называть после смерти моей матери.

34. *Будницкий, Олег***.** В чужом пиру похмелье. – С. 29.

35. Столыпин завещал себя захоронить там, где будет убит. Его похоронили в Киево-Печерской лавре.

36. *Шульгин, В*. Что нам в них не нравится? / Москва: Изд. Хорс. 1992. – С. 203.

37. *Будницкий, Олег.* Как прожить четыре жизни. Судьба Василия Шульгина: к 130-летию со дня рождения. Интервью с Иваном Толстым. URL: https://www.svoboda.org/a/468411.html

38. Там же.

39. «Киевлянин». 10 октября, 1919 года.
40. *Шульгин, В*. Что нам в них не нравится? – С. 82.
41. *Шульгин, В*. 1920 / Годы. Дни. 1920. – С. 806.
42. О них я пишу в «Записках русской американки» / Москва: «Новое литературное обозрение», 2017. Одним из их лейтмотивов является «воля случая», к которой, как мне кажется, В.В. был открыт – отчасти потому, что она содействует непостоянству или изменчивости.
43. *Лисовой, Н. Н.* Вступление. Последний очевидец. – С. 10.
44. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключенного / Составители и комментаторы В. Г. Макаров, А. В. Репников, В. С. Христофоров. // Москва: «Русский путь», 2010. – С. 125. Сн. 394. Историк Александр Репников издал целый ряд его работ, в которых вводит осторожно проверенные сведения о Шульгине.
45. *Шульгин, В. В*. Три столицы / 1920 год. Очерки / Сост. и коммент. А. В. Репников / Москва: «Посев». 2016. – С. 374. Последующие страницы указаны в тексте.
46. Его имя в «Трех столицах» Эдуард Эмильевич Шмитт.
47. Шульгин, скорее всего, не знал, что Рамачарака – псевдоним американца Willian Walker Atkinson. Кстати, В.В. был вегетарианцем.
48. Дипломатические отношения с СССР были установлены в 1933 году.
49. Переписка Б. А. Бахметева – В. А. Маклакова. В 3-х тт. / Ред. О. Будницкий/ Москва: Stanford: ROSSPEN. Hoover International Press. 2002. – С. 297.
50. Шульгин даже согласился послать рукопись книги в «Трест» на проверку – т.е. в ГПУ, о чем он, конечно, не знал.
51. Редактор «1919 года» А. А. Чемакин во вступлении к мемуарной книге указывает, где можно найти эти слова Шульгина: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5974. Оп. 1. Д. 1. Л. 11 / *Чемакин, А. А*., История одной книги, или долгий путь «1919 года» к читателю. Предисловие // *Шульгин, Василий.* 1919 год. Т. 1. / Москва: «Кучково поле». 2018. – С. 7. Сн. IV.
52. Тетрадь №. 24, начало марта 1952 г. / РГАЛИ, ф. 1337, оп. 4, д. 56, l. 119 об. Эту информацию мне предоставил историк Fabian Bauman, тогда дописывавший свою докторскую диссертацию в Базеле, отчасти посвященную семье Шульгиных.
53. Один из первых трудов о теории вертикальной социальной мобильности, написанный в Америке, принадлежит перу русского эмигранта, известного социолога Питирима Сорокина («Social and Cultural Mobility», 1956). О дореволюционной России см. работы Б. Н. Миронова, современного специалиста по исторической социологии.
54. Из повлиявших на Д.И. Пихно киевских профессоров стоит назвать его учителя, умеренно либерального экономиста Николая Бунге, ставшего министром финансов и крестным отцом В.В.

55. Она похоронена на киевском Байковом кладбище рядом с ее первым мужем Виталием Шульгиным.
56. Я могла это вычислить из семейной генеалогии, которую он мне написал без упоминания того, что Пихно был его отцом. Всё остальное упомянуто, включая украинских Шульгиных.
57. Екатерина Григорьевна была дочерью известного публициста Григория Градовского. Она была актрисой; затем в «Киевлянине» писала статьи под псевдонимом Алеша Ежов, став особенно популярной среди девушек.
58. После выхода дяди из тюрьмы моя мать сначала писала ему от имени *Miss Olga* (своего рода камуфляж 1957 г.), он отвечал, в основном, благодаря за посылки. В начале шестидесятых В.В. задумал поездку к сыну (Диме) в Америку, которая, разумеется, не состоялась, – «нецелесообразно», как ответили Шульгину власти. После официального приглашения от Димы семейные письма к В.В. перестали приходить, как и его – к моей матери. Письма Шульгина находятся у меня в личном архиве.
59. Бурцев был знаменитым революционером-провокатором. Именно он разоблачил Азефа. См. также предисловие друга семьи Глеба Струве к работам Шульгина, посланным П. Б. Струве, которые разоблачают «Трест». – Новое о «Тресте» / «Новый Журнал», № 125, 1976.
60. Младшая дочь Вера вышла замуж за «украинствовавшего» Владимира Науменко, преподававшего во Второй киевской гимназии, в которой учился В. Шульгин. Владимир Науменко также был последним редактором «Киевской старины» – журнала, в основном посвященного украинской культуре.
61. В них, среди прочих, не раз упоминаются такие разные представители эпохи, как Столыпин, Милюков и Керенский.
62. *Шульгин, В*. Тени. – С. 37.
63. Ранее Виталий Яковлевич, скорее, сочувствовал старшему поколению украинофилов, например Владимиру Антоновичу и Михайло Драгоманову.
64. Когда газета встала на ноги, В.Я. отказался от субсидии, чтобы «Киевлянин» не зависел от государства и мог свободно его критиковать.
65. При Д. И. Пихно Лина Витальевна Могилевская заведовала литературной частью газеты – это она напечатала «Олесю» Куприна.
66. *Шульгин, В*. Передовая статья 6 апреля 1917 г. в «Россия, Украина, Европа» / Сост. А. В. Репников // Москва: «Посев». 2015. – Сс. 125-26.
67. «Киевлянин», июль 1917 года.
68. *Шульгин, В. В*. Украинский народ / Там же. – Сс. 183-84.
69. *Шульгин, В. В.* Украинствующие и мы! / Там же. – С. 228.
70. *Шульгин, В.* Последний очевидец. – С. 324.
71. Иеромонах Варсонофий. «Ныне отпущаеши» (Памяти В. В. Шульгина) / ВРСХД. № 117. 1976. – С. 293.
72. Во Владимир к В.В. приехала его вторая жена Мария Дмитриевна (ур.

Седельникова), «первопоходница», которая, хотя и много моложе мужа, умерла за несколько лет до него.

73. *Шульгин, В.* Тени. – Сс. 102-3. Со своим братом Филей Пихно он одно время ездил в цыганский табор под Киевом.

74. Встреча Шульгина со старым большевиком В. Н. Петровым в конце фильма представлена на фоне XXII съезда КПСС (1961), на который его пригласил Хрущев, – видимо, чтобы использовать Шульгина в целях пропаганды. В том же году и в тех же целях были опубликованы его «Письма к русским эмигрантам», в которых он описал свою «экскурсию» по СССР, организованную властями, чьи достижения он приветствует, особенно политику мирного сосуществования, провозглашенную Хрущевым. Специально организованный ему показ советских достижений для «Писем» В.В., однако, отверг через некоторое время словами «меня обманули»! Из важного для него: он побывал в Виннице и узнал, что его сын Ляля там находился в психиатрической больнице в 1925 году, где, видимо, и умер, о чем В.В. написал Диме в письме 21 марта 1968 года.

75. Копию фильма мне подарил Андрей Смирнов, режиссер фильма «Белорусский вокзал» (1970).

76. До революции член Государственного совета Д. И. Пихно ходатайствовал об освобождении из тюрьмы Пятакова, отец которого, Леонид Пятаков, был успешным сахарозаводчиком; его дети имели различные политические взгляды – от монархистов до большевиков.

77. *Шульгин, В.* Три столицы. – С. 389.

78. Дон Кихот фигурирует в «1920 годе» Шульгина, а многолюбом Дон Жуаном он был в течение всей своей жизни.

79. Высказывание Шульгина можно сравнить со словами символиста Зинаиды Гиппиус, которая писала в статье «Влюбленность» (1904), что поцелуй является альтернативой половому акту. Именно поцелуй, в ее понимании, предвещал столь желанное физическое преобразование тела: «Поцелуй – это первое звено в цепи явлений телесной близости, рожденное влюбленностью; первый шаг ее жизненного пути, ведущий к преображению». (*Гиппиус, Зинаида*. Влюбленность. Дневники. Т. 2 / Ред. А. Н. Николюкин // Москва: НПК «Интеллвак». 1999. – Сс. 262-3). К тому же Гиппиус отмечала в Шульгине литературный талант.

80. Обо всем этом я пишу в «Записках русской американки». Например, сс. 50-52.

The University of California, Berkeley

А. Г. Ранская

Сибирские предки А. А. Блока. Панаевы и Черкасовы*

Александр Блок вошел в русскую литературу под именем, унаследованным от отца, с которым был разлучен с момента рождения, и стал центром конфликта своего отца с семьей матери – Бекетовыми. Настоящая работа посвящена родословной отца А. А. Блока, что позволяет изменить взгляд на генеалогические корни великого поэта.

Так сложилось, что исследователи жизни Александра Блока (1880–1921) проявляли интерес, главным образом, к родословной поэта по материнской линии – как со стороны ее отца, Андрея Бекетова, так и со стороны матери – Елизаветы Карелиной. Родословную Александра Блока по отцовской линии обычно ограничивают краткой историей немецкого рода Блоков, а родословная линии Черкасовых, к которой принадлежит мать отца – бабушка поэта Ариадна Александровна – представлена в литературе только весьма нелестной характеристикой ее отца, прадеда поэта Александра Львовича Черкасова.

Образ отца поэта демонизирован сестрой матери А. А. Блока – М. А. Бекетовой – в ее опубликованных воспоминаниях и позднее брался за основу каждым новым исследователем. Прослеживается открытая неприязнь М. А. Бекетовой к роду Черкасовых и лично к Ариадне Александровне. Чем это обусловлено – вопрос, выходящий за рамки настоящего исследования.

Существование «родственных антипатий» между семьями Бекетовых и Блоков, отмечает, в частности, литературный критик Станислав Лесневский в предисловии к изданным в 1990 году «Воспоминаниям об Александре Блоке»: «<...> Георгий Петрович Блок (1888–1962), двоюродный брат поэта, талантливый литературовед, интересный писатель, который, однако, в силу каких-то родственных

---

* Статья сделана на основе доклада на юбилейной международной научной конференции «Блоковские Чтения. 2020», посвященной 140-летию со дня рождения Александра Блока и 40-летию Музея-квартиры А. А. Блока, 26-28 ноября 2020 года. Автор благодарит М. Н. Толстого, В. И. Давыдова, Б. К. Малаховскую и В. Л. Кустову за помощь в работе над статьей.

антипатий, сегодня нам не вполне ясных, относился к семье Бекетовых подчас с заметным недоброжелательством или не совсем объективно»[1]. На мысль о наличии «родственных антипатий», наводит также статья Т. Н. Жуковской[2]. Ряд документов из семейного архива Менделеевых, «в результате целого ряда случайных и неслучайных обстоятельств», оказался в семье Якушкиных. Произошло это в Ленинграде, в первую блокадную зиму, вскоре после смерти хранительницы архива Менделеевых – Анны Ивановны Менделеевой (второй жены Д. И. Менделеева и матери жены поэта – Л. Д. Менделеевой-Блок). 7 августа 1988 года, на традиционно проходящем в Шахматове Дне памяти Александра Блока, Е. Д. Якушкин передал автографы из своего домашнего собрания Советскому Фонду культуры для подмосковного Музея-заповедника Д. И. Менделева и А. А. Блока. Среди документов – «...еще одна реликвия домашнего собрания Якушкиных – подлинник письма двоюродного брата поэта по отцовской линии, писателя Георгия Петровича Блока (1888–1972) от 9 марта 1922 года М. А. Бекетовой, готовившей к изданию свою первую книгу о племяннике ‘Александр Блок’ (Пг., Алконост, 1922)».

Письмо было обнаружено в бумагах уже покойной Анны Ивановны Менделеевой, вероятно, перешедших ей после смерти «обитательниц квартиры на Пряжке в 38-39 годах» (имеются в виду жена А. Блока – Любовь Менделеева, и сестра матери – Мария Бекетова).

Многоуважаемая Мария Андреевна! <….>

Наш разговор заставил меня пристальнее заняться Черкасовыми и вот что за эти дни мне удалось узнать из разбросанных печатных источников.

Прежде всего я, кажется, ошибочно назвал моего прадеда Александром Ивановичем – он был так же: Александр Львович.

Он был из дворян Казанской губ[ернии]. Родился 16 августа 1796 г., умер в сентябре 1856 г[ода]. По-видимому, в молодости служил в гвардии, в артиллерии. Служить начал, должно быть, в 1819 году. Псковским гражданским губернатором был с 26 февраля 1845 г. по день смерти.

Были у него братья Иван и Николай, оба гвардейские уланы. В «Русском Архиве» за 1878 г. (кн. III, стр. 519) есть очень «уютные» мемуары, сообщенные И. С. Листовским и озаглавленные «Рассказы из недавней старины». В них нашлось вот что: «В Пскове губернатором был Александр Львович Черкасов. Государь, зная его как честнейшего труженика, не имеющего никакого состояния и обременен-

ного семейством, при замужестве каждой дочери жаловал на приданое» <...>. О Черкасовых еще буду искать. Надеюсь, что ко времени, когда Вы будете работать над подробными «Материалами», мне удастся достать портреты двух прадедов: Александра Ивановича Блока и А. Л. Черкасова.

.

Г. П. Блок заканчивает свое письмо на позитивной ноте: «Вечер, проведенный у Вас, был чудесный. Тема этого вечера – и старина и самое последнее – мне безгранично дорога. Очень хотелось бы еще к Вам придти. Искренне Вас уважающий и всегда готовый к услугам, Г. Блок».

В своей статье Т. Н. Жуковская отмечает: «О деде отца поэта по материнской линии А. Л. Черкасове, о котором говорит Г. П. Блок, М. А. Бекетова писала в книге ‘Александр Блок’ (1922): ‘Прадед поэта, Александр Львович Черкасов, судя по скудным сведениям, дошедшим до нашего времени, слыл человеком из ряда вон деспотичным и жестоким <...> Александр Львович служил в Сибири <…>. Все его четыре дочери получили домашнее образование»[3].

В ответ на документы, приведенные Г. П. Блоком о «честнейшем труженике» Александре Львовиче Черкасове, М. А. Бекетова оставляет в своей книге утверждение, что тот «слыл человеком из ряда вон деспотичным и жестоким», со ссылкой лишь на «скудные сведения», не упомянув об известном ей письме Г. П. Блока.

Во второй книге «Александр Блок и его мать», вышедшей вскоре после смерти матери Блока, (книга закончена 14 июня 1923 г.) М.А. Бекетова продолжила «дистанцироваться» от Черкасовых: «...Очевидно, Ал. Льв. был непригоден к семейной жизни по какой-то атавистической, ненормальной жестокости, вероятно, унаследованной им от предков со стороны его матери, урожденной Черкасовой. Не могу заподозрить в столь грубых проявлениях некультурности немецкое семейство выходцев из Германии Блоков, давших России ряд докторов и чиновников. Думаю, что корень зла кроется в недрах крепостной России, откуда Ал. Льв. воспринял черты жестокости и самобытности»[4].

Знала ли М. А. Бекетова родословную Черкасовых? Весьма вероятно. И не только из письма Г. П. Блока. Точки соприкосновения между представителями рода Бекетовых и Черкасовых существовали давно. М. А. Бекетова пишет: «Дед мой, Николай Алексеевич Бекетов, <…> женился и поселился в деревне. Жена его (урожденная Якушкина, племянница декабриста)»[5]. Декабрист Якушкин находился в ссылке в Сибири, в Ялуторовске, где тесно общался с Гаврилой Львовичем Черкасовым (родным братом прадеда А. А. Блока), служившим тогда

в г. Туринске исправником. В письмах к своему другу И. И. Пущину, тоже декабристу, Якушкин советует познакомиться поближе с Черкасовыми[6]. В семье Г. Л. Черкасова в те годы жили девицы на выданье – племянницы, дочери другого его брата, Николая Львовича, двоюродного прадеда А. А. Блока. Одна из них – Елена Николаевна Черкасова – значительно позже стала женой поэта П. П. Ершова.

Хорошо известно, что семья П. П. Ершова была очень дружна с семьей Д. И. Менделеева, а падчерица П. П. Ершова – Феозва Никитична Лещева, дочь его первой жены, – стала первой супругой Дмитрия Ивановича. Менделеев помогал своему тестю П. П. Ершову с публикацией долгое время находившейся под запретом сказки «Конек-Горбунок», с получением вечно задерживаемого гонорара и даже выхлопотал пенсию для него, оформление которой чрезмерно затянулось. В свою очередь, семьи Бекетовых и Менделеевых связывала долголетняя дружба. Александр Блок в «Автобиографии» пишет: «Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения – по соседству; менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматово, я был там в детстве, в юности стал бывать там часто»[7]. Боблово было приобретено Менделеевым для его первой семьи, и, вне всяких сомнений, общение между первой семьей Менделеева и Бекетовыми было тесным. Таким образом, уже за два поколения до М. А. Бекетовой семьи Якушкиных, Черкасовых, Менделеевых и Бекетовых были переплетены узами браков и дружбы.

В те годы в дворянских семьях браки не могли состояться без тщательного взаимного изучения родословных жениха и невесты. Вероятно, родословными интересовался и отец поэта. В письме, отправленном из Варшавы в июле 1903 года, уже информированный сыном о скорой свадьбе с дочерью Д. И. Менделеева, он интересуется, с дочерью от какого брака Менделеева готовится вступить в родство сын: «...напиши при случае фамилию (девическую) ее [невесты] матушки»[8]. Вряд ли это было праздным любопытством, в те времена то был важный вопрос.

Однако всё же нельзя доказательно утверждать о знании Бекетовыми подробностей родословного древа Черкасовых, оставим это как предположение. Тем не менее, нежелание М. А. Бекетовой внести в биографию поэта хотя бы часть истории рода Черкасовых, переданную ей Г. П. Блоком по ее же просьбе, выглядит довольно странно.

Не исключено, что Г. П. Блок всё же восстановил родословную своего общего с А. А. Блоком прадеда А. Л. Черкасова, но она или не вписалась в «наследственную» «концепцию таланта» поэта, предло-

женную М. А. Бекетовой, или он опоздал со своей находкой к изданию ее второй книги (1925).

Любопытно, что много лет спустя, в 1938 году, Г. П. Блок был привлечен к участию в работе над изданием полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Работа над IX томом («История Пугачева») вовлекла его в изучение литературы и языка XVIII века. На основе этой работы он написал кандидатскую диссертацию и опубликовал статью «Пушкин и Шванвичи». А у Пушкина рядом с именем Шванвича упоминается имя Льва Черкасова. Установлено, что о нем – поручике карабинерного эскадрона Московского легиона Льве Ивановиче Черкасове (отце прадеда Блока) – пишет А. С. Пушкин в своей «Истории Пугачева». Случайное ли совпадение, или на эту тему вывело Георгия Петровича продолжение изучения рода Черкасовых, которым он обещал заняться М. А. Бекетовой, и узнал ли он в Льве Черкасове своего предка, мы не знаем.

М. А. Бекетова в своих публикациях утверждает, что литературным талантом поэт безраздельно обязан семье Бекетовых, в которой «воспитывался поэтический дар Александра Блока»[9]. «В нашей семье, где давала тон Сашина бабушка [Бекетова], литературность была, так сказать, в крови <…>. Как видно, литературность перешла к Саше еще от бабушки...»[10] Как мы покажем ниже, про бабушку Бекетову тетя могла бы быть права, если бы у А. А. Блока не было еще и второй бабушки – Ариадны Александровны, гораздо более интересной с этой точки зрения.

Надо отметить, что наследственностью М. А. Бекетова также объясняет «музыкальность» поэта: «Музыкальность отца [Блока], по-видимому, претворилась в сыне особым образом. Она сказалась в необычайной музыкальности его стиха и в разнообразии ритмов»[11].

Впрочем, и сам Александр Блок в своей «Автобиографии», опубликованной впервые в июне 1915 года, отмечает: «Семья моей матери причастна к литературе и науке»[12]. «В семье отца литература играла небольшую роль»[13]. Соответствует ли данное утверждение действительности? Что известно о роде Черкасовых?

Вообще говоря, о главенствующей роли наследственности и воспитания в формировании талантов, споры идут издавна, и взгляд М. А. Бекетовой на этот вопрос не нов, но в нашем случае следует взглянуть на проблему шире – в частности, с генеалогической точки зрения. Надо сказать, что литературные таланты, в особенности того выдающегося уровня, который достигнут в русской литературе немногими, не выращиваются путем воспитания в приличных дворянских семьях, где литературой интересуются все и «пробой пера» искушают себя многие. В противном случае, поэтами и писателями

становились бы тысячи. Литературный талант – явление штучное, и даже литературные институты не выпускают талантливых писателей, если они сами туда не приходят учиться.

С другой стороны, известны если не династии, то семьи, где творческий потенциал, заложенный основателем рода, проявляется много колен ниже и делает такой случай знаменитым. В первую очередь, можно вспомнить о потомках графа Петра Андреевича Толстого (который сам был талантливым писателем, а среди потомков историки насчитывают 24 писателя), а также о династии Панаевых, три поколения которых дали русской литературе в XVIII–XIX веках знаменитых литераторов – трех Иванов, Александра и Владимира Панаевых.

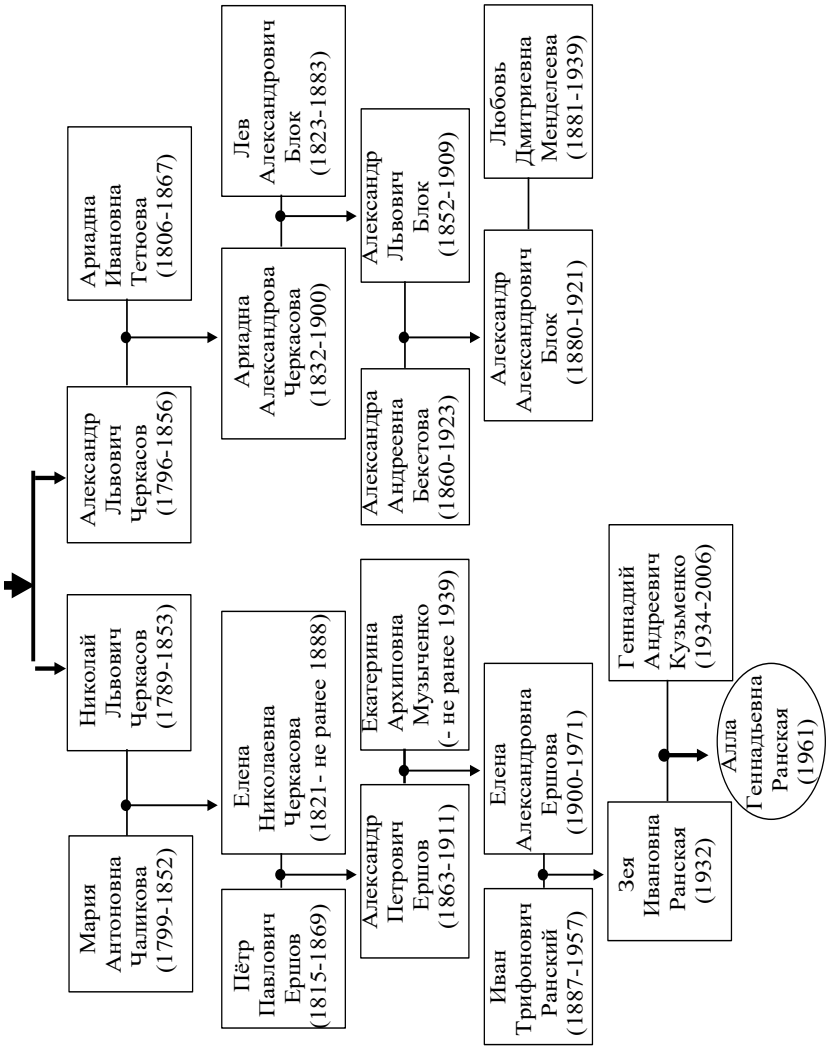
Детальное изучение архивных материалов и письменных источников о предках прадеда А. А. Блока – Александра Львовича Черкасова – дало интересные результаты. Впервые они опубликованы в наших работах[14] о семье и потомках туринского воеводы Ивана Андреевича Панаева. Установлено, что дочь туринского воеводы – Елена Ивановна Панаева – вышла замуж за Льва Ивановича Черкасова и стала матерью того прадеда А. А. Блока – А. Л. Черкасова, – о котором писали М. А. Бекетова и Г. П. Блок[15].

Таким образом, в конце XVIII века «завязался генеалогический узел» между дворянскими родами Панаевых и Черкасовых, которые впоследствии дали России ряд выдающихся литературных и музыкальных талантов.

Итак, мать прадеда Блока принадлежит славной династии Панаевых. Елена Ивановна Панаева (1759–1840) – дочь туринского городского воеводы, председателя Верхнего надворного суда Тобольского наместничества, надворного советника Ивана Андреевича Панаева (1720–1796), положившего начало роду Панаевых, оставивших заметный след в литературе XIX–XX веков. О роде Панаевых написано немало. Пожалуй, самое полное исследование оставили Владимир Пызин и Екатерина Вощина[16]. Но и в указанной работе есть ряд неточностей, устраненных в нашей предыдущей работе[17].

Род Панаевых хорошо известен в России. Не говоря о представителях этого рода, оставивших яркий след в музыке, остановимся на тех, кто прославил себя в литературе. Прежде всего, это родной брат Елены Ивановны Панаевой (Черкасовой) – Иван Иванович Панаев, обладавший, судя по воспоминаниям его современников, несомненным литературным талантом. В историю русской литературы он вошел как Иван Панаев I. Будучи адъютантом генерал-аншефа графа Брюса в 1778 году, он был завсегдатаем самого престижного литературного

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ЧЕРКАСОВЫХ–ЕРШОВЫХ–БЛОКОВ



салона того времени – салона графини, статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой, где собирались и читали свои сочинения лучшие литераторы и просветители того времени – Новиков, Державин, Дмитриевский, Иван Иванович Тургенев. «Произведения Панаева, написанные таким языком, каким до того времени (до 1779 г.) едва ли кто писал, ценились выше всех, читанных на этих немногочисленных, но избранных собраниях и не раз удостаивались внимания Наследника Престола ВК Павла Петровича... Слог, которым писал Панаев, чрезвычайно близок к языку Карамзина, явившегося гораздо позже; по стилю Панаев составляет нечто среднее между Карамзиным и Ломоносовым... К сожалению, Панаев, по необыкновенной своей скромности, никогда не печатал своих сочинений, что составляет огромный ущерб для русской словесности»[18]. К счастью, кое-что всё же сохранилось, и в настоящее время доступно для желающих ознакомиться с этими текстами.

Сыновья Ивана Панаева I – Николай, Иван, Александр и Владимир – также обладали литературным талантом. Воспоминания о братьях Панаевых оставил друг их детства, писатель С. Т. Аксаков: «Александр Панаев был охотник до русской словесности... Будучи обожателем Карамзина, он писал идиллической прозой». Принялся Александр и за издание гимназического журнала «Аркадские пастушки». Будучи студентами университета, Аксаков и братья Панаевы издавали «Журнал наших занятий»[19].

Владимир Панаев, публиковавший свои первые стихи в журнале «Казанского общества любителей словесности», стал преуспевающим литератором в Петербурге. Его стихи печатались в журналах «Сын Отечества», «Благонамеренный». Практически ни один номер модного тогда «Благонамеренного» не выходил без его сочинений. Там же регулярно появлялись поэтические и прозаические произведения братьев Панаевых и их сестры Поликсены Рындовской. Иван Панаев II – «главный идиллик» – вскоре сменил идиллическое направление и стал выступать с острыми публицистическими статьями в роли журналиста и критика.

«Остроту его пера подхватит впоследствии его сын, тоже Иван Иванович, связав свою судьбу с Некрасовым»[20]. Речь идет об Иване Иванович Панаеве III – создавшем журнал «Современник» совместно с Н. А. Некрасовым.

Следует ли удивляться, что и потомки Панаевых по женской линии также были заметными фигурами в истории российской культуры. Среди потомков Панаевых-Черкасовых по женской линии есть имена, известные в музыкальном и литературном мире не только в России. Мы пока говорим только о литераторах. Это сын Елены

Панаевой – поэт «Золотого века русской литературы» Иван Львович Черкасов (племянник Панаева I и кузен Панаева II)[21]; праправнуки Елены Панаевой – поэт Александр Александрович Блок и литературовед, прозаик, переводчик Георгий Петрович Блок, в своих исследованиях близко подошедший к обнаружению родителей своего прадеда.

Наше исследование предков отца А. А. Блока по материнской линии показывает, что они не только служили в Сибири, но и происходят из этого региона Российской Империи. Прадед Александра Блока, Александр Львович Черкасов, – «псковский губернатор, из дворян Новгородской губернии, когда-то ранее служивший в Сибири», оказался сибиряком в нескольких поколениях. Там он родился, там же похоронены его предки – прадеды, деды и родители. Почему прежние исследователи биографии А. А. Блока не упоминали о его сибирских корнях, не совсем ясно.

Судьба А. Л. Черкасова типична для дворян – потомственных военных: практически все мужчины в семье Черкасовых поступали на военную службу, часто родственники служили в одном полку. (В частности, кузены Панаевы и Черкасовы служили вместе в Лейб-Гвардии уланском). Мнение М. А. Бекетовой, что в роду Черкасовых наследственно сохранились «черты жестокости и самобытности» как мрачные признаки крепостничества – особенно нелепы в этом контексте; к тому же, добавим, крепостное право в Сибире было развито в наименьшей степени и сохранялось, в основном, в церковно-монастырских вотчинах. Черкасовы и Панаевы были «служивыми» людьми – военными и гражданскими чиновниками. Г. П. Блок писал Бекетовой о братьях Черкасовых кратко, мы приведем более подробные сведения.

Александр Львович родился 16 августа 1796 году, вероятно, в городе Перми, где тогда служил его отец. Ему не было и двух месяцев, когда умер его дед по матери – Туринский воевода Иван Андреевич Панаев, следом за которым скончался и единственный брат матери – Иван Иванович Панаев I, пермский губернский прокурор. Вдова Ивана Панаева с детьми переехала в свое поместье в Казань; семья Черкасовых, по-видимому, некоторое время еще оставалась в Перми. В 1801 году Лев Иванович Черкасов стал городничим города Верхотурья, а в 1810-м, в связи с новым назначением, переехал с семьей в Ирбит, где семья находилась до самой его смерти. Умер Лев Иванович Черкасов 16 июня 1814 года, ровно за два месяца до 18-летия Александра.

Александр последовал по стопам покойного отца и старшего брата Николая, служившего тогда в Лейб-Гвардии уланском ЕИВ

Константина Павловича полку, и поступил на военную службу в артиллерию. Он делал хорошую карьеру, неоднократно награждался, поскольку «препорученныя ему должности исполнял всегда с неутомимым усердием как отличный и всегда заслуживающий одобрения начальства офицер»[22].

Старший брат Николай покинул Лейб-Гвардии уланский полк и, после службы в Сумском гусарском и Ямбургском уланском полках, в 1828-м был назначен директором Первого Сибирского казачьего училища в Омске. Младший, Иван, также продолжил семейную династию офицеров. Окончив учебу в Дворянском кавалерийском эскадроне (1817–1819), он служил корнетом в том же Лейб-Гвардии уланском полку, где в годы наполеоновских войн служил и старший брат Николай, покинувший полк в 1818 году. Вот как раз об этих двух братьях-уланах и писал Г. П. Блок.

У Александра Львовича и его жены Ариадны Ивановны Тетюевой родилось 11 детей, но большинство из них умерло в младенчестве. В 1832 году 26 сентября родилась дочь Ариадна – та самая Ариадна Александровна (по признанию М. А. Бекетовой, «девушка необычайной красоты»), которой судьба уготовила стать бабушкой поэта Александра Блока. В роли восприемника, так уж у братьев повелось, выступил младший брат – Иван, уже довольно известный поэт, публиковавшийся в Санкт-Петербургском журнале «Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду», и создавший ряд произведений совместно с композитором Александром Алябьевым[23].

Иван Львович сделал отличную карьеру, молодым дослужился до полковника, но в 1838 году умер, не достигнув 40 лет. Старший брат Александра, генерал-майор Николай Львович, жил в Петербурге с 1839 года, после десятилетней службы директором Сибирского казачьего училища. Он скоропостижно умер, будучи в командировке в Красноярске, в 1843 году.

Александр Львович Черкасов уже в чине Действительного статского советника, стал Псковским губернатором в 1846 году. Этот период отмечен в книге Е. В. Сафоновой и Е. С. Кравченко об А. Л. Блоке[24]. В отличие от М. А. Бекетовой, представившей Александра Львовича Черкасова «деспотичным и жестким», авторами книги ему дается положительная характеристика. Прадед поэта упоминается как «губернатор-преобразователь, основавший в Пскове первый чугунолитейный завод, построивший крытый мост через речку Пскову, прозванный в народе ‘Американским’, заложивший сохранившийся до нашего времени Кутузовский сад». Отмечено, что «в 1848 г. во время эпидемии холеры, именно благодаря его челове-

ческому участию и организаторскому таланту людские потери удалось минимизировать»[25].

Подводя итоги исследования сложных и разветвленных родственных связей предков А. А. Блока, можно сделать несколько выводов. Во-первых, предки А. А. Блока по отцовской линии происходят из Сибири, из дворянских родов служивых людей – военных и чиновников. Во-вторых, сибирские предки поэта также имеют корни, общие со славным родом литераторов Панаевых, давшего, по-видимому, творческую «прививку» ветви доблестных офицеров Черкасовых, верно служивших царю и отечеству более ста лет. В-третьих, попытки М. А. Бекетовой отвернуться от предков отца поэта и замкнуть свои умозаключения о генетике творческого гения А. А. Блока в узкий круг петербургской профессорской семьи, ни к чему, кроме нарушения исторической правды, не приводят. Дальнейшее исследование генеалогии А. А. Блока – всех ветвей этого разветвленного древа – откроет много тайн прошлого и многое же прояснит о самом поэте.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Бекетова, М. А.* Воспоминания об Александре Блоке / М., 1990. – С. 7.
2. *Жуковская, Т. Н.* Реликвии Александра Блока. // «Наше наследие», № 2, 1989. – Сс. 76-79.
3. *Бекетова, М. А.* Александр Блок / Пг., «Алконост», 1922. – С. 12.
4. *Бекетова, М. А.* Воспоминания... – С. 298.
5. *Бекетова, М. А.* Александр Блок... – С. 15.
6. *Пущин, И. И.* Сочинения и письма. Том 1 / Записки о Пушкине. Письма 1816–1849 гг. // М., «Наука», 1999. – С. 181.
7. *Блок, А. А.* Сочинения в одном томе. Стихотворения, поэмы, театр, статьи, речи, письма / М.-Л., ГИХЛ, 1946. – С. 16.
8. Александр Блок. Новые материалы и исследования // «Литературное наследство». Том 92, книга первая / М., 1980. – С. 264.
9. *Бекетова, М. А.* Александр Блок... – С. 22.
10. *Бекетова, М. А.* Воспоминания... – С. 279.
11. *Бекетова, М. А.* Александр Блок... – С. 23.
12. *Блок, А. А.* Сочинения в одном томе… – С. 15.
13. Там же. – С. 17.
14. *Ранская, А. Г.* Туринский воевода Иван Андреевич Панаев, его семья и потомки. Новые архивные находки / Прикосновение к векам: Туринская старина. Историко-родоведческий сборник. Выпуск 8 // Туринск, 2020. – Сс. 66-76; *Ранская, А. Г.* и *Толстой, М. Н.* Третья жена поэта П. П. Ершова. Елена Николаевна (урожденная Черкасова) – внучка героя войны 1812 года генерал-

майора А. С. Чаликова и правнучка Туринского воеводы И. А. Панаева. // Там же. – Сс. 88-94.
15. Запись о венчании. Метрические книги церквей г. Туринска и Туринского уезда за 1780 годы / ГА г. Тобольска. Ф. И156. Оп. 15. Д. 802. Л. 4.1.
16. *Пызин, В. Х.* и *Вощина, Е.* Х. Шесть поколений Панаевых, верных семейной традиции. Биогенеалогические очерки / СПб., 2010. 222 с.
17. *Ранская, А. Г.* Туринский воевода Иван Андреевич Панаев...
18. Памятная книжка и Адрес-календарь Пермской губернии на 1893 год / Издание Пермского Губернского статистического Комитета, типография Губернской Земской Управы // Пермь, 1892. – С. 72.
19. *Пызин, В. Х.* и *Вощина, Е.* Х. Шесть поколений Панаевых... – С. 24.
20. Там же. – С. 25.
21. *Ранская, А. Г.* Сибирский поэт Иван Черкасов // «Сибирские огни», № 6, 2020. – Сс. 162-169.
22. Формулярный Список о службе смотрящего в должности Псковского Гражданского Губернатора Действительного Статского Советника Черкасова 1847 года / ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1618. Л. 132.
23. *Ранская, А. Г.* Сибирский поэт Иван Черкасов... – С. 163.
24. *Сафонова, Е. В.* и *Кравченко, Е. С.* Александр Львович Блок. Биография ученого / М., 2013. 152 с.
25. Там же. – С. 11.

Сан-Франциско

Мария Рубинс

О рецепции русскоязычной литературы в Израиле

Александр Гольдштейн vs Урия Шавит

Русскоязычная израильская литература существует как непрерывный процесс уже полвека, а недавние события выявили и роль Израиля как одного из самых значительных центров мировой русской культуры. Недаром в мае 2022-го именно Тель-Авив был выбран для проведения форума «свободной культуры» СловоНово, на котором обсуждались далеко не только особенности локальной русско-ближневосточной словесности, но прежде всего пути развития глобальной русской литературы. Несмотря на столь мощную концентрацию творческих сил, создавших в Израиле оригинальное и подлинно транснациональное литературное сообщество, связанное в равной мере как с традициями российской метрополии, так и с ближневосточным культурным контекстом, примеров интереса к этому явлению со стороны израильтян не много. Хотя израильская культура, как и российская, по крайней мере до недавнего времени, была вполне литературоцентричной, и существует большой читательский интерес к переводной литературе, включая и русскую классику, и авангард, и современных российских авторов, живущие в стране русскоязычные писатели редко привлекают внимание израильских издателей и переводчиков. Неоднократно я сталкивалась с искренним изумлением интеллигентных и начитанных израильтян, отзывавшихся с восторгом о Толстом, Бабеле или Довлатове (доступном теперь и на иврите в переводе Сиван Бескин), когда упоминала, что сейчас в Израиле живут писатели, многие из которых чрезвычайно популярны на их бывшей родине. Несколько лет назад Айяла Лили Мозес выпустила амбициозную антологию под названием «Групповой портрет. Израильская литература в 21-ом веке», в которой она стремилась представить всех более или менее заметных современных авторов, причем не только иврито-, но и арабоязычных. Когда я поинтересовалась, собирается ли она включить кого-нибудь из русской алии, она с удивлением спросила, есть ли писатели среди почти миллиона

выходцев из бывшего СССР. По моей рекомендации в антологию вошли отрывки из произведений Дины Рубиной, Эли Люксембурга и Давида Маркиша.[1] Но, увы, мало кто слышал о поэтах Михаиле Генделеве или Елене Аксельрод, писателях Анне Исаковой, Юлии Винер, Светлане Шенбрунн, Якове Шехтере и многих других. Именно поэтому важны каждый контакт и каждое стремление узнать и осмыслить многообразие современной многоязычной израильской литературы со стороны культурного истеблишмента.

Публикуемый ниже текст представляет собой редкую попытку рассказать широкой публике о том, что пишут израильские «русские». Опубликован он был во влиятельной газете «Га-арец», старейшем в Израиле ежедневном периодическом издании, основанном еще в подмандатной Палестине в 1918 году. Газета придерживается левоприберального направления и пользуется популярностью у политических и экономических элит.

Статья под красноречивым заголовком «И это культура?»[2] была приурочена к публикации на иврите сборника произведений русскоязычных писателей, чье творчество тесно связано с тель-авивским авангардным журналом «Зеркало»[3]. Заметим, кстати, что именно коллектив «Зеркала» при деятельном участии редактора Ирины Врубель-Голубкиной приложил немало усилий для наведения мостов между русской и израильской литературой, инициировав и появление этого сборника. Статья построена вокруг персоны Александра Гольдштейна и включает беседу с ним, а также отрывки из его книги «Аспекты духовного брака».

Александр Гольдштейн (1957–2006) стал культовой фигурой в элитарных литературных кругах после публикации его книги «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), за которую он был награжден премиями «Малый Букер» и «Антибукер». Под маской Нарцисса он вывел в этой книге литературу уходящего века, предложив для ее переоценки оригинальный понятийный язык. К тому времени Гольдштейн жил в Израиле уже около шести лет. Он переехал туда из Баку, где занимался филологической работой и защитил кандидатскую диссертацию о Мирзе Фатали Ахундове. Не получив в Израиле университетский пост, Гольдштейн занялся журналистикой, писал регулярные статьи в газету «Вести», сблизился с редакцией журнала «Зеркало», а главное – писал эссе о разных вопросах мировой культуры, а со временем перешел к прозе. При жизни после «Расставания с Нарциссом» он опубликовал сборник «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001) и роман «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004). Затем вышла книга «Спокойные поля» (НЛО, 2006), за которую посмертно он был удостоен премии Андрея Белого. Также посмертно вышла

книга Гольдштейна «Памяти пафоса» (НЛО, 2009), в которую вошли статьи, эссе и беседы разных лет.

Гольдштейн писал сложную прозу, не поддающуюся традиционным жанровым определениям. Но созданный им мир затягивает своей парадоксальностью, тонкой иронией и филологической игрой. Этот писатель вряд ли когда-либо станет интересен массовому читателю, но он всё больше привлекает тех, кто дает себе труд погрузиться в глубины его интеллектуальных прозрений. Возможно, «расставшись с Нарциссом», оставив позади отработанные модели письма, он попытался прочертить новые пути, которые будут востребованы литераторами 21-го века.

Но каким же предстал этот автор в переводе на иврит? Как он был прочитан и интерпретирован? Статья-интервью в «Га-арец» отчасти позволяет ответить на эти вопросы. Автор публикации – Урия Шавит. Сегодня Шавит – профессор кафедры арабских и исламских исследований Тель-Авивского университета, автор ряда научных и художественных произведений. В период с 1997 по 2008 гг. он активно сотрудничал в нескольких израильских газетах, включая «Га-арец», «Маарив», «Йедиот ахаронот» и др. Его статья написана не без доли иронии, которая заявлена уже в двусмысленном заголовке: «И это культура?». В ней акцентируется несколько моментов, способных вызвать лишь недоумение израильской публики, – например, факты, что после 12 лет в стране Гольдштейн всё еще не владеет ивритом или же его поверхностное знание израильской литературы вкупе с высокомерными суждениями о ее известнейших авторах. Несколько вырванных из контекста цитат из эссе Гольдштейна «Нашествие», которым открывался сборник «Зеркало», видимо, приводятся для иллюстрации радикальных, едва ли не «расистских» взглядов писателя и вряд ли призваны пробудить у широкого читателя подлинное интеллектуальное любопытство к его творчеству. Изысканность стиля Гольдштейна, его необыкновенная эрудиция (пусть и не в области ближневосточной литературной традиции), оригинальность мышления, внутренний диалогизм, граничащая с эпатажем гротескность и, в то же время, трезвая оценка окружающей действительности, – то, за что, среди прочего, и ценят его творчество многие литературные эстеты, – просто не считываются его собеседником.

В то же время интервью интересно тем, как Гольдштейн аргументирует свое творческое кредо. Он прямо говорит о том, что литература не должна подчиняться требованиям политкорректности, напротив, литература – это провокация, она замешана на радикальном жесте и иронии, должна вызывать дискомфорт, преодолевать инерцию мышления и интерпретаций. Литература, в конце концов, – это

«частные слова, способные потрясти мир». Поневоле вспоминается формула эмигрантских писателей «незамеченного поколения» – «литература как частное дело». Они тоже существовали посреди Парижа в социокультурном вакууме, возможно, поэтому и могли позволить себе абсолютную свободу высказывания.

В результате публикация Урии Шавита оставляет двойственное впечатление. Она констатирует стремление к диалогу между двумя замкнутыми мирами – русскоязычным и ивритоязычным, – сосуществующими на тесном геополитическом и медийном пространстве, но невероятно далекими друг от друга по культурно-историческому опыту, ментальности, эстетике. В то же время эта публикация выявляет неизбежное столкновение двух разных культурных кодов, лишний раз демонстрируя гетерогенность современного Израиля, несовместимость определенных идеологических позиций. Возможно ли преодолеть эти разрывы? Нужно ли их преодолевать?

University College of London

---

1. Тмуна квуцит. Сифрут йисраэлит ба-меа ха-21. Антология / Кармель, Иерусалим, 2011). На иврите.

2. *Шавит, Урия*. И это культура? / «Га-арец», 27 февраля 2002. На иврите.

3. Сборник вышел на иврите под названием «Зеркало современной русской литературы» / Под ред. Ирины Врубель-Голубкиной // Тель-Авив: Ха-кибуц ха-миухад, 2001.

Урия Шавит

И это культура?

После 12 лет в Израиле Александр Гольдштейн, признанный в России писатель, а также журналист газеты «Вести», не только не говорит на иврите, но и принадлежит к сливкам литературного сообщества, презирающего израильскую культуру. Герою его книги неприятен звук костей шеш-беша, гвалт базара или футбольного матча, вкус питы, средиземноморская музыка – короче, любая форма соглашательства ашкеназов с сефардами.

Герой второй книги писателя и журналиста, «Аспекты духовного брака», вышедшей в свет в России полгода назад, – *оле хадаш*[1], испытывающий отчуждение от своей среды и проживающий в Тель-Авиве, неподалеку от моря, в одиночестве, хотя отнюдь и не гордом. Его путешествия по исходящей пóтом стране пышат великим отвращением. Ему омерзительны иностранные рабочие, *мизрахим*[2], перенявшие левантийские привычки ашкеназы, а также скупые хозяева съемных квартир. В его словах звучит угроза: «Восток пеленает нас, точно саван. Тают последние европейские огоньки ашкеназской души».

Гольдштейн – литературовед и журналист, освещающий культурные события в «Вестях». Он репатриировался в Израиль из Азербайджана 12 лет назад. В 1998 году его первая книга «Расставание с Нарциссом» получила российский Букер в категории «литературные очерки»[3]. Он оказался первым проживающим за пределами России писателем, который был удостоен этой престижной премии. Вознаграждение составляет около 12000 шекелей, но важнее денег признание московского литературного сообщества.

В Израиле Гольдштейн принадлежит к тем, кто возглавляет литературную группу, выпускающую дважды в год журнал под названием «Зеркало». «Зеркало» является разительным примером русской языковой и культурной автономии, расцветшей здесь за последнее десятилетие. В этом месяце выходит в свет собрание переведенных на иврит очерков, стихотворений и отрывков из произведений, написанных членами редколлегии журнала (издательство «Хакибуц ха-миухад»). Цель издания – представить ивритоязычному читателю их культурный мир. Отчужденный герой Александра Гольдштейна открывает этот сборник.

«Еврейский характер страны, кажущийся за ее пределами аксиомой, изнутри предстает едва ли уже доказуемой теоремой, – подчеркивает герой, – ибо, говоря о еврействе, разумею, естественно, ашкеназов. В далеких истоках восточный, впоследствии же две тысячи лет как устойчиво западный, европейский характер (до европейцев еще европейский), он вернулся в Израиле в ханаанское лоно и был подорван галдящим базаром, левантийской ленью, жарой. Начало еврейское тут сдается на милость, пресмыкательски отрешается в пользу того, чему должно быть пугалом и что, к несчастию, стало манком. Кисло-сладкому мясу, фаршированной щуке, рубленой, с яйцом и луком, селедке, коржикам на меду соглашатели (большинство уродившихся здесь ашкеназов) предпочли магрибское тесто лепешки, от гороховой начинки которой пучит живот; коллаборационисты обожают футбол и толпою ходят за пивом, горланят песни торговцев из Адена и Рабата, без разбора любят женскую плоть. <...> обсмеяна философия, п(р)отухла поэзия, никто, кроме избранных русских да грамотных иноземцев-приблуд, не читает в автобусах или у моря».

Две трети зарплаты героя уходят на оплату квартиры, владельцы которой – зловредные скупердяи. Он живет в скудно меблированной конуре. Все его пожитки состоят из компьютера, крошечного телевизора, продырявленного электрического чайника и многочисленных книг, вывезенных им из СССР. Со всех сторон его теснят чужаки.

«С неграми дело неладно, так много их быть не должно», – утверждает герой. «Какой вывод из вышеизложенного?» – задается он вопросом и сам отвечает: «Вывод понятен: всем оставаться на своих местах. Румынам – в Румынии, филиппинцам – на Филиппинах, тайцам – в Тайланде, малайцам – в Малайзии, китайцам – в Китае. Пусть едут куда им заблагорассудится, пусть где угодно строят курятники, жрут стариков и выносят собачьи горшки – лишь бы избавили нас от себя. Их присутствие – род злокачественной опухоли. Смешение рас, кое-как допустимое в больших государствах, несет Израилю гибель в дополнение к той, что традиционно и неотменимо грозит ему с берегов Иордана, из аравийских пустынь, из каждого дюйма начертанной нам географии».

ДРУГОГО ИЗРАИЛЯ НЕ ДАНО

Гольдштейн утверждает, что хорошая литература затрагивает подлинные чувства и не обращает внимания на требования политкорректности. Если израильтяне содрогнутся от его резкого текста, то это профессиональный риск, на который он готов пойти, но единственный фронт, на котором он будет сражаться, – это фронт литера-

турный. По натуре замкнутый, он не считает, что сам по себе представляет подходящую тему для разговора. После 12 лет в стране он не говорит на иврите и понимает язык с огромным трудом. Он родился в Таллине, столице Эстонии, в 1957 году. Его отец – журналист, мать – переводчица с французского и испанского. Как и во многих советских семьях, еврейство понималось как национальная, а не религиозная или культурная, идентичность. Гольдштейн не прошел брис и не отмечал бар-мицву. Дед и бабушка по отцовской линии жили в Баку, и семья переехала в Азербайджан, когда он был совсем маленьким. Уже ребенком он любил читать и мечтал стать исследователем литературы. Закончив среднюю школу, он поступил на филологический факультет Бакинского университета и в 1988 году написал кандидатскую диссертацию о связях между европейской и мусульманской литературой в XVIII веке[4].

После распада СССР он оказался перед сложным выбором: эмигрировать в Израиль, чья культура ему чужда, а язык не позволит ему продолжить профессиональные занятия, или же остаться в стране нескончаемых войн. «Всё развалилось в 1990-м, – говорит он. – Началась война с Арменией. На улицах проходили массовые демонстрации. Устраивались армянские погромы. Евреи не пострадали, но у меня были армянские друзья, и это был унизительный опыт – жить в стране, где тебя, может, и пощадят, а соседа убьют.»

Опасения, вызванные битвами в Азербайджане, пересилили страх перед культурной изоляцией в Израиле, и в 1990 году Гольдштейн с родителями репатриировался, снял квартиру в Тель-Авиве и начал работать в еженедельнике «Спутник». Он не записался в ульпан, и его контакт с израильтянами был ограничен. Израиль, который он здесь нашел, удивил его: он был уверен, что прибыл в западное общество, но обнаружил, что это не так.

В четвертый год своего пребывания здесь, всё еще холостой и с трудом сводящий концы с концами, он оказался в кризисе. «У меня появилось тяжелое предчувствие, – говорит он. – Не могу объяснить, что случилось. Возможно, потребовалось четыре года, чтобы понять: Израиль, в котором я очутился, – это и есть Израиль, и другого Израиля не дано.» В тот период зародились некоторые чувства и впечатления, которыми впоследствии был наделен герой «Аспектов духовного брака».

У.Ш. [Урия Шавит]: *В чем причина Вашего отношения к тому, что Вы определяете как «восточность» израильской жизни?*

А.Г. [Александр Гольдштейн]: Приехав в страну, я был разочарован восточным обликом Израиля. Я думал, что еврейство, которое я

найду в Израиле, будет еврейской цивилизацией вроде той, что я знал с детства. Еврейская жизнь, с которой я был знаком, была основана на произведениях Кафки и Бруно Шульца. Я представлял себе, что Израиль – это страна, в которой кипит литературная жизнь. Думал, что это западная страна, западный Эдем. Я также полагал, что это рациональное общество. Когда я говорю «рациональное», я имею в виду следующее: я знал, что жизнь здесь будет трудной, что моя профессия не подходит к новой ситуации. Но я был уверен, что это общество, в котором люди зарабатывают в соответствии со своим трудом. А это не так. Сегодня я знаю, что рациональных обществ не существует. Везде люди тяжело и много работают, везде можно встретить грустные лица и усталые глаза.

У.Ш.: *Если так, то откуда враждебность по отношению к иностранным рабочим?*

А.Г.: Психологически я ощущал себя одним из них, как будто и сам я иностранный рабочий. Мое отношение к гастарбайтерам было оборотной стороной моего отношения к самому себе. Возможно, когда я писал, что все должны оставаться на своих местах, я имел в виду себя.

У.Ш.: *А откуда у вас негативно-ироническое отношение к футболу и нардам?*

А.Г.: Меня очень раздражает то внимание, которое уделяют спортивным событиям. У меня нет этому объяснения, но у меня есть право сопротивляться такому образу жизни и без всяких объяснений. Что касается нардов, то для меня сакральной игрой являются шахматы. Нет никакого сравнения между шахматами и нардами. Я рос в Баку под непрерывный стук костяшек, и эти звуки мне не нравились. Шахматы – вот еврейская игра, требующая глубокой мысли. Когда я репатриировался в Израиль, то представлял себе, что здесь играют в шахматы, а не в нарды.

У.Ш.: *Как вы преодолели разочарование в Израиле?*

А.Г.: Я трансформировал его в литературу. Я привык к израильской жизни и решил принимать ее как есть, фатально. Я обнаружил, что есть преимущества в моем положении иммигранта, в свободе от продвижения академической карьеры и от обязательств, которые были возложены на меня до репатриации. Вдруг я остался наедине с литературным материалом. Сегодня я далек от тех ощущений, которые были у меня восемь лет назад, и я могу писать о них с иронией. В «Аспектах духовного брака» нет ненависти. В книге есть гротеск, привлечение экзотического материала. Нереализованная энергия главного героя, использование языка, который не является политкорректным, а состоит из частных слов, способных потрясти читателя и мир.

У.Ш.: *Почему вы не выучили иврит?*

А.Г.: Разумеется, я должен был выучить иврит. Но не выучил, потому что я лентяй и потому, что я слишком вовлечен в русскую жизнь Израиля.

У.Ш.: *У вас есть контакты с израильтянами, говорящими на иврите?*

А.Г.: Не особенно. У меня нет друзей, для которых иврит являлся бы родным языком. Иврит я слышу только на улице и немного в редакции «Вестей».

У.Ш.: *Как вы себя идентифицируете?*

А.Г.: Я определяю себя как еврейского писателя, пишущего на русском и живущего в Израиле. Я лояльный гражданин Израиля. У моего творчества есть два полюса: оно предназначено для русского меньшинства в Израиле, а также для российских литературных кругов, которым интересно это меньшинство и его творчество. Я – часть международной русскоязычной литературы, которая существует также в Нью-Йорке и в Праге, хотя и не принципиально, в каком месте она создается.

У.Ш.: *Вы – пророк трехъязычного и трехкультурного израильского общества, в котором русский займет свое место рядом с ивритом и арабским?*

А.Г.: Я буду писать по-русски в любом случае. Но у меня нет амбиций писать по-русски, чтобы создать третье этническое сообщество. Я знаю, что мои дети или же внуки уже не будут читать и писать по-русски. Важные произведения, написанные моим поколением по-русски, переведут, и они останутся после нас. А проходные вещи исчезнут.

У.Ш.: *Что вы ожидаете от перевода на иврит отрывков из «Аспектов духовного брака»?*

А.Г.: Я вообще любопытен. Мне интересно знать, сочтут ли, что это хорошо. Но я реалист, у меня нет особых чаяний. Я буду доволен, если это прочитает три или четыре человека, или, в крайнем случае, двадцать, и скажут: «Что ж, не так плохо».

У.Ш.: *Нет ли разочарования от того, что вы никогда не получите признания у большинства в стране, где вы живете?*

А.Г.: Нет, нет. Совсем нет. Я не такой человек, который будет испытывать разочарование, и уж, конечно, не на пятом десятке лет.

У.Ш.: *Ваше участие в «Зеркале» вызвано желанием преодолеть духовное одиночество?*

А.Г.: Нет. Страх одиночества – детский страх, а не взгляд на мир взрослого человека. Мое соучастие в группе позволяет мне разобраться в некоторых литературных вопросах. Благодаря «Зеркалу» у меня была возможность обсудить то, что пишу я, и то, что пишут другие. Все эти люди – мои дорогие друзья.

ЭТО НЕ ЛИТЕРАТУРА, ЭТО ПОЗА

«Зеркало» – это журнал, чье влияние превосходит его тираж. Из 2000 экземпляров часть предназначена для продажи в России, и в то же время журнал играет активную роль в определении иерархий культурной жизни выходцев из СНГ. Каждую неделю в редакцию по обычной и электронной почте поступают десятки рукописей новых репатриантов, которые просят открыть им путь в мир русскоязычной литературы. Члены расширенной редакции, в которую входят приблизительно двадцать человек, – это и есть та самая литературная элита, верящая в то, что культура заключается, прежде всего, в разграничении между важным и неважным, достойным и недостойным.

Главный редактор «Зеркала», Ирина Врубель-Голубкина, без колебаний высказывает свое мнение о литературе на иврите: «Литература занимает важное место у русских, вроде того, какое в Израиле занимают политики и топ-модели. Со времени алии семидесятых годов у русской публики была возможность познакомиться с израильской литературой, а ивритоязычных авторов переводили на русский. Этой возможностью русские воспользовались в одностороннем порядке. То, что они обнаружили, вызвало определенное разочарование и не вдохновило их на то, чтобы писать на иврите. За исключением Агнона, чье творчество связано с немецким экспрессионизмом, они не нашли в израильской литературе ничего значительного или великого. Уровень русской поэзии очень высок. Мы не обнаружили ничего подобного здесь».

У.Ш.: *Вы не нашли ничего ценного у известных израильских писателей?*

А.Г.: У А.-Б. Иехошуа и Амоса Оза, разумеется, нет. Это ментальная проза, психологическое письмо. Скорее нарратив, чем литература. Не столько литература, сколько поза. Попытка писателя проверить определенные вещи. Произведения Давида Гроссмана тоже ничего, вполне нормальные, но они не затрагивают ничего из того, что мне интересно. В Гроссмане я не вижу ничего уникального. Нет никакого повода его читать. Меня очень раздражает, что вся израильская литература только и делает, что ищет корни. Пускается на поиски отца и на поиски матери. Кому это интересно? Литература – это вымысел, литература – это не реальность.

У.Ш.: *В таком случае зачем пытаться налаживать культурный диалог с ивритом?*

А.Г.: Потому что мы здесь живем, мы часть этой страны, и то, что мы

здесь испытываем, – это не русская культура. Мы создаем израильскую литературу на русском языке. Нам очень интересно было бы познакомить израильское общество с «Зеркалом» и посмотреть, как журнал будет воспринят.

Дополнительная причина состоит в убеждении редакции «Зеркала» в том, что ивритоязычные читатели и писатели лет на сто запоздали в своем открытии русской культуры. «Один из прискорбных парадоксов израильской культуры состоит в том, что как искусство, так и литература на иврите всегда были оторваны от культуры русского авангарда XX века», – пишут члены редколлегии во вступлении к сборнику. «Израильской литературе, включая многочисленных ‘русских’ ее представителей, не удалось выйти за пределы русской классики XIX века, и она остановилась, самое позднее, на русском символизме начала XX века. Она проигнорировала все достижения русского авангарда в области литературы и искусства, а может, просто понятия о них не имела. <…> Издание ‘Зеркала’ на иврите призвано преодолеть эти культурные разрывы. Наша задача состоит в том, чтобы начать диалог, запоздавший на столетие, позволить израильтянам познакомиться еще с одним из их больших и важных племен, живущим бок о бок с другими племенами, но чье культурное сознание до сих пор окружено тайной.»

РУССКИЙ РОМАН

Возможность литературного круга, вроде «Зеркала», и таких писателей, как Александр Гольдштейн, существовать в Израиле в русском языке и в русской среде обеспечена количественно не в меньшей степени, чем идеологически. Критическая масса алии создала большой спрос на популярные русскоязычные газеты и на магазины русской книги, а те, в свою очередь, способствовали формированию культурной элиты, которая в состоянии зарабатывать на жизнь русскоязычным творчеством и не нуждается в признании израильским литературным мейнстримом, даже если она и жаждет этого признания.

Четыре года назад Гольдштейн женился на журналистке из «Вестей». «Мы живем в районе Ганей Авив, рядом с Лодом. Это очень приятное место, хотя садов там нет[5]. 60% жителей – выходцы из СНГ, и это удобно. В магазине есть русские товары и русскоязычные газеты. Жизнь весьма комична. У меня есть приятель, который подметает улицы. Он мне рассказывает, что вокруг он слышит одно

лишь слово: ‘деньги’. Его произносят с разными акцентами и на разных языках, но это слово звучит постоянно».

У.Ш.: *Как Вы относитесь к литературе на иврите? Например, к Бялику?*

А.Г.: У каждой нации есть свой национальный поэт. Как можно относится к национальным поэтам, вроде Бялика или Пушкина? Это мертвая классика. У меня нет к ней никаких чувств. Это существование в пантеоне, только и всего.

У.Ш.: *Альтерман?*

А.Г.: Мне еще не попался хороший перевод его стихов, поэтому не могу ничего утверждать.

У.Ш.: *Амос Оз?*

А.Г.: Я читал «Мой Михаэль» в русском переводе, а также несколько публицистических статей. Есть литература, которая отказывается от литературной экспериментальности. Это литература, соответствующая вкусу читающей интеллигенции. Я не придаю такой литературе особого значения. Это не та литература, которая способствует продвижению вперед. Мне она неинтересна.

У.Ш.: *А.-Б. Иехошуа?*

А.Г.: Я читал его старые вещи, «Мар Мани». У этого писателя есть значительный колорит, а на этикетке написано: «Без холестерина». Как говорится, это литература мейнстрима, без какого-либо радикального жеста, без сильного аромата, без чего-либо, способного вызвать дискомфорт.

У.Ш.: *Меир Шалев?*

А.Г.: Я прочитал часть «Эсава» по-английски. Видно, что писатель хорошо освоил модернизм. Теоретик и писатель Виктор Шкловский говорил, что приходит время, когда все очень хорошо умеют писать, но никому это не нужно. Не только читатель не помнит, что он прочитал, но и писатель, что он написал. Это характеризует всю литературу реализма с чертами модернизма.

У.Ш.: *Есть ли израильский писатель, который произвел на вас впечатление?*

А.Г.: Ури Цви Гринберг, которого я читал по-русски. Это произвело на меня большое впечатление. У него энергичное письмо. В нем есть смесь политического и литературного радикализма.

У.Ш.: *Еще кто-нибудь?*

А.Г.: Йоэль Хофман. Это художественная проза, в которой есть сильные пронзительные чувства и интересное сочетание тематики и слов. Также Давид Авидан, Йона Валлах и Дан Пагис произвели на меня впечатление. И каждый по-своему. У Авидана авангардистская постмодернистская поэзия европейского, а скорее, американского

типа. У Пагиса более локальное письмо, более органичное своим израильским истокам. У Валлах – это отчаянный крик женской души, но в этом крике есть и ирония.

У.Ш.: *Каковы ваши политические воззрения? Вы считаете, что у писателя есть политическая функция?*

А.Г.: Я не хочу высказывать свое мнение о политике. Я не занимаюсь политикой. Думаю, у писателя есть политические и социальные обязательства, но будет неправильно, если человек, не говорящий на иврите и находящийся в стране 12 лет, будет делать какие-либо заявления. Я не из тех, кто любит бороться. Единственные битвы, в которых я участвую, – литературные. Я готов сражаться на фронте эстетики. Я думаю, что это та война, которая касается самых глубинных пластов человеческой жизни. Каким образом? Это мое ощущение. Я не могу его объяснить, но мне это абсолютно ясно, я это чувствую интуитивно. Я думаю, что литература затрагивает человеческое существование. Она не предназначена для башни из слоновой кости.

У.Ш.: *Почему вы остаетесь в этой стране?*

А.Г.: Возвращение в прошлое – это не моя стезя. Там я уже был и прежний опыт исчерпал. С психологической точки зрения, для меня там места нет. Русский – мой родной язык, но Россия – не моя страна. Моя страна – это Израиль. То, что держит меня здесь, – это вещи, которые трудно определить: еврейский образ жизни, обстановка. Это пафосно, но это правда.

У.Ш.: *Вам что-нибудь нравится в Израиле?*

А.Г.: Мне нравится атмосфера повседневной жизни. Ее непринужденность. Ощущение, что это страна, где нет стен, которые разделяли бы людей. Ты кому-нибудь протягиваешь руку, а он тебе в ответ протягивает свою, и это совершенно искренне. Мне нравится ощущение не то чтобы братства, а неформальности на улице. Например, в автобусе водитель может дать тебе билет и сказать: «Удачи!». В этом я вижу культурное достижение.

Перевод с иврита Марии Рубинс

---

1. Новый репатриант (Здесь и все последующие сноски – *прим. пер.*)

2. Мизрахим (букв. «восточные») – евреи-выходцы из арабских и мусульманских стран.

3. Книга «Прощание с Нарциссом» была удостоена в 1997 году двух премий – «Малого Букера» и «Анти-Букера».

4. На самом деле Гольдштейн написал кандидатскую диссертацию об азербайджанском писателе XIX века М. Ф. Ахундове.

5. Название «Ганей Авив» буквально означает «Весенние сады».

ОБ АВТОРАХ

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Футурум АРТ», «Мосты», «Грани» и др.; на французском языке – в журналах «Europe», «Magazine littéraire», «Lettre Internationale». Более двадцати лет проработал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени», поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай ‘А’», «Tempora mea», «Серебро ночи», «Земными путями», «Слушая ветер» и др. С 1973 г. живет во Франции.

АМЧИСЛАВСКИЙ Александр (Москва). Поэт. Окончил пединститут, учился в Академии художеств, искусствоведческий факультет. Работал учителем, художником-реставратором. В 1990–1998 гг. жил в Израиле. С 1998 года живет в Канаде, Торонто. Публиковался в российских журналах «Дружба народов», «Знамя», «Нева» и др., а также в ж. «Новый Свет» (Канада), «Крещатик» (Германия), «Этажи» (США) и др. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя журнала «Новый свет».

БЕЛОЗЁРОВ Андрей (1966, Бендеры). Прозаик. Учился в Кишиневском пединституте и в Институте искусств. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Публиковался в журналах «Кодры. Молдова литературная»; «Наш современник», «Топос», «Дружба народов», «Новый Журнал». Лауреат Литературной премии им. Марка Адданова, премии «Древний город». Живет в Приднестровье.

ГАБРИЭЛЬ Александр (1961, Минск). Поэт. Окончил Белорусский национальный технический университет, аспирантуру; работал научным сотрудников в НИИ. Публиковался в журнала «Другие берега», «Крещатик», «Интерпоэзия» и др. Автор четырех книг. В США живет с 1997 года.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг прозы «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», «Музейна крыса», др.; две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-

лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ДЫНКИН Михаил (1966, Ленинград). Поэт. Автор шести поэтических книг. Публиковался в «Знамени», «Зарубежных записках», «Волге» и др. С 1990 живет в Израиле.

ЗЕЙФЕРТ Елена (1973, Караганда). Поэт, прозаик, переводчик, литературовед. Профессор РГГУ (теория литературы, латинский язык). С 2011 г. ведет свою литературную мастерскую «На Малой Пироговке». Участница III Международного русско-грузинского поэтического фестиваля «В поисках Золотого руна», III Форума переводчиков и издателей СНГ и стран, XVIII Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира», ежегодных Берлинских чтений и др. Автор термина «полигранизм» и манифеста полигранизма, термина, определяющего способность творческой личности создавать произведения в различных формах искусства. Публиковалась в ж. «Знамя», «Дружба народов», НЛО, «Крещатик» и др. Автор произведений «Небоскреб Парнаса», «Плавильная лодочка», сборника новелл «Сизиф & К», книги стихов «Метафоры на пуантах» и др. Живет в Москве.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Марк (1957, Ленинград). Поэт. Окончил математический факультет Ленинградского пединститута. Работал в библиотеке Академии Наук. Публикации в периодике: «Артикль», «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стороны света» (США). Автор книги «Под покровительством Вертумна». В Израиле с 1991 года.

ИЗВАРИНА Евгения Викторовна (г. Озерск, Челябинской области). Поэт. Окончила Челябинский ГИК. Живет в Екатеринбурге, работает журналистом в газете Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор восьми книг стихов, публикаций в журналах, альманахах, сборниках и антологиях. Лауреат литературной премии им. П. П. Бажова. Член Союза писателей России.

МАТВЕЕВА, Елена (1945, Берлин). Поэт, переводчик. Дочь поэтов Ивана Елагина и Ольги Анстей. Вторая волна эмиграции. По профессии медсестра. Стихи публиковались в журналах «Грани», «Новый Журнал», «Перекрестки», «Встречи», а также в антологии «Содружество», 1966. С 1950 года живет в США, Миссула, шт. Монтана.

МАТИЧ Ольга (1940, Любляна). Литературовед, культуролог. Специалист по русской литературе, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Автор книг «Petersburg/Petersburg: Novel and City, 1900–1921», «Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и fin de siecle в России» (доп.: «Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia's Fin de Siècle»), «Записки русской американки» (2016) и др.; сайта «Mapping Petersburg», многих публикаций в американских и российских журналах.

НИКИТИН Евгений (1981, Рышканы, Молдова). Поэт, прозаик, переводчик, критик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Воздух», «Textonly», «Знамя», «Новый берег», «Октябрь» и др. Был одним из координаторов поэтического проекта в рамках 53-й Венецианской биеннале искусств (2009). Книги стихов «Зарисовки на ветру», «Невидимая линза», «Стэндап-лирика», «Скобки» (2022); сборники рассказов «Восточные семнадцать» (в соавторстве с А. Чурбановой), «Про папу». Основатель Метажурнала. Лонг-лист премий «Дебют» (2011, 2013, 2015), «НОС» (2019), премиальный лист «Поэзии» (2020); лауреат премии «Неистовый Виссарион» в номинации «За критическую дерзость» (2021). Живет в Израиле.

РАНСКАЯ Алла Геннадьевна (1961, Иркутск). По образованию врач. Возглавляет благотворительный Фонд П. П. Ершова в Калифорнии. Работает в Музее-архиве русской культуры в Сан-Франциско. Автор ряда публикаций в «Новом Журнале», «Художественном вестнике», газете «Русская жизнь» и др. Живет в США.

РОЗОВСКИЙ Исаак (1951, Москва). Прозаик, поэт, психолог. Стихи, повести, рассказы, эссе публиковались в различных бумажных и интернет-изданиях России, Израиля, США. Автор книг «Пособие для беззаботных», «Эвтаназия, или Путь в Кюсснахт». Лауреат премии им. Марка Алданова (2019). Живет в Иерусалиме.

РУБИНС Мария (1967, Ленинград). Литературовед, переводчик. Окончила ЛГУ, University of Georgia (США), Charles University (Prague); кандидат наук (Brown University). Профессор University College of London. Автор многочисленных статей по истории русской литературной эмиграции, о французской и израильской литературах, книг *Crossroad of Arts, Crossroad of Cultures*, «Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма», *Redefining Russian Literary Diaspora, 1920-2020* (UCL Press, 2021), «Век диаспоры: Траектории русской

зарубежной литературы» (НЛО, 2021). Печаталась в *Slavic East European Journal*, «НЛО» и др. Живет во Франции.

САМАРЦЕВ Александр (1947, Москва). Поэт. Окончил Куйбышевский авиаинститут, учился в Театральном училище им. Щукина (режиссерское отделение). Публиковался в «Новом мире», «Интерпоэзии», др. Автор семи книг стихов, в их числе «Сейчас», «Вернадского 15», «Клинч». С 2015 года живет в Киеве.

СКОБЛО Валерий Самуилович (1947, Ленинград). Поэт, прозаик, публицист. Окончил матмех ЛГУ, имеет научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Публикуется в российской и зарубежной литературной периодике, был опубликован в «Антологии русской поэзии начала XXI века» (YMCA-Press). Автор сборников стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Лауреат литературных премий им. Анны Ахматовой (2012, 2015) и им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2020); финалист международных конкурсов перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013, 2016). Живет в Санкт-Петербурге.

СМИТ Роджер (Roger W. Smith). Социолог, публицист, переводчик, редактор-издатель. Преподает в St. John's University. Создатель порталов Theodore Dreiser и Pitirim A. Sorokin. Живет в Нью-Йорке.

Л. ТЕРЛИЦКИЙ (1950). Прозаик, переводчик, архитектор. Окончил Московский архитектурный институт. В 1976 г. эмигрировал в США; одним из первых эмигрантов «третьей волны» получил лицензию архитектора; работал с рядом ведущих архитектурных фирм; в течение 15 лет возглавлял собственное проектное бюро. Автор и соавтор более 50 проектов планирования и зданий в США и других странах. Пишет на русском и английском. Живет в Нью-Йорке.

ФАБРИКАНТ Борис (1947, Львов). Поэт. Окончил Политехнический институт. Публикации в ж. «Эмигрантская Лира», «Литературный европеец», «Этажи», «Литературный Иерусалим», «Крещатик», др.; в альманахах «Кочевье», «Роза ветров», «Культурное безбрежье», «Рукопись». Автор поэтических сборников «Стихотворения», «Сгоревший сад», «Крылья напрокат», «Еврейская книга» (2021). Первое место в номинации интернет-конкурса «Эмигрантская Лира», второе место на Всемирном фестивале «Эмигрантская Лира» (2018), второе место на фестивале «Пушкин в Британии» (2018). Член СРП. С 2014 г. живет в Англии.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patron: Russian Nobility Association in America; The Tcherepnine Society; Prince Nikita D. Lobanov-Rostovsky;
Benefactors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;
Sponsors: American-Russian Aid Association "Otrada".
The complete list of Sponsors & Fellows & Friends see at:
https://newreviewinc.com/fundraising-2022

It requires the support of loyal friends for year 2022:

Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

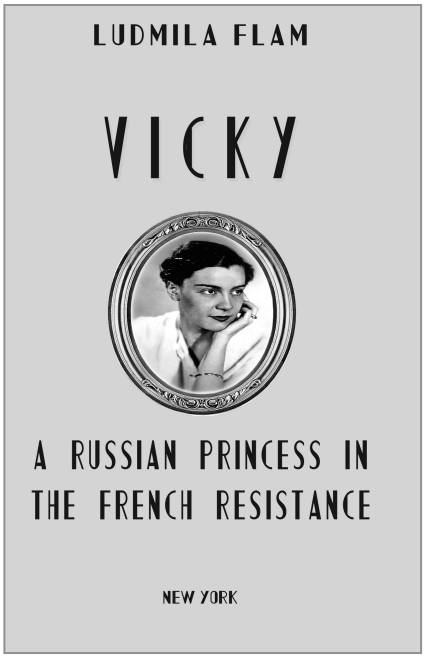
THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com
Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21
Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;+972 55 968 24 16
На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)
Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)



Ludmila Flam

Vicky

A Russian Princess in the French Resistance

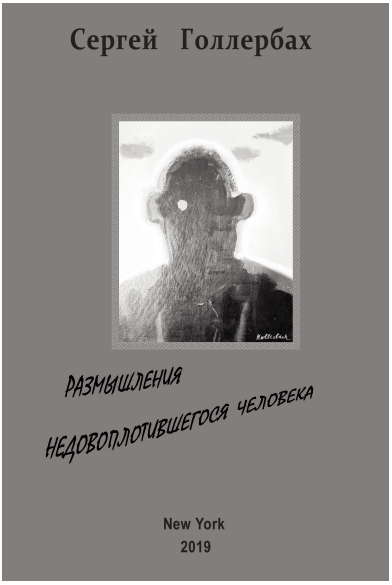
The New Review Publishing
2022. 208 pages, illustrations

$24.95
Contact: newreview@msn.com

About the Author

Ludmila Flam was born in Latvia to Russian émigré parents and came to the US after World War II. Her professional career spanned several decades as a Voice of America broadcaster, reporting from New York, Munich, Moscow, Madrid, Budapest, and Washington, DC, where she also held a supervisory position at the Voice of America headquarters. She resides in Florida.

Princess Vera Obolensky, known as Vicky has distinguished herself during World War II as an active resister against the horrors of the Nazi regime and Hitler's military occupation. Her dedication to the cause of freedom stands out as a shining example of an unwavering moral compass. A co-founder of a major French resistance network, she became an efficient worker at the center of its complex intelligence-gathering operations. Caught in the occupiers' dragnet, she withstood the pressure of exhausting interrogations without betraying any secrets. Neither the prison nor the death sentence could break her spirit; even in the face of a cruel execution, Vicky maintained her dignity and endeavored to uphold the morale of her imprisoned comrades. This non-fictional biography is dedicated to her memory.



СЕРГЕЙ ГОЛЛЕРБАХ

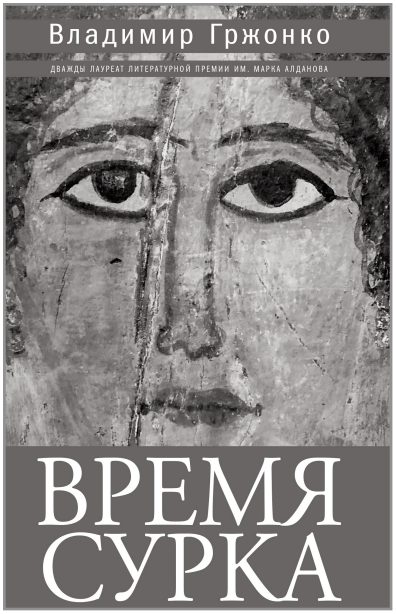
РАЗМЫШЛЕНИЯ
НЕДОВОПЛОТИВШЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА
New York: The New Review Publishing, 2019, 186 с., цвет. илл. $14.95

Последняя книга Сергея Голлербаха (1923–2021), академика Американской Академии дизайна, посвящена философу Василию Розанову. Вослед философу старый художник, многое испытавший в своей жизни эмигранта, предлагает собственные «заметки на манжетах» – этот спонтанный, интимный, глубоко личностный слой наблюдений и фантазий. Стал ли автор жертвой самообмана, поддался ли искушению высказаться Urbi et Orbi?.. Или он верно нащупал самые болевые точки нашего современника и вызвал его на неприятный, чересчур откровенный, но крайне важный разговор?

«ВСПОМИНАЯ... С УЛЫБКОЙ»
New York: The New Review Publishing, 2019, 172 с., цвет. илл. $14.95

Книга эссеистики Сергея Голлербаха дополняет его предыдущую книгу воспоминаний о Русском Нью-Йорке («Нью-Йоркский блокнот». 2013). Это коллекция частных историй и анекдотов о многонациональной русскоязычной диаспоре Города Большого Яблока. В книге впервые представлена графика художника.

По всем вопросам:
newreview@msn.com



Владимир Гржонко

Лауреат Литературной премии имени Марка Алданова

Владимир Гржонко — писатель, сценарист, журналист, переводчик. Автор романов «The House» (2003), «Свадьба» (2004), «Дверной проем для бабочки» (2007), «Странник: американская рулетка» (2008), рассказов в сборнике «Городу и миру» (2008). Публикации в «Новом журнале» и других литературных журналах США, в их числе: роман «Время сурка» (2018), «Повести Скворлина» (2020), «Разочарованный странник» (2021). Дважды лауреат Литературной премии им. М. Алданова (1-е место в 2020 и 2021 гг.). Живет в Нью-Йорке.

Издательство «Время». Москва. 2022. 390 с.

В сборник вошли три произведения писателя – роман «Время сурка» и повести «Разочарованный странник» и «Повести Скворлина», за которые прозаик был удостоен звания лауреата Литературной премии им. Марка Алданова.

У «Времени сурка» образец для стилизации – «Мастер и Маргарита». Тут и переплетение двух сюжетных времен – современного и библейского. И автор, написавший роман. И всесильная старушка Рита с бригадой, сильно смахивающая на Воланда со свитой... **(Борис Пастернак)**

«Кантовский категорический императив замечательно сформулирован, но согласитесь, дело не в формулировке. Думаете, я не знаю, как вы сейчас мучаетесь, пытаясь создать сценарий, призванный поразить воображение – как лично мое, так и всего человечества в целом? ...человек, задумавший нечто грандиозное, как правило, не добивается должного результата. Вспомните Вавилонскую башню, например. Сколько таких башен было в истории человечества...»

Книгу (с пересылкой по США и Канаде) можно заказать: http://grjonko.com
В магазине RBC Video: 269 Brighton Beach Ave, Brooklyn NY 11235,
https://www.bukinist.com
или по тел. 1 (718) 934-1727

ПОЛИНА БРЕЙТЕР

Лауреат Литературной премии имени Марка Алданова

ОКТАВА. 2020. 256 с.

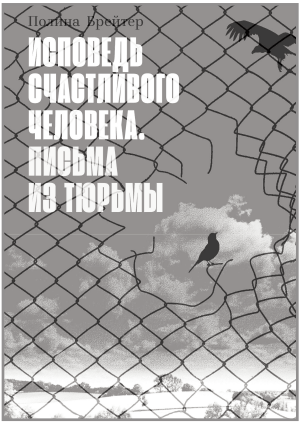
Умирающая героиня повести перебирает ноты своей жизни, события и людей, и пытается примирить благость Божественного с существованием зла в мире. В художественную ткань повествования искусно вплетены сложнейшие сентенции мировой философии теодицеи – от Лейбница до Померанца; текст полон аллюзий и реминисценций шедевров мировой культуры – музыки Баха и Моцарта, фильмов Тарковского и Параджанова, поэзии Ахматовой и Пастернака.

БИРЮЗОВЫЙ ДОЖДЬ 2020. 336 с.

Возможно, мистические переживания и любовь – не одно и то же. Но в этой книге они неразделимы. Любовь здесь – это переполняющее чувство, которое невозможно удержать в себе, бурлящее и переливающееся через край. Так что же делать тому, кто вбирает в себя весь мир, кто любит каждое его проявление? Что ему до силы притяжения, если он умеет летать?

ИСПОВЕДЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА 2022. 480 с.

Книга основана на документальном материале. Возможно, в американские тюрьмы попадают люди столь же честные и открытые, как героиня этого повествования, но мала вероятность, что они способны принять все происходящее как возможность духовного роста. Не только чувства и переживания героини, но и разговор об особенностях американского правосудия и описание жизни в женской тюрьме предложит автор читателю.



Книги Полины Брейтер можно купить или заказать с пересылкой по всей Америке и Канаде в магазине RBC Video по адресу:

269 Brighton Beach Ave, Brooklyn NY 11235

https://www.bukinist.com

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2022

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 150.00, за границу – $ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 80.00, за границу – $ 120.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 7.00, за границу – $ 25.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 320.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com